Зинаида Шаховская

Зинаида Шаховская





Зинаида Шаховская



Москва «Книга» 1991

ББК 84Р-4
Ш32

Редакционно-издательский центр
«ГЛАГОЛ»

Ш $\frac{4703010100—052}{002(01)—91}$ КБ-12-38-90

ISBN 5-212-00448-9

© З. А. Шаховская, 1979

«ПО СВОЕМУ ОПЫТУ...»

Среди многих газетных статей есть у Зинаиды Алексеевны Шаховской одна с характерным названием «По своему опыту». В ней есть и такие строки: «Может быть, и нет свободного выбора у детей, вывезенных родителями, беру все же на себя ответственность: в 12 лет я просила мою мать, не желавшую эвакуироваться из Новороссийска в январе 1920 года, увезти нас из России. От чего увезти? Да от того, что уже повидала — и заключение матери в тюрьму, и переход на нелегальное существование отца, и расстрел близких родных, увезти от голода и эпидемий, от вшивых городов, переходящих из рук в руки, от «зеленых» и других разбойничьих банд...

С тоской покидая Россию, несмотря на крепкую надежду в нее скоро вернуться, мы не называли ее ни сукой, ни чушкой, не желали ее уничтоженья, в русских видели не только господ и рабов, хотя судьба наша была куда труднее, чем Пушкина и Лермонтова...

Не было б эмиграции — не было бы ни Бунина, ни Цветаевой, ни Франка, ни Бердяева, ни Лосского, ни Карсавина, ни Трубецкого, ни П. Савицкого, ни Б. Зайцева, ни Шмелева, ни Георгия Адамовича, ни Георгия Иванова, ни Ходасевича, Стравинского, Рахманинова, П. Сорокина, И. Сикорского, Северского, Юркевича, Шаляпина, Лифаря, Николая де Сталь, Ларионова, Н. Гончаровой, А. Бенуа...»

Список этот можно продолжать бесконечно.

«Хотя судьба наша была куда труднее...» — за этими словами годы пережитого, годы русской эмиграции, о которых мы либо вовсе не писали, либо занимались долгое время одним очернительством. Те, кто прочтет рассказ-воспоминание Зинаиды Шаховской «Собачья смерть»,— отважится ли после судить ее и ей подобных? Да и дано ли нам право судить?

Нет, дело, конечно, не в этом — судили мы уже много — гораздо важнее признание очевидного — более полустолетия единая русская культура, оказавшись волею судеб расколотой, существовала, и существовала, вопреки всему, как единое целое. Забота Времени, не наша, отсеять все мелочное, «наносное», расставить

все на свои места, нам же пришла пора «собирать камни», пришла пора разобраться в своем прошлом и познакомиться, наконец, с произведениями той богатой русской культуры, что более полувека была нам недоступна. И действительно, признаюсь честно, имена, приведенные Зинаидой Шаховской, для меня далеко не все однозначны — об одних я знаю больше, других не знаю и вовсе, и не из-за отсутствия любопытства — табу, запрет на них, всеобщее умолчание содействовали нашему незнанию. Получалось, что мы же сами обкрадывали себя, тогда как весь мир усваивал и развивал идеи Н. Бердяева, учился балету у Лифаря, читал книги Ремизова и Набокова, восхищался искусством Сутина и Шагала.

Сегодня, когда исторические факты — известные ранее лишь частично или не известные вовсе — хлынули потоком, к нам начинает возвращаться творчество тех, кто долгие годы, будучи оторван от нас, жил одними лишь помыслами о России. Публикации и документы на страницах нашей сегодняшней прессы — лишь первая попытка разглядеть себя в спокойно фиксирующем и отрешенном от чьих-либо влияний Большом Зеркале Истории.

Потому-то так важны, на мой взгляд, мемуары Зинаиды Алексеевны Шаховской — свидетельства живого очевидца минувших событий, человека, помнящего, видевшего, разговаривавшего, переписывавшегося с теми, чей облик сохранила ее память. Две книги ее мемуаров, включенные в данный сборник, разные. Одна — «В поисках Набокова» — целиком посвящена большому художнику, с которым долгие годы Зинаиду Алексеевну связывала дружба, другая — «Отражения» — воспоминания разрозненные, все, что сохранилось в памяти и в архивах писательницы о разных представителях первой русской эмиграции. И если первая книга — воспоминание-исследование, вольное, далекое от академического, попытка оценить многогранную личность В. В. Набокова, в полном смысле «поиск» «своего Набокова», то вторая — бережливое собирание фактов, разговоров, документов — подлинное свидетельство современника Истории. И Зинаида Шаховская знает цену таким свидетельствам, имеет на то веское основание «по праву памяти». Пускай же каждый, кто прочтет ее книги, судит их, коли станет охота, по своей совести.

* * *

Пускай пожар горит над нами,
О, Русь, я связана с тобой
Тысячелетними снегами
Под черной русскою землей.

. . . .

С тобою скованная снами,
Твой гнев и боль твою деля,

Я помню — дышит под снегами
Все та же черная земля,—

писала Зинаида Шаховская в 1934 году.

Всегда честно подчеркивая свою принадлежность к двум культурам — русской и французской, она, тем не менее, всегда и везде с гордостью отмечала и отмечает свою «русскость» — неразрывную, «утробную» связь с породившей ее землей.

Имения семьи Шаховских были в Тульской губернии, но отец был москвичом, как и все почти его родственники. Зинаида Алексеевна родилась в 1906 году в Москве на Сивцевом Вражке, а ее брат, недавно скончавшийся Владыка Иоанн архиепископ Сан-Францисский, известный в эмиграции не только как видный религиозный деятель, но и как тонкий лирический поэт и писатель,— в Леонтьевском переулке (ныне ул. Станиславского).

С детства они жили в имении Матово, недалеко от Епифани, лишь на зиму переезжая в Москву. И эти особые черты быта навсегда вошли в ее плоть и кровь — благородство и сострадание, гордость (а не гордыня) и честь — вот, пожалуй, главные составляющие черты российского помещичьего дворянства.

Культура эта была особая, опиравшаяся на многовековые традиции. Многие из нас, заставшие в живых последних ее представителей, хорошо помнят тот язык, богатый «аканьем» и обязательными, словно в пику окруженью произносимыми по-особому словами — не «шкаф», но «шкап», не «кувшин», но «кушин», не «грибы», но «грыбы», не «четверг», но обязательно — «четверьх». Было в этом конечно, некое фрондерство, но больше — верность заложенным с детства основам. Отсюда и консерватизм языка, и столь редкая сегодня совестливость — скрупулезная честность, порядочность во всем, вплоть до мелочей.

Недаром коренная москвичка Шаховская с первой же встречи разглядела в Набокове «очень ярко обозначенную столичную петербургскую „штучку“». Недаром подмечает она в своей книге о нем: «... как будто Набоков никогда не знал запаха конопли, нагретой солнцем, облака мякины, летящей с гумна, дыхания земли после половодья, стука молотилки на гумне, искр, летящих под молотом кузнеца, вкуса парного молока или краюхи ржаного хлеба, посыпанного солью... Всё то, что знали Левины и Ростовы, всё, что знали как часть самих себя Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин, все русские дворянские и крестьянские писатели» и что, добавлю от себя, поразительно точно и целостно сумела узнать и признать как часть самой себя Зинаида Шаховская.

С детства она «чувствовала отвращенье к цифре», то есть ориентирована была на книгу, но не на одну сугубую книжность. Кроме знания родной природы, кроме любви к книгам, было и другое,

немаловажное, а быть может, и определяющее — традиция «тысячелетних снегов», генетическая связь с языком, бытом, укладом.

Когда дети подросли, их перевезли учиться в Петроград, с которым тоже было связано немало в этой семье. Мать ее матери, урожденная Чирикова, была дочерью генерала Егора Чирикова, стоявшего во главе комиссии по разграниченью России и Персии. Женат он был на Зинаиде Карловне Росси — дочери зодчего (в ее честь и назвали правнучку Зинаидой). «И я с детства знала, что и арка Ген. Штаба, и спуск к Неве со львами, и Музей, ныне носящий имя Русского музея, и другие зданья — часть нашего неотъемлемого наследства»,— вспоминает она в частном письме.

Отец Зинаиды Шаховской, в отличие от матери, большую часть времени проводил в Матове, занимаясь имением, делами по земству. Приехавший описывать земли представитель дворянского земельного банка был поражен увиденным и честно признался, что подобного рачительного и хорошо отлаженного хозяйства более он в Тульской губернии не видел. В 1916 году в Матове был десятипольный (!) севооборот, щадящее землепользование — здесь следили не за максимальным доходом, а, в первую очередь, за «улучшением качества почвы». Документ этот сохранился в Тульском государственном архиве, и он, на наш взгляд, многое объясняет в привязанностях, пронесенных через всю жизнь Зинаидой Шаховской. «Отец,— по ее воспоминаниям,— не любя города и светской жизни, нас только навещал на праздники или когда приходилось по рангу представляться ко двору. Человек высокой скромности, он не любил показываться в мундире камергера и при орденах и отсылал нас в наши комнаты, а мы, наоборот, конечно, хотели присутствовать при таком его преображеньи. Я все хотела «примыслить» себе его позолоченный ключ, если память не изменяет, на голубой ленте, прикрепленной к мундиру».

Она сумела проучиться в России только 6 месяцев, десятилетней девочкой выдержав экзамены в 7-й класс (первый) Екатерининского института в Петрограде на Фонтанке, 36, где судьбой отведено ей было заниматься только с сентября 1916-го до февраля 1917 года. Успев затвердить все слова на «ять» — «звезда, гнезда» и прочие, она с тех пор, по ее признанию, грамматики «в руках не держала», хотя вот уже семьдесят с лишним лет плодотворно пишет по-русски, справедливо и «дерзко утверждая: мой язык, как хочу, так и говорю», утешаясь пушкинским: «без грамматической ошибки я русской речи не люблю».

* * *

Недолгое российское образование прервала революция. В 1920 году Зинаида Шаховская, пережив лишь частично описанные в «Собачьей смерти» мытарства и ужасы гражданской войны, с матерью и сестрами отправилась в эмиграцию. Отец уезжать отказался. Он был уверен, что скоро всё встанет на свои места, и, спасая родных, сам остался в России. Конец его последовал скоро — по свидетельствам матовских старожилов, «князь Шаховской в 1921 году замерз под сараем, сторожа зимой какой-то склад».

Незавершенное образование Зинаиде Шаховской пришлось доканчивать в различных колледжах Константинополя, Брюсселя и Парижа. Совсем еще юной, в 17 лет, не без помощи брата, в ту пору уже известного в эмиграции поэта и издателя журнала «Благонамеренный», попала она в общество русских поэтов, художников, музыкантов зарубежья, и с тех пор, где б она ни жила, Зинаида Шаховская — активный пропагандист дорогой ей российской культуры, российской словесности, ведь язык — главное, что связывало и связывает эмиграцию с покинутой родиной.

Она сразу же стала писать по-русски и по-французски. Переводила русских поэтов, писала о них заметки, критические статьи, эссе — в ее богатом литературном наследстве есть две книги о Пушкине, несколько историко-культурных монографий о российской истории. Широкую известность и различные литературные премии принесли ей романы, написанные по-французски под псевдонимом Жак Круазе, но начинала она все-таки как оригинальный поэт, и поэт русский. В 1934 и 1935 годах подряд вышли два ее сборника «Уход» и «Дорога», сразу же замеченных русской зарубежной критикой. Затем — долгие годы поэтического молчания, и лишь в 1970 году вышел третий сборник «Перед сном» со вступительной статьей Г. Адамовича.

Но поэтическое молчание не означало молчанья литературного — она всегда работала упоенно и много. Всю свою жизнь она, человек общительный и яркий, была связана с журналистикой, сотрудничала с различными европейскими и эмигрантскими журналами, долгое время возглавляла парижскую газету «Русская мысль».

Почти ровесница века, она с неутомимой энергией стремилась запечатлеть наиболее важные события столетия. А повидала и пережила она немало. В 1940 году Зинаида Шаховская принимает участие в антифашистском движении. Сперва она находилась в санитарных войсках французской армии, затем принимала активное участие в Сопротивлении на юге Франции. В ян-

варе 1942 года находиться в стране стало небезопасно — ее вызвали на допрос в гестапо, и лишь чудом она избежала ареста,— поэтому друзья сочли необходимым перебросить ее в Англию. Там после Дюнкерка находился ее муж Святослав Святославович Малевский-Малевич, доброволец уже не существовавшей к тому времени бельгийской армии. В Лондоне Шаховская работала редактором АФИ (Французское информационное агенство), а с 1945-го по 1948 год — военным корреспондентом при союзных армиях в Германии, Австрии, Италии и Греции во время гражданской войны. Она вела репортажи с Нюрнбергского процесса.

Зинаида Шаховская много путешествовала. Она побывала в Экваториальной Африке, США, Канаде, Мексике, а в 1956-1957 годах находилась с мужем-дипломатом при Бельгийской миссии в Москве.

Виденное нуждалось в осмыслении. Результатом явились семь книг мемуаров, воспоминаний, очерков о пережитом. Две из этих книг, имеющие непосредственное отношение к русским писателям зарубежья, составляют эту книгу.

«Память не фотографический аппарат, воспоминания не снимок, который для всех и каждого одинаково восстанавливает кажущуюся реальность событий и лиц. Память нечто очень личное, субъективное. Она питается зрением и слухом того, кто видит и кто слышит не только слово, произнесенное другим, но и звучание этого слова»,— пишет она в предисловии к «Отражениям». И мы — те, к кому, в частности, обращена ее память, должны внимательно вслушаться в бережно сохраненный и донесенный до нас строй ее слов, чтобы постараться открыть в них нечто новое о нашем недавнем прошлом.

Недаром так подчеркивает Зинаида Шаховская «субъективность» мемуаров: академические ученые, возможно, найдут в них какие-либо несоответствия, возможно, не согласятся с той или иной трактовкой, но она судит *по своему опыту,* ибо свято убеждена, что «правда писателя, поэта, художника, композитора — его творчество», и эту свою правду и стремится она донести до своего читателя.

Сегодня Зинаида Алексеевна Шаховская живет в Париже и по-прежнему работает, неизменно участвуя в литературной жизни французской столицы.

Петр Алешковский

В ПОИСКАХ НАБОКОВА

Приношу искреннюю признательность всем, кто помог мне своими воспоминаниями о Владимире Набокове, проф. Рене Герра, давшему мне возможность ознакомиться со сборником «Гроздь» и указавшему некоторые нужные мне даты, а также Н. Д. Шидловской и В. А. Допера, много потрудившимся над рукописью этой книги *.

З. Ш.

* Впервые книга вышла в Париже в издательстве «La Presse Libre» в 1979 году.— *Ред.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я тороплюсь написать эту небольшую книгу, пока годы не заслонили от меня живого Набокова, пока шествует еще «путем своим железным» век, который был и его и моим веком, пока Россия его и моего детства кое-как еще мерцает в моей памяти через все уродливые наслоения, засыпающие ее уже шестьдесят лет. Мало осталось людей, знавших молодого Набокова, бывших свидетелями его появления в русской литературе, его восхождения к мировой славе. Еще меньше осталось людей, бывших с ним в близких и дружественных отношениях,— думается, их никогда не было очень много. После славы и фортуны, ею принесенной, поклонников у Набокова стало не счесть, друзей — может быть, меньше, чем раньше.

Читая статьи и книги, о нем написанные за последние двадцать лет его жизни, интервью, им данные, удивляешься и делается как-то не по себе. Почти все они показывают не только уважение, которого его талант вполне заслуживает, но и какое-то подобострастие — как будто вопрошающие и пишущие не стояли, а предстояли, и не перед писателем, а перед каким-то тираном из тех, которых сам Набоков ненавидел. Казалось, что и самому Набокову в последние годы нравился этот страх перед ним и что он старательно выращивал для любопытных маску, собственной ли волей или по чьему-то совету надетую.

Любитель не только парадокса, но и мастер камуфляжа, запутыванья следов, нагромождающий камни преткновения перед своими исследователями, он как будто и посмертно желал бы ускользнуть — как личность — от любознательности или любопытства следующих поколений. С радостью бы уничтожил, думается мне, все свидетельства о нем, кроме своего собственного — литературного или, может быть, жены, ставшей на долгие годы его alter ego.

Я принадлежу к тем, которые верят, что жизнь писателя неотделима от его творчества, что они необходимо складываются вместе как «пузэль» и что нельзя понять его произведения, игнорируя его биографию.

Как представить себе или объяснить себе творчество До-

стоевского, не приговоренного к смертной казни, не бывшего на каторге, не страдавшего от падучей?..

Это не литературоведческая работа, никакой системы в моей книге искать не надо *. Но задумала я ее уже давно. Как ни странно, хотя мне привелось в жизни встречаться с самыми известными писателями, и русскими и иностранными, ни о ком из них меня не соблазняло написать книгу. Почему же о Набокове? Конечно, не только потому, что он был моим современником и что я его знала лично, и не только потому, что он необыкновенно одаренный писатель, но потому, что Набоков загадочен, что он бросил вызов своим читателям и почитателям, загромождая к себе доступ, и расставил ловушки для исследователей: «Let the visitors trip» — пусть посетители спотыкаются.

Отыскать знакомого мне Набокова под разными личинами, на него им самим надетыми, было уже не так трудно, вехи он все-таки ставит, автобиографические данные и личные признания проблескивают под всеми масками, через вымышленное мелькает и подлинное, даже то, что он скрывал очень тщательно. Недаром у Себастьяна Найта «была странная манера награждать даже самых гротескных своих персонажей одной или другой идеей или впечатлением, которыми он забавлялся». Отыскать «глубинную» набоковскую правду — нельзя, но приблизиться к ней можно.

Проф. Альфред Аппель в своей статье, напечатанной в T. L. S. (Times Lit. Supl.) уже после смерти писателя, отмечает набоковское «пристрастие к правде». Эдмунд Вильсон, хорошо знавший Набокова и его произведения, пишет обратное: «Он любит говорить вам неправду и заставить вас в эту неправду поверить, но еще больше он любит сказать вам правду и заставить думать, что он лжёт». Определить правду довольно легко — это нечто сказанное с желанием обмануть, но есть ли что-либо двусмысленнее правды, к которой примешана ложь? Вот тут если не моральный изъян Набокова, то его психологический выверт.

У меня имеются 64 письма Набокова ко мне и несколько копий его писем к другим, его юношеские шуточные стихи, эпиграммы, рассказы людей, знавших его в России и в эмиграции.

Вскоре после того, как я стала редактором «Русской мысли», в ней появилось объявление, что Набоков хотел бы приобрести не только первые издания своих книг, но и

* Утешаюсь шутливым замечанием одного американского писателя: «Методология — последнее прибежище непродуктивного ума».

письма, им написанные. Если бы я была уверена, что его письма ко мне, просто дружеские и никак ни его, ни меня не компрометирующие, будут сохранены в его архиве, я бы, может быть, правда не без сожаления, ему их вернула. Но я не могла избавиться от предположения, что они будут уничтожены как слишком откровенно раскрывающие его предамериканское существование и вообще его демистифицирующие. Ходят слухи, что черновики своих рукописей он тоже уничтожил, не желая, вероятно, обнажать метод своей писательской работы. Недаром в предисловии к переводу «Евгения Онегина» Набоков пишет: «Художник должен был бы безжалостно уничтожать свои рукописи после их напечатанья, дабы они не могли ввести в заблуждение академическую посредственность и позволить им думать, что, изучая забракованные (отброшенные) тексты, они смогут раскрыть (размотать) тайны гения». Тайны гения не только по черновикам, но и вообще разгадать невозможно, но как восхитительно, как умилительно видеть черновики Пушкина, перечеркнутые поправками, украшенные рассеянными рисунками,— свидетельства его размышлений и его мастерства.

Письма — чудные островки для причала памяти, и я задумала построить мою книгу о Набокове вокруг его писем, напечатав их целиком и снабдив их моими воспоминаниями и примечаниями. По существующим ныне законам это оказалось невозможным, и мне пришлось перестраивать мой план. Оттуда и название — «В поисках Набокова», игравшего при жизни и посмертно играющего с читателями в прятки. После личного общения с писателем так заманчиво интересно находить его в его произведениях, узнать его в разных «арлекинных» одеяниях, распутывать клубок нити и хоть иногда находить выход из лабиринта, им придуманного, что я и стараюсь сделать.

Знаю, Владимир Набоков заранее ненавидел и презирал всех, кто будет о нем писать — без его присмотра и руководства,— награждая их эпитетом «академические ничтожества», но цена славы и признания всегда одна и та же. Человек перестает принадлежать самому себе, он становится общественным достоянием, и вряд ли бы какой-либо писатель, а Набоков в особенности, предпочел бы забвенье посмертному интересу к нему и его творчеству.

З. Ш.

НАБОКОВ В ЖИЗНИ

Знакомство наше с Владимиром Набоковым началось в 1932 году. Не будучи родственниками, мы состояли в то время в свойстве. Сестра моя Наташа была первой женой композитора Николая Набокова. Лето 1932 года «мои» Набоковы проводили в маленьком именьице «Ода» в Колбсхейме, недалеко от Страсбурга. У них гостили моя мать и Владимир и Вера Набоковы. По просьбе Якова Моисеевича Кулишера, кажется, бывшего тогда председателем Клуба русских евреев в Бельгии, я передала еще незнакомому мне Владимиру Сирину предложение этого клуба устроить ему вечер чтения в Брюсселе и Антверпене. Первое имеющееся у меня письмо В., в котором он, понятно, обращается ко мне по имени и отчеству, выражает его принципиальное согласие и просьбу передать устроителям, что ему было бы приятно, если бы условия были улучшены — если бы Клуб согласился дать ему 50 % чистого сбора плюс оплата дороги туда и обратно. Письмо было из Колбсхейма за два дня до его отъезда в Париж, где он собирался пробыть месяц и где тоже намечался его вечер в начале ноября.

В. не всегда датировал свои письма, и не все почтовые штемпели ясно отпечатаны, но по открытке Набокова Кулишеру видно, что он хотел бы приехать 25 ноября 1932, а уехать в Берлин 28 ноября. В Париже оказалось, что ввиду «убогого» нансеновского паспорта (выражение Набокова) бельгийское консульство отказало ему в визе, и В. обратился к моей матери, вернувшейся в Брюссель, с просьбой посодействовать ему и похлопотать о высылке ему разрешения на въезд телеграммой — что и было сделано. Я предложила ему остановиться у нас. Не все подробности этой первой встречи запомнились, но общее впечатление совсем свежо — такое она доставила нам удовольствие,— число же подтверждается открыткой Кулишера, на которой помечено: 250 фр. Антверпен 26.11.32. Сумма, конечно, не менее убогая, чем паспорт.

Куда исчез, куда пропал тот Владимир еще Сирин, встреча с которым, переписка с которым много лет тому назад были такой радостью для моего мужа и для меня? Радость эта была не только чисто интеллектуальным удовольствием общения с талантливым и образованным писателем, но и теплая радость видеть прелестного и живого человека, с которым никогда не было скучно и всегда свободно и весело. Очарование Владимиром разделяли и совсем неискушенный

в литературе мой свёкор С. А. Малевский-Малевич и Григорий Баронкин, солдат из крестьян, участник Белой Армии, у нас служивший и книг не читавший.

Так я вижу Набокова еще молодого, только начинавшего путь к сорокалетию (успею увидеть его и сорокалетним, и позднее всего один раз — шестидесятилетним), в дружбе которого к нам нельзя было сомневаться. И из-за теплоты этих встреч и писем меня всегда поражало, и я восставала против мнения других людей, его знавших и обвинявших В. в равнодушии и бессердечности.

Высокий, кажущийся еще более высоким из-за своей худобы, с особенным разрезом глаз несколько навыкате, высоким лбом, еще увеличившимся от той ранней, хорошей лысины, о которой говорят, что Бог ума прибавляет, и с не остро-сухим наблюдательным взглядом, как у Бунина, но внимательным, любопытствующим, не без насмешливости почти шаловливой. В те времена казалось, что весь мир, все люди, все улицы, дома, все облака интересуют его до чрезвычайности. Он смотрел на встречных и на встреченное со смакованьем гурмана перед вкусным блюдом и питался не самим собою, но окружающим. Замечая все и всех, он готов был это приколоть, как бабочку своих коллекций: не только шаблонное, пошлое и уродливое, но также и прекрасное,— хотя намечалось уже, что нелепое давало ему бóльшее наслаждение.

Того, что называлось — не в ироническом смысле слова — барством, на мой взгляд, в Набокове не было, как не было ничего и помещичьего или, скажем, московского, то есть старорусской простоты. Он был очень ярко обозначенной столичной, петербургской «штучкой».

Тенишевское училище в Петербурге было известно своим либерализмом — оно не было сословным — и своим прекрасным образовательным уровнем, но оно все же было наиболее дорогим в России, так что в сущности все-таки привилегированным, и в В. очень ощущалась принадлежность к богатому классу.

Была у него врожденная элегантность, на которую сама бедность отпечатка не накладывает. Некто, знавший его в Берлине, мне рассказывал, что там до его женитьбы «Набоков всегда был чистым и аккуратным», «никогда не забывал подрезать бахрому на штанинах», «от работы не бегал, гонял на велосипеде куда-то за город, чтобы давать уроки». Казалось, подвяжись В. за неимением пояса веревкой, все нашли бы, что он это сделал нарочно.

Гуляя с В. по улицам, сидя с ним с кафе, мы присут-

ствовали и участвовали в занятной игре соглядатайства. В. все замечал и все определял, подменяя видимое воображаемым. Глядя на фонари, только что зажегшиеся на бульваре — четыре белых, посредине один жёлтый,— «четыре соды, одно пиво». Во всяком случае, так удачна была первая встреча, что мы сразу перешли на имена, отбросив отчества, а впоследствии и на «ты».

В декабре этого же 1932 года я была в Берлине проездом в Прибалтику, куда меня послал большой бельгийский иллюстрированный журнал «Ле Суар Иллюстре», и остановилась в очень маленькой квартире Набоковых на Несторштрассе. В. и жена его приняли меня не только дружественно, но прямо по-родственному.

Эти тридцатые годы были особенно тяжелы для Набоковых. Жить в гитлеровской Германии было невыносимо не только по материальным обстоятельствам, не только по общечеловеческим, но и по личным причинам. Вера была еврейкой. Податься было некуда.

Как трудно было в Германии, намекает одна приписка В. от 10 апреля 1934 года. (Жена его через месяц ждала рожжения ребенка.) «В общем предпочитаю фиолетовые чернила, хотя они ужасно маркие». Это, конечно, напоминание об известном эмигрантском анекдоте. Какой-то эмигрант, возвращающийся в СССР, условился со своим другом, остающимся на Западе, что все, что будет неправдой, будет им написано красными чернилами. Через несколько месяцев друг получил письмо. В нем черными чернилами было рассказано о райской советской жизни, «одного здесь не хватает, самого пустякового, это красных чернил».

На обратном пути в 1932 году из Прибалтики я остановилась в Праге и навестила мать В., которую он так любил и о тяжелом положении которой он так горевал,— маленькую, хрупкую старую даму, живущую действительно в очень стесненных обстоятельствах. Что-то в ней еще оставалось от прежней избалованности.

В Брюсселе у нас часто бывал, одно время даже жил младший брат В., Кирилл, молодой поэт, безнадежно затерянный в сложности быта и которого В.— его крестный отец — отечески опекал, иногда возлагая на нас часть этой опеки. Во многих письмах просит он нас то устроить кудато Кирилла, то побранить его за несерьезное отношение к ученью, то одолжить ему денег — которые он нам отдаст при встрече, то купить башмаки...

Позднее, в первый год оккупации, встречу я в Париже и другого его брата, Сергея, о котором В. нам не говорил и с

которым как будто не имел ничего общего, хотя и Сергей был весьма культурным человеком. Крупный, мешковатый, заикающийся, несколько напоминающий прустовского Шарлю, Сергей, с которым я успела подружиться за эти несколько месяцев, прекрасно знал языки и, не в пример В., любил и понимал музыку. Он совершенно не интересовался политикой, и ничто даже в разгар войны не предвещало его трагического конца в Берлине незадолго до победы союзников. О судьбе его ходят разные версии, он как будто работал — жить надо было — переводчиком в немецком радио и как-то обмолвился, что война Германией будет проиграна. По другой версии, более вероятной, так как за первое «преступление» его могли послать в лагерь, но вряд ли бы приговорили к смертной казни,— какой-то убежавший из плена английский летчик, которого Сергей знал в Кембридже, попросил у него убежища, и соседи донесли. Отрубили ли ему голову или расстреляли — неизвестно...

Живя не в одной стране, уж не так часто, конечно, виделись мы с В., тем более что не только у Набоковых, но и у нас были одинаковые материальные ограничения, чтобы не сказать одинаковая бедность, и путешествия давались нелегко. Благодарно удивляюсь и посейчас, что, несмотря на свою невероятную литературную загруженность — он говорил, что писал иногда в день по 15—20 страниц, случалось, и в ванной комнате на доске, положенной на ванну, за неимением удобного письменного стола,— обремененный заботами, переговорами с издателями, турне с «чтениями», В. успевал мне писать длинные и обстоятельные письма в продолжение восьми лет.

В Брюсселе существовал «Русский клуб», члены которого культурными запросами не страдали, и, кроме политических, узкоэмигрантских докладов, насколько помню, никто не устраивал других, за исключением, как раз в тридцатых годах, Евразийцев, дружно ненавидимых той же русской общественностью. Евразийцы устраивали лекции Бердяева, Вышеславцева, Карсавина, обычно сопровождавшиеся протестами несогласных слушателей. Иногда доклады читались у нас на дому, как, например, профессором Экком, специалистом по русскому средневековью. Его за «левые» взгляды тоже не любила русская общественность. Чисто литературные доклады и чтения устраивались и в Брюсселе, и в Антверпене Клубом русских евреев, в те времена от русской культуры себя не отрывающих и ее почитающих.

Зато в Бельгии, которая вообще очень радушно и благородно приняла первую эмиграцию, было у нас много друзей

в политических, литературных, художественных, научных и светских кругах, и поэтому нам, ставшим впоследствии бельгийскими гражданами, было не так трудно помочь Набокову в устройстве чтений, докладов и в частных домах, и в общественных залах. Всюду он был принят с энтузиазмом, международность его была приятна европейцам. По-французски он говорил хорошо, хотя и небезупречно, доклады были подправляемы французами.

Читал В. великолепно, но всегда читал, имея перед собой свою рукопись, с интересными интонациями, но никак не по-актёрски, с очень характерным жестом, левая рука к уху. Поэтому я особенно люблю фотографию 1937 года, о которой В. написал: «Посылаю вам лучшую из моих морд».

По-русски читал В. раза два-три у нас в нашей гостиной. Народу было не много, дискретно, пришедшие внесли кто сколько мог за абстрактный билет. Помнится, что одна очень красивая дама, имеющая модную мастерскую, прослушав отрывок из «Приглашения на казнь» в 1939 году, воскликнула: «Но ведь это сплошной садизм!»

Устраивали мы такие же неофициальные чтения для В. по-французски у наших друзей Фиренс-Геваерт. Поль Фиренс, профессор истории искусства и позже главный смотритель всех королевских музеев, был женат на француженке Одет де Пудраген, праправнучке мадам Ролан. Он в молодости был близок со всеми французскими писателями, поэтами и художниками эпохи между двух войн, богатой талантами, а также и с немецкими, итальянскими, испанскими знаменитостями, как Карло Сфорца, Евгенио Д'Орс, Жан Кассу. Принимали Фиренсы радушно и международно.

Оставшаяся у меня открытка от известного бельгийского писателя, автора издательства Галлимар, Франца Элленса*, женатого вторым браком на русской,— открытка, к сожалению, без даты, предполагаю, что от 1935—1936 годов, дает интересный список лиц, которые хотели бы присутствовать на таком вечере. Это «цвет» бельгийской интеллигенции: критик Роберт Пуле, поэт Гастон Пуллингс, критик Жорж Марлоу, драматург Герман Клоссон, писатель Арнольд де Керков, театральный критик Камиль Пуппе (специалист по китайскому театру) и оригинальнейший фламандский драматург, пишущий по-французски (как Метерлинк, де Костер и Кроммелинк), Мишель де Гельдероде.

* В 1936 году Элленс переписывался с Михаилом Булгаковым.

Первое публичное чтение в Бельгии состоялось в зале на авеню Луиз в 1936 году. В. предполагал читать главы из «Соглядатая», которые появились во французском переводе в «Oeuvres libres». Он был очень озадачен необходимостью читать что-нибудь неизданное. Он писал мне, что мучается, но обещал меня не подвести. Неизданная эта вещь называется «Мадемуазель О.». О ней, едва ее закончив, он мне сообщает, что он написал ее в три дня. «И это вообще совсем второй, если не третий сорт». Успех «Мадемуазель О.» будет,— несмотря на его мнение об этом «пустячке»,— большой не только в Бельгии, но и во Франции, и В. очень удивлен, что она чрезвычайно понравилась редакции «Nouvelle Revue Française». «Мадемуазель О.» выйдет затем в журнале «Mesures», а затем включится в книги его воспоминаний. В чтении В. этот рассказ длился около полутора часов.

В этом же 1936 году русское зарубежье подготовляло к 1937 году празднование столетия смерти Пушкина. В ответ на мое приглашение приехать в Брюссель с чем-нибудь «пушкинским» В. пишет, что он задумал французскую речь о Пушкине «особенного рода, с международными точками опоры и блестящими виражами», а осенью того же года, из Берлина, что это будет не рассказ, «а фейерверк праздничных мыслей на бархатном фоне Пушкина», и предупреждает, что чтение предполагается на час или немного больше.

Для этого пушкинского торжества была нанята уже зала в «Palais des Beaux Arts», и оказалась она набитой до отказа, Это был действительно фейерверк, и перед ним несколько померкли более академические пушкинские торжества. Называлась эта виртуозная вещь «Le vrai et le vraisemblable» — «Правда и правдоподобие». Она выйдет по-французски в «Nouvelle Revue Française» 1 марта 1937 года. К этому же пушкинскому году бельгийское издательство и журнал «Journal des Poètes», сотрудницей которого я была, поручило мне редактировать небольшой сборник «Hommage à Pouchkine» — статью и антологию. Он вышел вовремя и стал теперь библиографической редкостью. С благодарностью вспоминаю старших собратьев: М. Гофмана, Г. Струве и В. Вейдле, согласившихся прислать мне статьи, над переводами стихов потрудились, кроме Роберта Вивье и его жены (русской татарки, матери известного теперь вулканолога Гаруна Тазиева), а по подстрочникам и другие бельгийские поэты, да двое русских — В. и я. В. перевел «Стихи, сочиненные во время бессонницы» с одним все же «руссизмом», но зато рифмованные. Должна была участвовать и Марина Цветаева, к этому времени переведшая «Пир во

время чумы», но она отказалась по свойственной ей непреклонности — хотела все или ничего,— а все было слишком длинно для сборника. После выхода «Hommage à Pouchkine» В. мне пишет: «Твой пушкинский сборник великолепен».

Начиная с 1933 года В. мне часто пишет о прочтенных им книгах. Читал он, по-видимому, чрезвычайно много. Сообщая, что он только что прочел несколько книг «женского пола», он дает им свою оценку. В те времена только что появившийся роман Екатерины Бакуниной «Тело» вызвал смелостью своих физиологических описаний бурю в зарубежье. В. пишет, что автор «Тела» словно «моет пол aux grandes eaux, шумно выжимая — дочерна мокрую — половую тряпку в ведро, из которого затем поит читателя». Об «Орланде» Вирджинии Вульф: «Это образец первоклассной пошлятины». В Кэтрин Мэнсфилд его раздражает «банальная боязнь банального и какая-то цветочная сладость».

Утверждая, что он не читал того или другого писателя, он все же выражает свое мнение о нем. Маритэна он *не* читал, но его «тошнит» от него, потому что о нем «с такой елейной любовью говорят педерасты» (то была эпоха маритэновской переписки с Кокто). Он удивлен, что у меня была охота интервьюировать Жоржа Дюамеля.

О Жорже Бернаносе В. даже не упоминает, вероятно, потому, что Бернанос, как и Клодель и Мориак, был для него «безнадежно отравлен». Он «и в рот не берет ничего такого, где есть хоть капля католицизма». А может быть, он их все-таки читал?..

Мне не понравилась нашумевшая и получившая одну из главных премий во Франции книга бельгийского писателя Эрика де Олевилья (женатого на сестре жены Олдоса Хаксли) «Voyages aux Iles Galapagos». В., наоборот, от нее в восторге, она «одна из очаровательнейших книг», которую он когда-либо читал. Другого бельгийского писателя, получившего премию Гонкуров, моего приятеля Шарля Плиснье он зато ругает в 1937 году. Находит, что его роман «Faux Passeports» «пошлятина», но признается: «... иногда люблю прочесть скверную книжонку, ça purge» — это прослабляет. Зато у него хорошее мнение о книге Элленса «L'Oeil de Dieu» («Божий глаз»): «Какая у него там собака!» В том же году он читает «с запозданием» «пошленький, сентиментальный, жеманный „Распад Атома“» (Г. Иванова). В действительности роман этот, конечно, никак не сентиментальный с его некрофильскими описаниями — и с полным нигилизмом.

Не обладая как будто нормальным для писателей гиперболическим самомнением, я могу объяснить себе только дружескими чувствами В. ко мне его внимательное и ласковое отношение к моим ранним литературным попыткам. Стихи мои он считает «хорошими или прелестными», упрекает меня за их краткость («как будто муза прервала соединение») и бранит меня за мою частую самокритику рассказов, которые появляются в разных журналах. Я считаю очень характерным, *что* именно он счел удачным в моем рассказе «Уголовное», напечатанном в журнале «Содружество» в Хельсинки. Утешая меня, что «Уголовное» ему понравилось больше, чем ожидал после моей собственной оценки его, В. находит в нем «сжатость, развитие действия и несколько очень удачных petites trouvailles» (маленьких находок). Особенно понравился В. пассаж, где герой, гуляя после совершенного им «почти убийства» по ночному Парижу, вдруг слышит раскаты странного грома и видит маленьких существ, катящихся к нему с необыкновенной быстротой. Это безногие, которые тогда передвигались, катаясь по асфальту на низких тележках, гребя руками с надетыми на них дощечками. По поводу другого пассажа этого же рассказа, более правдоподобного, чем тележки с безногими, В. напоминает мне: «Ничего нет менее правдоподобного, чем подобие правды». Фраза, в моих глазах, ключевая для Сирина.

Вообще он удивительно внимательно относился к нам. Не забывает спросить, как продвигается роман моего мужа «Мнимые числа», французский перевод которого хвалил ему Фиренс, сообщает мне, что мои стихи появились в «Современных записках», или возмущается тем, что Юрий Мандельштам плохо отозвался о моем сборнике. Пишу об этом потому, что все это никак не вяжется с представлением, которое имели о В. другие, и еще меньше с тем, чем стал Сирин, превратившись в Набокова.

В. безустанно заботится о своей матери, о брате Кирилле. Рождение же сына повергает его в перманентное умиление. Об этом событии нам было сообщено без промедления открыткой из Берлина от 14 мая 1932 года. «В четверг у нас родился сын Димитрий», а затем как приложение к письмам сведения о нем. Сын его «сплошное очарование». «Мальчик мой ходит, держа передние лапки, как пляшущий пудель». И как живописно описывал В. устно, при встречах, приятность ухода за младенцем, например удовольствие катать его в колясочке. В те времена, когда отцы еще не снисходили до помощи своим еще не эмансипированным женам в

уходе за детьми, В. нянчил своего сына. Вера работала на стороне, а он сидел дома. Он прибегал к терминам теннисной игры, с гордостью рассказывая об искусстве стирания пеленок. «Это очень легко, сперва потереть, потом так, в одну сторону «drive» и в другую «back hand», все это с соответствующими жестами теннисиста.

Посреди своей собственной неустроенности в целом ряде писем В. пишет мне о знакомой ему барышне голландке, прося приискать ей хорошего жениха, просит благодарить Фиренсов, кланяться Замятину, у нас гостившему,— «он пресимпатичный», беспокоится о здоровье Анатолия Штейгера, только раз у него побывавшего в Берлине и снова попавшего в санаторий,— просит его адрес, чтобы ему написать. С Буниным находит общение приятным — только что приехав в Париж, В. «уже сидит с подвыпившим Иваном Алексеевичем». Он настаивает, чтобы я познакомилась с Фундаминским, но не разу не поминает Алданова, который Сирину, как и многим другим, немало помогал.

Как-то уехав от нас и забыв оставить на чай нашему Баронкину, он пишет о своей забывчивости и просит ему дать 10 фр. «из оставленных» (он иногда оставлял нам часть полученных денег, до востребованья). Узнав о смерти моего свекра, В. немедленно пишет нам свое соболезнование и вспоминает «милейшего, очаровательного старика», с типично набоковской внимательностью к жестам: «Мне так живо запомнилось, как он мирно сидит у стола и медленно уминает в пальцах папиросу, прежде чем ее закурить».

Для меня дар благодарности — одно из мерил благородства, и этот дар в то время у В. был в избытке. После первой встречи он пишет, что очень полюбил нас троих. Если я долго ему не пишу, просит «отыскать место на письменном столе», чтобы написать ему, или справляется, почему я его забыла. Ему хочется моего «почерка и многоточий». Признается: «Знаете, по-настоящему скучаю о вас (а у меня маловато таких, по которым скучаю)», благодарит нас за все «чудесное», что мы для него сделали, в другом письме «за восхитительную заботу о нем» или «как мне было хорошо у вас и как я благодарен вам за все ваши ангельские хлопоты (почти хлопанье крыл)»...

Могут подумать, что Набоков был с нами мил, потому что в нас нуждался, но это не так. Материально будучи бедны сами, мы помочь Набокову не могли, а хлопоты о нем и о его писательских делах были нам никак не тягостны. Он в наших глазах был не только талантливейшим писателем, но и человеком, ставшим близким другом. И вот из-за того, что

мы так хорошо его знали, нам были совсем не понятны разговоры писательской братии о его холоде, сухости и равнодушии, в сущности, об его бесчеловечности.

Почти во всех письмах ко мне В. пишет и о своих литературных делах. В письме от сентября 1934 года В. сообщает, что он только что кончил новый роман «Приглашение на казнь». В одном, без даты, предполагаю, что оно от 1935 года, он сообщает, что его «жизнь загромождена» очень сложным переводом «Отчаяния» на английский язык. Перевод этот заказан и должен быть сдан английскому издательству до Рождества. «Ужасная вещь — переводить самого себя, перебирая собственные внутренности и примеривая их, как перчатки». В процессе этой работы он чувствует в лучшем словаре «не друга, а вражеский стан» и тут же прибавляет, что он где-нибудь применит придуманное им выражение «он был не словоохотлив, как словарь».

В 1936 году В. выражает опасение, что его следующий роман, заглавие которого удлинилось на одну букву и стало не «Да», а «Дар», огорчит меня, так как первоначальное утверждение превратилось «в нечто цветущее, даже приапическое».

По поводу рассказа «Весна в Фиальте» (о нем В. писал мне так: «Очень языческое — вам не понравится»), по-видимому, распространился слух, что автор будто бы вывел в этом рассказе знакомых мне людей, и В. просит опровергать эту сплетню его «собственным возмущением» и как всегда подчеркивает, что он выдумывает, а не описывает существующее. Он рад, что мне понравился его «кругленький рассказ» «Облако, озеро, башня», только что появившийся в «Современных записках» и который я считаю одним из самых удачных обличений «цузамен марширен» (хождения в ногу). Случается, он бранит «поганенькую добролюбовщину» эмигрантской критики, но признает, что хуже нее «дикое ликующее мещанство, до которого в России со времени бездарного Белинского докатилось наливное яблочко русской мысли». Ему противна вся советская беллетристика, включая, конечно, А. Толстого и Л. Леонова.

Настолько безоблачны были мои отношения с В. все эти годы, что даже не только мои соображения или мои толкования его творчества его не сердят, но и моя критика...

Тут следует сказать, кем был для меня тогда Сирин-писатель. Он был почти моим современником, всего на семь лет меня старше (девять лет разделяют его самого от поколения Пастернака), но он успел закончить в России среднее обра-

зование, а я там успела только его начать: это довольно существенно, не менее существенно и то, что он на семь лет дольше меня жил в России. Я сразу же ощутила его превосходство перед всеми «молодыми» эмигрантскими писателями, считая, что никого равного ему среди нас нет, и, смолоду взяв за правило никогда не руководствоваться ни модой, ни оценкой присяжных критиков, выделила Набокова по своему собственному вкусу. Но, почувствовав и предчувствуя, какое место займет он в русской литературе, а следовательно, и во всемирной, я оставалась свободной от безоговорочного поклонения ему. Кое-что беспокоило меня в Сирине — и обозначившаяся почти сразу виртуозность и все нарастающая насмешливая надменность по отношению к читателю, но главное — его намечающаяся бездуховность. Чего-то мне в его произведениях не хватало, где-то был провал. Во французском, скажем, писателе такого же порядка я бы этого не усмотрела, но я судила о Сирине как о писателе русском — поэтому мне и было понятно бунинское зоркое определение Набокова как «чудовища». Русскую большую литературу от западной всегда отличало что-то существенное, отличались и русские читатели от читателей западных. Они требовали не только художества, но именно тех добрых чувств, о которых неосмотрительно выразился Андре Жид, что из них не делают хорошую литературу. Наиболее любимыми писателями России испокон века и до нынешнего времени, как видно по Солженицыну, были именно те, кто добрым чувствам придавал художественную форму.

Признаться, я с необычайной смелостью писала и говорила, что думала (с неменьшей, впрочем, откровенностью, и самому Бунину по поводу его «Воспоминаний» и «Темных аллей»), дружбе это позволено, и, поняв, что критика моя — дань уважения, эти два больших писателя, известных своим трудным характером, не обижались на меня, Бунин до смерти, Набоков до отъезда в США.

В своем письме от 19.9.1934, где он сообщает мне, что только что закончил новый роман «Приглашение на казнь», В. пишет по поводу какой-то моей заметки о нем: «...На что мне сердиться? Вы удивительно внимательно — и для меня лестно отнеслись к моему т-ству» и тут же поясняет, что к «творчеству, а не товариществу». В том же году, но раньше, он выражает опасение, что я на ложном пути, что я не отдаю себе отчета, «что к писанью прозы и стихов не имеют *никакого* отношения (подчеркнуто в тексте) добрые человеческие чувства, или турбины, или религии, или духовные запросы», или «отзыв на современность».

Но, конечно, отзыв на современность найдется и в «Подвиге», и в «Истреблении тиранов», и в «Bend Sinister» (Под знаком незаконнорожденных).

Что же касается добрых чувств, то как раз мои стихи, дважды выделенные В. похвалой, помещенные сперва в первом сборнике «Уход» (В. пишет, что он понимает это заглавие как уход за своими стихами), а затем в антологии «Якорь», были переполненны «добрыми» и даже христианскими чувствами. Начинались они так:

Без денег, даже без друзей
И в шуме городском, отравном
Богаче тот, кто всех бедней,
Светлее, чище и бесславней,

а оканчивались уж совсем отвратительно для «закоренелого язычника»:

И в страшный час земной разлуки
Благословенно бытие,
Прими, Христос, пустые руки
И сердце полное мое.

В 1936 году В. мне напоминает: «Единственное важное — это то, хорошо ли написана книга или плохо,— а что до того, прохвост ли автор или добродетельный человек — то это совершенно неинтересно». Надо сказать, что в этом я была с ним совершенно согласна, будучи уверена, что гениальность и злодейство вполне совместимы и что добродетель таланта никому не прибавляет. Несогласие наше лежало в другом, не в человеческих особенностях автора, а в том — есть ли в его произведении тот внутренний стержень, без которого оно не больше, чем игрушка.

Совершенно случайно, как бы предчувствуя, что и в будущем В. все больше будет входить в мир небытия, я, которая никогда не оставляла себе копии моих писем к нему, переписала пассаж одного из них от 1934 года, в котором я, сознаюсь, очень косолапо, выразила ему тогда мои соображения и даже опасения, напоминая, что от искусства может идти и искусственность, что ему не равнозначно, и что не следует писателю украшать свое творчество только внешним. Искусство не может осилить темы и тезы смерти. Время распыляет все, что не соответствует вечности, т. е. Богу. «Если нет стержня и основы, то и украшать будет нечего, потому что украшенья вокруг пустоты держаться не будут», и прибавила, что «это только ловкость рук».

На это В. ответил мне весьма кротко:

«Да, я остаюсь при своем мнении; грешен, люблю литера-

туру и не терплю примеси к ней». Он просит меня не сердиться «на закоренелого язычника».

В этом же письме, до крайности откровенном и которое могло бы стать опасным для наших отношений потому, что тут дело касалось самого для него дорогого, его писательской сущности, я также попыталась объяснить ему, как и его жене, причину, затрудняющую мне вполне дружеское общение с В. Е. Между нами существовала какая-то натянутость. Вот что я написала тогда В. «Что касается Веры — то пусть она меня простит, но мне кажется, что оскорбленная гордость держит ее на цепи». В. в ответ пишет, что он не понимает, что это за гордость и что за цепь? Письмо мое написано в 1934 году, «Дар», несомненно один из самых биографических романов, выходит в 1935 г. Там есть такая фраза о Зине: «В ней была черта, стеснявшая его: ее домашний быт развил в ней болезненно-заостренную гордость».

Чувствительность жены к своему происхождению перешла понемногу и на Набокова. В Париже он объяснил советскому писателю, что он не может вернуться в СССР, «потому что ему важно, *как* написано, а не *что* написано». В 1952 году в своем письме к проф. Парри (в переводе с английского А. Парри в «Новом русском слове» 9 июля 1978 года) Набоков писал: «Кто бы ни был автор, мой подход к нему всегда определенно литературный. Я не интересуюсь политическими аспектами, политическими взглядами или же случайным значением этих взглядов для ситуаций текущего дня».

Однако проф. Аппель в своей статье в Tim. Lit. Supl. № 1140 от 7 октября 1977 года пишет: «Молодой Набоков стал вдвойне чувствительным к зловредности антисемитизма». «Раз в Европе он ударил кого-то за lapsus linguaé, впоследствии он более тонко протестовал в своих американских произведениях».

Аппель упоминает об одном инциденте в университетских кругах США и не сомневается, «что набоковская ненависть к Эзре Паунду основывалась на фашистских и антисемитских мнениях этого поэта». В данных случаях эмоции оказались сильнее принципов. Мне помнится, что на одном из собраний ассоциации международных критиков в конце 70-х годов в Барселоне проф. Джоун Броун сделал доклад об Эзре Паунде. Присутствующие советские критики Г. Брейтбурд, И. Сучков, Ал. Михайлов, В. Озеров заявили протест: творчества фашистского поэта упоминать было нельзя. Но Набокову в таком лагере как будто бы делать нечего...

Летом в 1937 году я не без опасенья написала мою первую большую статью о Сирине *, а не просто краткую рецензию,— для бельгийского журнала La Cité Chrétienne — органа молодых католиков, многие из которых станут впоследствии известными в Бельгии политическими, общественными и литературными деятелями.

Получив журнал, В. мне пишет: «Я с интересом и волнением прочел твою статью о «Приглашении на казнь» — она, во-первых, прекрасно написана, а во-вторых, очень умна и проницательна». В другом письме, возвращаясь к этой статье и помня, что она была напечатана в католическом журнале, он замечает: «Ох, боюсь, не одобрила бы твоей статьи редакция, знай она все мои грехи».

В письме того же года В., сообщая, что он отправляет в Англию перевод своего романа, пишет: «Но уже новый замысел мелькает, как гора, в моем вагонном окне, то слева, то справа — и скоро высажусь и полезу — слышу уже грохоток осыпей».

Несмотря на все его усилия, на беспрерывную, изнуряющую работу и невероятную энергию, которую он проявит,— все это осложненное беспокойством за будущее,— положение В. все эти годы все так же неустойчиво.

Тут, мне кажется, все же необходимо опровергнуть слухи, исходящие от поздних поклонников Набокова, незнакомых с жизнью первой эмиграции, о том, что будто бы русское зарубежье не приняло и не поняло Набокова. Это не так: его появление было сразу же замечено, с выходом его, еще очень молодой, «Машеньки». Интерес к нему все возрастал, и ни один из писателей его поколения никогда не получал такие восторженные отклики со стороны старших собратьев.

Трудно определить рубеж поколений. Были писатели старшие: Бунин, Мережковский, Гиппиус, Куприн, Ремизов, Зайцев, Шмелев, Осоргин, Ходасевич (к ним как-то примыкали и Марина Цветаева, и Одоевцева, и Иван Лукаш) и другие, имена которых были впервые услышаны за границей: Газданов, Фельзен, Песков, Зуров, Городецкая, Поплавский — прозаиков было меньше, чем поэтов. Но из последней категории только один Сирин был так щедро и безошибочно угадан и поддержан критиками и признан старшими собратьями. Никого так щедро не печатали зарубежные журналы и в Берлине и в Париже. Литературно консервативные, хоть политически и левые для эмиграции «Современные записки» и «Русские записки», не без опасения пе-

* Привожу целиком русский перевод этой статьи в приложении.

ред набоковским новаторством и не без раздраженья за его насмешливость по адресу Чернышевского и Белинского, были для него более широко открыты, чем даже для Марины Цветаевой. Маленькие периферийные журналы мечтали о его сотрудничестве, но, кажется, только «Новь» удостоилась его заполучить. На чтения Сирина слушатели приходили с неменьшим энтузиазмом и с бо́льшим любопытством, чем на Ремизова.

В сущности, оппозиция Сирину шла только из одного источника, откуда шли и словесные гонения,— от «Монпарнасцев» и от «Чисел», короче говоря, от двух Георгиев — Адамовича и Иванова. Я до сих пор не могу себе объяснить, чем было вызвано долгое неприятие Адамовичем Набокова и Цветаевой. Конечно, дело было не в зависти, Набоков конкурентом критику и поэту Г. Адамовичу никак не был. Может быть, была все-таки обида. Адамович, слово которого было так веско в монпарнасских кофейнях, мог быть уязвлен тем, что Сирину его одобрение и поддержка были не нужны. К тому же стоящий на друго́м полюсе эмигрантской критики Вл. Ходасевич был одним из самых ранних и верных ценителей Набокова. Все книги В. выходили одна за другой без промедления, сперва в толстых журналах, затем в издательствах...

Загадочно то, что писатель Сирин не пошел в западных странах, несмотря на поддержку «Nouvelle Revue Française», и в частности Жана Полана, игравшего там очень важную роль, несмотря на его знакомство с четою А. Черч и на его личный успех при частных встречах с иностранцами. По письмам В. видно, что он продал Галлимару «Отчаяние», написанное им в 1935 году, только в августе 1937-го, но оно не вышло еще и в 1939 году! В письме от 1939 года В. пишет, что французский перевод «Приглашения на казнь» только что откорректирован, но и этот роман выйдет у Галлимара только после войны...

У меня нет иностранных откликов той эпохи на книги В., но ни одна из них не стала бестселлером. Боюсь, что вряд ли даже окупились во Франции издательские расходы, и В., вероятно, как это бывает в таком случае, получил только задаток при подписании контракта.

О причинах такого скромного успеха В. в Европе можно только догадываться. Вообще говоря, русская современная литература тут мало кого интересовала, а использовать первую эмиграцию в целях антикоммунистической пропаганды в предвоенные годы никто не хотел. Несмотря на самое сталинское время, СССР скорее рассматривали здесь как

явление положительное и могущее служить примером другим странам. Кроме Мережковского и Алданова, писатели-эмигранты переводились очень скупо. Из типично русских Шмелев шел лучше других. Ремизова, причислив его к сюрреалистам, поддерживал немного Галлимар. Бунин до получения Нобелевской премии не интересовал. Даже после премии книги его, по сравнению с книгами других Нобелевских лауреатов, расходились плохо.

Но вот, казалось, Сирин, с его западной культурой и его оригинальностью, с его замысловатостью, должен был себе тут найти читателей... Может быть, здесь сыграло роль то, что, если Бунин для западных читателей был слишком русским, Сирин был, или казался им, слишком западным писателем.

И так год за годом, в продолжение восьми лет, почти в каждом из писем В. ко мне — вопиет та же непреодолимая бедность, все те же заботы — от 1933 до 1939 года. В 1936 году мать его «живет впроголодь и больна», в 1939 «положение моей матери действительно страшное».

Уже с 1932 года Набоковым хочется покинуть Берлин, Германию, но нет денег, к тому же положение «нансениста» закрывает все границы для разрешения на постоянное жительство в другой стране. Для переезда нормально требуется контракт на работу да еще правительственное разрешение на этот контракт. Туристическую визу достать легче, хотя и не легко, но это не выход. Из Берлина в 1936 году В. пишет, что они серьезно подумывают о том, чтобы перебраться в наши края — в Бельгию, и спрашивает, нельзя ли на первых порах устроиться хотя бы не в столице, а в каком-нибудь курорте, не у моря, на зиму пустующем, когда цены понижены. Речь, конечно, идет о самых дешевых: «35 фр. (бельгийских) нам совсем не по карману». Через несколько недель В. возвращается к этому вопросу: «Может быть, будет дешевле снять 2 комнаты с кухней?»

Мы что-то находим в каком-то «Vieux Manat», из которого В. получает ответ «бисерным почерком», но в Бельгии отдыхать они не будут.

Последняя открытка из Берлина была послана мне 16 января 1937 года, следующие письма приходили уже из Франции, по-видимому, в этом году они и покинули Германию.

Продав Галлимару «Отчаяние» летом, «побывав больше месяца в Богемских лесах», В. и его семья отправились в Канны, где надеялись провести месяц, «если позволит Меркурий, увы, не слишком благосклонный к моим транзак-

циям». Только что увиденную им в Париже колониальную выставку В. считает «пошлейшей и бессмысленной».

Позднее В. в Ментоне. Там ему «замечательно пишется». Оттуда он запросит меня «подсобить» ему, напомнив, кто написал «Пословицы» и «Ад», у него это заскочило — «такие большие полотна, с маленькими неприятными фигурками». Я ответила: «Иеронимус Босх», но так и не узнала, для какой вещи ему понадобилась эта справка. О Босхе не нашла упоминания ни в одной из его книг.

В 1938 году опять письма с юга Франции. Н. живут в Мулине, в примитивных условиях, мечтая переехать в другое место, так как в Мулине военный лагерь, духовая музыка и «пальба за деревней». Там зато «Un bon choix (прекрасный выбор) бабочек». Фотографии двух самцов бабочек, пойманных в Мулине, помещены в «Speak memory».

Осенью того же года пришло к нам в Брюссель письмо с просьбой помочь сестре В. Е., оказавшейся в трагическом положении в Берлине со своим четырехлетним сыном. Виза в Бельгию была ей устроена, но ей удалось попасть, думаю, к ее счастью, в Швецию, оставшуюся нейтральной.

В одном из писем с юга В. пишет: «Мы сейчас находимся в русской, очень русской, инвалидной вилле, среди старых грымз на Кап д'Антиб». Дату установить не удалось, но, вероятно, с этой виллой связана слышанная мною в Париже история, за достоверность которой не могу ручаться.

Заведовал этой виллой как будто какой-то генерал, и, прежде чем туда отправиться, В., всегда помня о самолюбии своей жены, написал ему, предупреждая, что жена его еврейка и что он хочет быть уверенным, что никаким оскорблениям она там не подвергнется. Генерал ответил отменно мило, что он человек воспитанный, как и те, кто гостит в его вилле, и что ничего неприятного произойти не может, он за это отвечает. Набоковы поехали туда, и там вскоре их навестил кто-то из парижских литераторов и начал рассказывать столичные новости, но едва он произнес «Жид написал новую книгу», как генерал, близко находящийся и, конечно, об Андре Жиде никогда не слыхавший, побагровев от негодованья, набросился на гостя: «Я не позволю, милостивый государь, здесь браниться!..»

Зато, поскольку слышала это от самого В., могу с большей уверенностью рассказать о встрече В. с каким-то советским писателем, видно, посланным разузнать, можно ли Владимира Сирина уговорить вернуться на родину. Встретились они во «Флоре» на Сен-Жермен и пили там пиво, мирно беседуя. В., как всегда, с любопытством разглядывал всех

окружающих и обратил внимание советского собрата на какого-то клиента, с жадностью читающего газету,— «смотрите, *как* он ее читает». На что его собеседник немедленно заинтересовался, какую, какого направления эта газета, и В. ему объяснил: «Вот отчего я никак не могу вернуться — мне важно, *как* читают, а вам важно, *что* читают».

В новогоднюю ночь 1938 года был последний в Париже бал русских писателей, и мы приехали в Париж. Не помню, были ли на этом балу Набоковы, но знаю, что собирались. В письме от декабря В. пишет, что они стараются устроить сына на одну ночь, найдя кого-нибудь, кто бы с ним мог посидеть. Там же он говорит, что исполнил мое поручение и попросил Вишняка послать мне октябрьскую и ноябрьскую книжки «Русских записок». Мелочь, показывающая, как В., даже в самых трудных обстоятельствах, исполнял самые ничтожные просьбы друзей. Он подробно объясняет мне, что Вишняк даром «Р. З.» дать отказался, но уступил обе за 24 фр., из которых 10 фр. мне причитаются за стихи, а 14 будут авансом за следующие.

Есть у меня еще длинное письмо, никакой датой не помеченное, но в моей папке отнесенное к 38 или 39 году. Оно трагическое: «У нас сейчас особенно отвратительное положение, эта гибель никого не огорчает и даже не волнует». Все же Союз литераторов послал ему 200 франков. Им нужно набрать на билет, чтобы вернуться с юга Франции в Париж. В. пишет, что в такую минуту было ему особенно радостно получить письмо, напоминающее, что в Брюсселе есть еще друзья. Он с раздражением прибавляет: в Париже ходят слухи, что они сидят на юге для своего удовольствия — «эти завистливые идиоты не понимают, что нам просто деваться некуда».

Вид у него был в те годы ужасный, он был худ, кашлял из-за непрекращающегося бронхита и трахеита, страдал невралгией. Кочевая его жизнь (из-за выступлений и переговоров с издателями) отражается в его письмах, которые посланы то из Берлина, то из Парижа, то из Англии, да и парижские адреса никогда не бывают постоянными. В гостинице во время своих «турне» он не останавливается: всегда у знакомых, иногда в совсем некомфортабельных условиях,— у нас он жил в мансарде. Может быть, это скитание по чужим квартирам и вызовет после материального успеха странное желание обосноваться в старом паласе, чем-то напоминающем ему гостиницы его детства.

В марте 1939 года В. сообщает, что едет 3 апреля в Лондон, где 5 апреля будет читать у Саблиных, затем у неизвест-

ных мне Чернавиных, и спрашивает меня, считаю ли я «ладной» его мысль приехать в Брюссель и дать русский вечер, или два вечера, один русский, один французский. Он мог бы прочесть по-французски главы из перевода «Приглашения на казнь». Он считает перевод Приеля прекрасным (чего я не нашла). Его планы — опять с семьей отправиться на юг «в загоне», так как «безденежье дикое», но все так же, несмотря на занятость и беспокойство, В. не забывает спросить, когда же он прочтет «интересный роман» Светика, и надеется, что мой «ручеек скоро опять зажурчит».

В апреле этого же года приходит от него из Парижа просьба подтолкнуть визу, чтобы заехать в Брюссель на обратном пути из Лондона. Паспорт у него все тот же нансеновский, но выданный уже во Франции и на удивительно короткий срок — от 21 марта 1939 до 21 июля 1939 года.

Так в последний раз побывал В. у нас в Брюсселе. Не помню, что и где он читал по-русски, а по-французски, мне кажется, в доме у Фиренсов — зала мы не нанимали.

То муж, то я приезжали иногда в Париж и, конечно, всегда видали Набокова или в малюсенькой двухкомнатной квартире, где они жили, или у Ходасевича.

С В. Е. были у нас отношения хорошие, но без той теплоты, а главное той простоты, которые существовали между В. и нами. Мне казалось, что В. Е. с ее твердым и повелительным характером свой узкосемейный круг — жена, муж, сын — считала самодовлеющим, замкнутым миром и единственным для В., писателя, необходимым. Другие допускались в него по необходимости и под ее контролем. Участие ее в творчестве В. уже тогда было неоспоримо, и я думаю, во всей истории русской литературы не найдется ему примера. Неизмеримо скромнее была роль, скажем, С. А. Толстой или А. Достоевской.

Недаром, случай редчайший, в переизданиях своих книг В., постфактум, приписал своей жене посвящения, которых не было в первых изданиях.

О глубокой своей привязанности к родителям, особенно к отцу, Набоков говорит завуалированно, то передавая свои чувства персонажам своих рассказов или романов, то намеками в своих стихах — «не изменился ты с тех пор, как умер», «за траву двух несмежных могил...» В любви же к своей жене и сыну он прибегает к необычайной для него откровенности, без камуфляжа вымысла, утверждая, что ему нужно, чтобы «все пространство и все время участвовали в моем чувстве, в моей смертной любви» (Conclusive Evidence).

С годами единство писателя и его жены все подчерки-

вается в разных интервью, поддерживается свидетелями и входит (как любовь Арагона и Эльзы Триоле) в легенду.

Итак, между мной и В. Е. существовал благожелательный нейтралитет — до одного инцидента, меня удивившего.

Как-то сразу же после объявления войны Англией и Францией Германии в Париже, в издательстве «La Renaissance du Livre» вышла моя книга по-французски, детские мои воспоминания о революции под названием «Une Enfance» (Одно Детство). Выслать ее критикам и разослать ее по книжным магазинам издатель не успел, но я получила первые авторские экземпляры — и послала их друзьям, в том числе и Набоковым.

В следующий мой приезд в Париж я, как всегда, зашла к ним, и В. Е. встретила меня больше чем сумрачно — В. не было — и сразу же начала меня обвинять в антисемитизме. В книге я рассказывала, прямо и просто, все, чему была одиннадцатилетней свидетельницей за годы революции и гражданской войны. Среди других драматических воспоминаний было и такое *:

Во время нашего перехода из Советской России на Украину последним обыском на самой границе руководила женщина-комиссар — еврейка — кожаная куртка — револьвер в кобуре. Забыть ее мне было трудно, не потому, что под ее присмотром солдаты обыскивали нас, как и прочих беженцев, весьма грубо, не потому, что, ехавшие под чужой фамилией, мы боялись быть задержанными так близко от спасительной черты, но потому, что в нашем товарном вагоне, переполненном и грязном, ехали два несчастных кадетика, два брата, одному было лет 12, другому лет 14. Они были изнеможены, видимо, не имели ни копейки, и пассажиры украдкой им подбрасывали еду. Мальчики были настолько растеряны и неопытны, что не догадались одеться в любое тряпье, только бы снять опасную кадетскую форму,— да и документов у них не оказалось. Мы и наши спутники прошли благополучно, но мальчики были задержаны комиссаром и по ее приказу отведены за станцию. Пока мы грузились на подводы, ожидающие беженцев уже на украинской стороне,— раздался залп — малые белогвардейцы были расстреляны.

Я указала В. Е., что в моей книге существуют русские убийцы и предатели и что я считаю, что было бы малодушием с моей стороны свидетельствовать о виденном с огляд-

* — Оно осталось и в расширенных версиях этих воспоминаний, изданных в 60-х годах во Франции и Германии.

кой — на кого бы то ни было. Но, по-видимому, В. Е. принадлежит к тем людям, которые историков, раскрывающих псевдонимы Троцкого и Стеклова или приводящих фамилии убийц царской семьи или «строителей» Беломорского канала, считают антисемитами. Перейдя от частного к общему, В. Е. обрушилась на весь русский народ, на «рабскую его натуру» и все прочее, что об этом народе часто говорится. Тут я ей заметила, что в книге моей я говорю всегда о какой-нибудь личности, о каком-нибудь случае — не обобщая, она же обвиняет огульно целый народ, что и есть, конечно, настоящий расизм.

Разговор был не лишен в моих глазах пикантности. Питая ненависть к нацизму и к Германии, в событиях того времени ни В., ни его жена ничем не участвовали, но В. Е. не могла не знать, что мы уже давно с мужем и уж никак не по личным причинам — да и к немцам как таковым мы ненависти не чувствовали — принимали деятельное участие в антигитлеровских акциях: создали, пока Бельгия была нейтральна, чтобы противостоять нацистской пропаганде, «Общество друзей Франции» и добывали визы для немецких евреев, в сотрудничестве с французским ПЕН-клубом и его председателем Жюлем Роменом. Это, кроме другого, и приведет меня в сентябре 1940 года в парижское гестапо. Муж мой, по возрасту не военнообязанный, записался добровольцем в бельгийскую армию (кончит войну с 80 % инвалидности). Может быть, нескромно об этом писать, но, когда пишешь о Набокове в жизни, следует не забывать об его окружении.

Обвинение В. Е. в антисемитизме я нашла скорее комичным, но высказанное ею презрение к русскому народу меня не обрадовало нисколько и обеспокоило. Набоков был русским писателем и в те годы только таким себя и считал.

На чем могла зародиться ненависть В. Е. к России? Ее семья никак не принадлежала (как и семья моего друга Марка Слонима) к бедным местечковым евреям, которым жилось на Украине или в Бессарабии неуютно, а иногда и небезопасно. Слонимы — петербуржцы, получили прекрасное образование и в той либеральной среде, в которой они вращались, вряд ли подвергались оскорблениям. Отец В. Е. был управляющим делами очень состоятельной женщины, М. П. Родзянко. Марк Львович Слоним, находящийся в родстве с семьей В. Е., говорил мне, что они не общаются с ним, потому что его семья стала православной. Причина, возможная, религиозной нетерпимости В. Е. для меня не была ясна. Насколько я знаю, В. Е. не исполняла предпи-

саний своей религии и, если бы им подчинялась, не вышла бы замуж за нееврея. В эмиграции, опять-таки в той среде, в которой вращались Набоковы, антисемитские настроения вряд ли существовали. А за то, что происходило в Германии, Россия ответственна никак не была.

По поводу этого разговора с В. Е. можно задать себе вопрос, как сам Набоков относился в конце тридцатых годов к России. Я была одной из самых первых, кому В. послал до напечатанья их на двух рукописных листах два своих стихотворения, подписанные «Василием Шишковым», и посвятил меня в эту мистификацию, на которую попался Адамович. Но явно не только для мистификации эти стихотворения были написаны. Поэзия, не в пример прозе, обману не поддается, слишком сильно в ней эмоциональное начало.

Эти два стихотворения «Мы с тобой так верили в связь бытия» и «Отвяжись, я тебя умоляю», полученные мною одновременно в 1938 году (хотя в сборнике стихов Набокова в изд. Рифма они появились под разными датами и с некоторыми разночтениями сравнительно с моим вариантом), не могут быть ничем иным, как выражением истинных чувств автора, «трава двух несмежных могил» тому порукой.

О России мы целомудренно с В. не говорили. Я сама тогда писала, думая о России: «О тебе кричать или молчать, третье отсутствует решенье», но трагедия разрыва с ней, потери ее, отдаленья от нее отражалась во всем, что В. тогда писал. Если бы В. Россию не любил — «прерывность пути» была бы для него незаметной и не надо было бы ему умолять ее от него «отвязаться».

От 1939 года у меня два письма от В. Одна открытка, написанная по-французски * — из-за цензуры, подписанная им за него и за жену, очень мила по своей встревоженности. Он просит дать о нас сведения, спрашивает, где моя мать (она успела из Берлина переехать во Францию в Розей ан Бри) и мой брат, он был тогда настоятелем Св. Владимирской церкви на Находштрассе в Берлине и благочинным церквей Западноевропейской Епархии в Германии. Там он и остался до самого входа советской армии в Берлин. Письмо заканчивалось: «Мы тебя целуем и любим». В по-

* Ввиду того, что Набоков стал американским писателем, интересно отметить, что в его письмах ко мне зачастую найдется немало французских слов и выражений, но ни одного английского.

следнем письме В. пишет о каком-то манускрипте. Прежде чем мне его послать, он хотел бы получить ответ от Когана: «Буду тебе благодарен, если нажмешь на него». О каком манускрипте идет речь, не помню, а Коган был издателем «Петрополиса» в Берлине. Он с 1936 года переехал в Брюссель, бывал у нас, но собирался перед неминуемой опасностью уехать подальше и, кажется, бедняга, выбрал Азию — никто не думал, что война перебросится и туда. С тех пор о Когане я ничего не слыхала.

В том же письме В. пишет о своих попытках поскорее добраться до США, благодарит меня, что я написала об этом моей сестре Наталье, и сообщает, что пишет ей сам, прося ее также найти ему работу в Америке. «Единственная хорошая новость — это что Александра Львовна Толстая уже достала нам отличный афидевит. Зато денежная сторона ужасна». От Б. К. Зайцева слыхала, как они вместе с Марком Алдановым объезжали богатых евреев, собирая Набоковым деньги на дорогу.

Около 20 мая, когда Набоковы подходили («Конклюзив Эвиденс») в порту Сен-Назара к пароходу, отчаливающему из Европы в Америку, в военном госпитале, где я работала сестрой, выгружали все больше и больше раненых, и в эти же дни муж мой после изнурительной, хотя и краткой, фландрской компании брел, не признав бельгийской капитуляции, в Данкерк — чтобы пробраться в Англию. В немирном мире, где мы оставались до 1945 года, не было времени ни для литературы, ни для переписки.

«Кроме скуки и отвращения Европа не возбуждала во мне ничего»,— пишет в своих воспоминаниях Набоков, хотя последние годы своей жизни он захочет провести как раз в «скучной Европе».

Но Европа между 1940-м и 1945 годом была никак не «скучна», или скучна только для обывателя, то есть для ненавидимого Набоковым «пошляка»!

Позднее добралась до Англии и я, не менее чудесным образом в 1942 году, после девятимесячного «путешествия».

В Лондоне мы и пробыли до мая 1945 года. Ни я В., ни он мне за это время не написали ни строчки. Но мы о нем вспоминали и надеялись, что в этой сказочно благополучной стране настало для него и для его семьи благоденствие. Только позднее, случайно встретившись в Париже с Мэри Мак-Карти, бывшей в 40-х годах женою Эдмонда Вильсона, я узнала, что первые годы им нелегко жилось и там.

В 1944 году в Лондоне мы достали его книгу о Гоголе, в 1945 году — английское издание «The real life of Sebastian

Knight» (Подлинная жизнь Себастьяна Найта), читали его и в «New Yorker'е»... И только в 1949 году, обосновавшись наконец в Париже и узнав от сестры адрес В., я написала ему и в ответ получила деловитое и четкое письмо от его жены. В. было уже некогда. Все же он прислал нам с милым автографом «Bend Sinister». Эта книга мне, впрочем, не понравилась. Я нашла в ней мало набоковской иронии и слишком много личной, не переработанной, ненависти к тоталитаризму.

«Лолиту» я прочла в первый раз в запрещенном парижском издании Жиродиаса. Была ли я скандализирована? Да, слегка. Мы еще не были приучены к такому жанру, но как прекрасны были описания, как всюду сверкало набоковское мастерство! Да и было в этой истории что-то очень трагическое, искупающее то, что *не нравилось.*

По удивительному совпадению, моя книга «The privilege was mine» о нашем пребывании в Москве с мужем в 1956—1957 годах вышла в том же нью-йоркском издательстве Путнам, что и официальная «Лолита». Я работала тогда на французском радио, писала по-французски исторические работы о России, бывала, хотя и начала отходить от такой потери времени, на литературных приемах и коктейлях. Когда появился французский перевод «Лолиты» у Галлимара, директор La Revue des deux Mondes, где я вела рубрику русской литературы, меня, естественно, попросил написать о Набокове. Поскольку моя статья в Cité Chretiénne о нем появилась в 1937 году и к тому же в Бельгии, и помня, что В. нашел ее не только «прекрасно написанной», но и «умной и проницательной», и поскольку мое мнение о нем как о писателе за эти двадцать два года не изменилось, я и взяла эту старую статью в основу новой...

Статья вышла в августе 1959 года (русский перевод этой статьи в приложении).

Моя сестра в своем письме от 4 октября 1959 из Нью-Йорка сообщила мне: «29 сентября уехали В. Набоковы в Европу на «Либерте» и в первом классе! В. был огорчен и недоволен твоей статьей в «Revue des deux Mondes». Не могла с ними спорить, так как статьи не читала. Но наша Ильина (тетка старших Набоковых) читала ее, когда была в Париже, откуда только что вернулась, и в восторге от нее. Захлебываясь, говорила что статья *длинная, блестяще* написана и что она согласна с каждым словом. Она не знала, что ты «Жак Круазе» (этим псевдонимом, сохранившимся у меня со времени, когда я была военным корреспондентом, я подписывала в то время статьи и французские романы), и долго

спорила, что статья написана не тобой, а мужчиной. Я ей *не* сказала, что В. не рад твоей статье, и она, как только его увидала, стала статью хвалить и превозносить до небес. В. говорит, что they quote (они цитируют) из твоей статьи и это ему вредит».

Не могла себе представить, чтобы что-нибудь могло В. тогда вредить, да и статья была благоприятна, но, может быть, и правда, именно из-за ощущенья, что В. больше не нуждается в дружественной поддержке — к прославленному писателю можно подходить без той мягкой симпатии, которую ощущаешь к еще недооцененному,— я написала более откровенно, что ли.

К неудовольствию В. я была, следовательно, подготовлена и, перечтя ее, даже начала подозревать, что именно его могло в ней раздражить. Ему могло не понравиться, например, замечание, что его судьба (за исключением случайного убийства его отца в Берлине) была, в общем, счастливее судеб его современников, молодых эмигрантов. И то, что, никак не сравнивая таланты Набокова и Хемингуэя, я презренное это для него имя привела в контексте, да и то, что, заканчивая статью, я упомянула, что этот год был годом Набокова и годом Пастернака. Даже еще и не зная отношения В. к «Доктору Живаго», я была уверена, что эта, в моих глазах прекрасная книга (и неудавшийся роман), В. понравиться никак не может.

Слухи о новом Набокове, никак не похожем на человека, с которым я была дружна до войны, до меня, конечно, уже дошли. Всегда хорошо знающий себе цену, В. начал чувствовать себя, по-видимому, Олимпийцем и ожидал неограниченного себе поклонения, к которому я не склонна по отношению к кому бы то ни было. В., в моих глазах, по-прежнему оставался замечательным писателем, и мы по-прежнему тепло к нему относились, памятуя прошлое, и собирались с радостью с ним встретиться, едва только получили приглашение Галлимара на прием в его честь.

В Галлимаре шел обычный в таких случаях кавардак. Щелкали фотоаппараты, вспыхивали фляши, ноги путались в проводах, бродили журналисты и техники телевидения, писатели, критики, приглашенные и вторгнувшиеся незаконно любители таких событий и дарового буфета. В одном из бюро В. давал интервью, и в тесноте и жаре мы ждали, когда он появится среди нас. Он вошел, и длинной вереницей, толкая друг друга, гости двинулись к нему. Годы ни его, ни меня, конечно, не украсили, но меня поразила, пока я медленно к нему приближалась, какая-то внутренняя — не

только физическая — в нем перемена. В. обрюзг, в горечи складки у рта было выражение не так надменности, как брезгливости, было и некое омертвление живого, подвижного, в моей памяти, лица. Настал и мой черед, и я, вдвойне тронутая радостью встречи и чем-то, вопреки логике, похожим на жалость, собиралась его обнять и поздравить — но, когда он увидел меня, что-то в В. закрылось. Еле-еле пожимая мою руку, нарочно не узнавая меня, он сказал мне: «Bonjour, Madame».

Я всякое могла ожидать, но это — это не было похоже на В. Скажи он мне: «Ну, милая моя, и глупости же ты обо мне написала», или «а статья твоя идиотская», я сочла бы это даже нормальным при существующих в прошлом наших отношениях, но такая удивительная выходка человека, которого я помнила воспитанным, показывала в нем что-то для меня новое — и неприемлемое. Не мог же он думать, что я рассчитываю на какую-то там благодарность. Я отошла, позвала моего мужа, еще не успевшего дойти до В., и мы ушли, чтобы никогда больше не встретиться.

В тот день я потеряла друга, но писателя Набокова я не потеряла, и не было ничего им написанного, что меня бы не интересовало. И к тому же как-то шли ко мне самотеком воспоминания людей, знавших его в пору его ранней петербургской молодости, а затем в молодости берлинской, а затем и позднее до дней его международной славы и после нее *.

С ЧУЖИХ СЛОВ

Людей, знавших Набокова еще в Петербурге, за границей оказалось почему-то предельно мало. В Париже до сих пор живет Ирина Г.-К., с которой я давно дружна. Брат ее Саба был однопартником Набокова по Тенишевскому училищу и находился с ним в очень дружеских отношениях. Ирина Г., на несколько лет моложе своего брата, помнит В. как раз в те ранние годы. Раз, вспоминает она, Набоков ее очень обидел. Написанные ею детские стихи Саба показал В., и В.

* Я десятки лет читаю газеты и журналы: английские, русские, американские, французские и, естественно, вырезала из них статьи, посвященные Набокову. Имеется у меня и Triquarterly № 17, изданный к его семидесятилетию. Но я сознательно не только не приобрела, но не заглянула ни в одну книгу, о нем написанную. Впрочем, когда моя книга была почти закончена, я получила от д-ра М. Туркевич-Науман ее работу «Blue evenings in Berlin» о его рассказах двадцатых годов.

на них написал: «Большие поэты обыкновенно пишут грамотно». И.Г. помнит веселость юноши Набокова, его шарм и его необыкновенную *чувствительность*. Так, как-то во время футбольного матча В. неудачным ударом ушиб ее брата и страшно волновался, забегал его проведывать, звонил по телефону и никак не мог себе простить невольно причиненную другу боль.

Сразу после революции семья нефтепромышленников К. отправилась на юг, семья Набоковых оставалась еще в Петрограде. Оттуда В. отправил своему другу Сабе шуточное стихотворное послание в Кисловодск. Письмо датировано 25.10.17.

Привожу тут краткую выдержку.

. . . . .Все печально,
Алеет кровь на мостовых.
Людишки серые нахально
из норок выползли своих.
Они кричат на перекрестках
и страшен их блудливый бред.
Чернеет на ладонях жестких
неизгладимый рабства след...
Они хотят уничтоженья
страстей, мечтаний, красоты...
«Свобода» — вот их объясненье,
а что свободнее мечты?
Распространяться я не буду...

Конечно, все посланье написано по старой орфографии. Набоков бросает своему другу, тоже теннисисту, вызов на матч, сообщает, что в мае «я лежал в больнице, был у меня аппендицит» и «что сто рублей за мой автограф любой извозчик уж дает»...

В тридцатых годах семья К. обосновалась в Париже. По своим связям с Нобелями, тогда еще имевшими влияние на выборы Нобелевских лауреатов, отец Ирины и Сабы сыграл очень важную, если не решающую, роль в присуждении Бунину Нобелевской премии по литературе и вообще щедро помогал не только русским писателям и поэтам, но и простым эмигрантам.

После 12-летнего перерыва В. Набоков снова встретился, уже в Париже, со своими друзьями. Из Берлина в феврале 1932 года он пишет Сабе, «как хорошо и весело было встретиться опять — в каком-то термосе сохранилось все тепло прошлого», прибавляя, что это правда, «а не писательский рокот». Так как после Парижа в этом году он впервые был

у нас в Бельгии, то отмечает и это событие...» В. «провел в Бельгии три приятных, но утомительных дня» и хвастается, что с честью вышел из своих путешествий, «расторопно»,— впрочем, потерял колодки и портсигар...

Сестре Сабы Ирине Набоков сперва задает загадку: «Мое первое — город в Бельгии, мое второе — последняя в гамме нота, мое третье — красивый француз, а мое целое — спа-си-бо». Ирина послала ему фотографию, он получил ее и считает, что, «скромно выражаясь, я вышел неважно». Рассказывает о перипетиях обратного путешествия. Болван кондуктор не хотел пропустить его чемоданы в купе — они были слишком тяжелы для одного человека, надо было их сдать в багаж, а так как один из них, большой, был без ключа, то он, чемодан, «от волненья и негодованья раскрылся, щелкнув зубами». Пришлось контролера подкупить, «а чемодан все продолжал содрогаться, и кричал галстук: прищемили!» — В. прибавляет: «Как видите, и я умею писать под Сирина».

В 1934 году еще одно письмо Сабе. Набоков, видимо, просил найти его брату Кириллу работу в Париже, но без разрешения на работу эмигрантам не давали визу. В. пишет, что его уговаривают приехать в Париж дать вечер, но он «тяжел на подъем». А ехать ему надо в связи с выходом его книг по-французски.

Привожу еще выдержку из письма Е. С. К. ее дочери — оно лишний раз свидетельствует о трагическом положении Набокова за пять месяцев до его отъезда в США.

18.12.1939

В. заходил на днях. Выглядит ужасно. Саба ему аккуратно теперь выдает по 1 000 фр. в месяц (до сих пор получил 4 000), но, конечно, ему этого не хватает. Теперь он получил три урока по 20 фр. Итого в неделю 60 фр. К нему приходят ученики. В Америке ему обеспечена кафедра и есть вообще перспективы хорошо устроиться, но сейчас он не может ехать, так как ждет квоты».

К. (как и мой муж и я) — сердечно привязаны к Набокову тех лет — тронуты его благодарностью, его щепетильностью — восхищаются его талантом, радуются теплоте своих отношений с ним...

Другая моя приятельница, кн. Нина Александровна Оболенская, знала В. в Берлине в 1922—1923 годах. Набоков тогда только что вернулся из Кембриджа, был очень светским молодым человеком, бывая не только в интеллекту-

альных кругах, но и в чисто светских. Его друзья смотрели на Набокова как на будущего великого писателя, все признавали его талант, ходили на его выступления. «Он читал по-особенному, очень живо и увлекательно». Как раз в то время он стал женихом — свадьба впоследствии расстроилась — Светланы, Светика З. Ей было тогда 16—17 лет, «она была высокая, хорошенькая девушка, с большими черными глазами, как-то по-особенному сияющими, с темными волосами и смугло-золотистой кожей. От нее исходили радость и теплота». Я позволяю себе упоминать об этой молодой любви Набокова, во-первых, потому, что это было не то, что определяется словом роман, а, во-вторых, потому, что Светлана — образ ее — отразился в некоторых женских героинях Набокова и к ней было обращено одно письмо с юга Франции, в 1923 году, копию которого она дала моей матери, по-видимому, желая сохранить память о почти детском своем увлечении. Кстати, из известных мне немногочисленных увлечений Набокова, кажется, только Светлана была брюнеткой.

С этой дамой, уже вдовой, я встретилась в Брюсселе почти сразу после войны и как-то невольно подумалось: «А что было бы, если бы»... А письмо ей, в 1923 году посланное Набоковым после разрыва, такое прелестное, живое, теплое,— хотя уже чем-то уж очень набоковское, то есть писательское и просящееся в антологию или по крайней мере в биографию. Судя по нему, В. работал тогда дровосеком на юге Франции, собирался поехать в Бискру, в Алжир... чтобы найти место, где «даже тени» Светланы не будет... (В своих интервью Набоков подчеркивал, что физическим трудом никогда не зарабатывал.)

Иным остался Набоков в памяти барона Андрея Витте — который встречал его в тридцатых годах в Лондоне у В. П. Волковой и у Саблеров. А. Витте на 7 лет моложе Набокова, и писатель показался ему порядочным снобом, «неприятно саркастическим» в спорах.

Поэт Анатолий Штейгер, много путешествовавший, собирался в Берлин, и, хотя к Сирину он, поклонник Адамовича, относился с пренебрежением, я посоветовала ему непременно встретиться там с Набоковым.

В длинном письме своем от июля 1935 года А. Штейгер мне написал: «Его (Сирина) можно встречать 10 лет каждый день и ничего не узнать о нем решительно. На меня он произвел впечатление почти трагического «неблагополучия», и я ничему от него не удивлюсь... но после наших

встреч мой очень умеренный к нему интерес — необычайно вырос»*.

В январе 1937 года Фундаминский и Руднев привели Набокова к одной русской даме, живущей с дочерью в Париже. Эта первая встреча произвела на обеих большое впечатление, но почему-то дама эта записала в своем дневнике: «Какой страшный человек!»

Как-то по приезде в Париж в 1939 году, когда умерла мать В., зная, как он был к ней привязан, как страдал от невозможности ей помочь, я сказала при встрече с хорошо знавшим его (несколько профессионально) русским парижанином — не писателем: «Бедный Набоков! Вы знаете, у него мать умерла», на что, передернув плечами и удивленно на меня взглянув, мой собеседник заметил: «Ну, этот-то! Ему всё все равно».

Так и был до отъезда в Америку наш Набоков и Набоков других -- двуликим Янусом.

Поселившись в Монтрё, Набоков, по-видимому, никого из старых своих друзей не видал. Посещали его там только его родственники и друзья его жены. Но, может быть, иногда и рад был бы он встретить и ранее знакомых ему русских почитателей...

В 1969 году, в поезде, идущем в Лондон, муж и я повстречались с русско-американским профессором «Эмеретюс» и его американской женой. Мы разговорились. Они побывали в Швейцарии. Там, в горах, увидали они знакомого им по фотографии знаменитого писателя, с сачком, охотящегося за бабочками. Преодолевая робость, они к нему приблизились и представились. В. был очень приветлив, улыбался. Охотно начал разговаривать. Но вскоре показалась В. Е. Она его позвала. Набоков заторопился, на ходу с ними попрощался и пошел на зов.

Позднее В. встречался с советскими и бывшими советскими писателями, т.е. представителями той самой пролетарской литературы, которую он так презирал. Рассказы об этих встречах я принимала не без скептицизма, но воображать эти аудиенции могла довольно легко. По-видимому, никто из посетителей не видал Набокова наедине, всегда в присутствии его жены. Могу себе представить, с каким чувством рассматривал В. представителей нового для него пле-

* Это письмо опубликовано целиком в моей книге «Отражения» (см. с. 177.— *Прим. сост.*).

мени — вне зависимости от их талантов — бесконечно далеких от него людей, книги которых он не читал.

Верю, что он все же был рад в старости, что омертвелая, но все теплящаяся в нем надежда иметь читателей в России оправдалась и «в сущности совсем прозрачный» писатель Набоков стал известным в «стране немого рабства». На «великом просторе» появился читатель и «дикий» не остался «в неведении диком».

Мне труднее понять, чем может понравиться Набоков людям, которые, в сущности,— почти все из них — отрекаются от той России, которая вырастила Набокова, тому читателю, о котором он так зло отозвался в 1951 году как «о новом, о широкоплечем провинциале и рабе».

Один из моих друзей, посетивший Ленинград, спросил у одного молодого поклонника Набокова: «Что вам в нем нравится?» и получил ответ: «У него стиль аристократический», что опять-таки очень бы обрадовало Набокова.

Вижу, воображаю такие аудиенции, В., превосходно игравшего в созданного им для таких случаев Набокова, иногда и «паясничавшего» с рюмкой водки в руках. Один из ценимых мною советских поэтов утверждал, что, когда В. говорил о том, как почитают его в России, и когда он слушал о России, «слезы струились по его лицу». Впрочем, это сейчас же опровергал близкий поэту человек. Не могу себе представить «залитое слезами лицо» В. — вижу в этом благородную проекцию, тонкость души того, кто увидел Набокова таким.

Вторично же никто из раз побывавших собратьев не приглашался — контакт установлен не был, да и на чем он бы мог установиться? Даже не на общности языка — общности такой быть не могло.

О несостоявшемся свидании Набокова с Солженицыным ходит много версий, одна из них типично набоковская. Только сам Солженицын может правдиво об этом рассказать. Но все же и Бунин и Солженицын гораздо более великодушно говорили о Набокове, чем он об этих двух больших писателях.

Не совсем точно, что я в последний раз видала В. Набокова на приеме у Галлимара в 1959 году. Мне довелось его увидеть еще раз — к моему сожалению — на экране французского телевидения, и мне трудно теперь, как я ни стараюсь, отделаться вот от этого последнего виденного мною облика, еще более от меня заслонившего другой и дорогой мне образ. У молодого Набокова не было ничего нарочитого, и даже «провокационные» его утверждения в прошлом были

не подготовлены, а выдуманы в ту же минуту, когда он их говорил.

А в грустную парижскую ночь заранее и тщательно подготовленная пьеса разыгрывалась на малом экране — знакомый мне когда-то Ариэль тяжеловесно дурачил не заслуживающих его презрения зрителей. Ни один жест, ни одно слово, ни одна улыбка не были бесконтрольны. Фишка за фишкой творчество Набокова, казалось, поглощал какой-то компьютер.

Незадолго до этой передачи французские зрители видали на том же экране вдохновенное лицо Солженицына, сосредоточенное, пронизанное волевой и духовной энергией, где не было ни игры, ни подтасовки. Одна правда. Повидав передачу «Апострофы» с Набоковым, один французский критик заметил: «Мы увидали Сальватора Дали, переодетого швейцарским нотариусом!»

Более учтиво (правда, эта статья была помещена сразу после смерти писателя) Жерар Гильо в «Фигаро» так вспоминает эту телепередачу: «Перед нами предстал оледеневший человек, маскирующий свое беспокойство, скрывающий сердце под гордыней, а гордыню за «неприсутствием». Человек горящего холода и зачинатель дела, в котором сочетаются расчетливость и необъятность...»

С горечью пишу об этом и с болью, желая понять, найти причину и оправдание той игре, которая закончилась победой Валентинова над бедным Лужиным.

Пародия дошла до предела, и сам писатель стал пародией самого себя.

И все-таки, и все-таки — Владимир Набоков самый большой писатель своего поколения, литературный и психологический феномен. Что-то новое, блистательное и страшное, вошло с ним в русскую литературу и в ней останется. Он будет — все же, вероятнее всего,— как Пруст, писателем для писателей, а не как Пушкин — символом и дыханьем целого народа.

На нем заканчивается русский Серебряный Век.

ЧИТАЯ НАБОКОВА

> **Вы-то хорошо знаете, что я**
> **чистейшей искры выдумщик**
> **и никого не сую в свои вещи...**
> ***В. Набоков, из письма 1936 г.***

Несмотря на это все повторяющееся в те годы утверждение, Набоков, не менее Толстого, пользуется действительностью. Реальность мира — это материал его творчества, из живых людей родятся его герои, главный из них, в разных арлекиньих одеждах — он сам. Да и что может быть для писателя, существа всегда интроспективного, интереснее его самого?

Мы имеем три автобиографии Набокова: «Конклюзив Эвиданс», «Спик Мемори» и «Другие берега», одну романизированную и во многих отношениях более откровенную, чем эти три,— «Дар». Наконец, есть и вымышленная, с примесью правды, может быть, даже исповедь — «Смотри, смотри, Арлекины!». Кроме того, во всех произведениях Набокова, кроме как в романе «Король, дама, валет», всегда имеются элементы автобиографические.

Вымысел — прием. Действительность — материал. С ловкостью фокусника бросает Набоков в цилиндр платки, мячи, кроликов, чтобы вытащить из него то, что на них непохоже. Он шифрует самого себя, дурача исследователей, которым приходится вытаскивать из-под щебня вымысла ту правду, что под ним скрыта. Если Пушкин «монолитен в своих противоречиях», то Набоков мозаичен в своем однообразии...

Я не знаю другого писателя, который в течение всей своей жизни продолжал бы писать о себе самом, обязательно включая в свои книги частицы своей биографии. Обычно в первом романе начинающий романист старается так от себя «отделаться» и затем переходит к созданию героев, от него совершенно отличных. Флобер физически переживал страданья умирающей Эммы Бовари, не передавая ей свои собственные переживания. Персонажи романистов сборны, выдуманы, обычно для одного только произведения. Наташа Ростова, Китти Щербацкая, Анна Каренина, княжна Марья никогда не вырвутся из страниц одного романа на страницы другого. Они неповторимые личности. Как и Мышкин и Настасья Филипповна и Евгений Онегин и Хлестаков. У Набокова похожесть персонажей, повторность их поразитель-

на. Не только одни и те же навязчивые символы, как зеркала, но даже почти одинаковые образы переходят из книги в книгу, даже и предметы всегда возвращаются.

«Живой, невероятно милый» мяч мальчика Годунова-Чердынцева не навсегда закатился под нянин комод («Дар»), он же красно-синий закатится и под койку смертника Цинцинната («Приглашение на казнь») и предстанет еще перед зрителями пьесы «Событие», когда через сцену катится сине-красный детский мяч.

Еще поразительнее пример ковра. Земное существование подобно великолепному ковру. Оно не что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне. Это в «Даре», и в том же «Даре» эта метафора возвращается. Странность жизни «как будто на миг завернулась, и он увидел ее необыкновенную подкладку». В одном стихотворении Набокову хочется так сложить дивный ковер жизни, чтобы узор настоящего пришелся бы на прошлый «прежний узор». В «Пильграме» мысли Элеоноры показывали привлекательную лицевую сторону, а в «Приглашении на казнь» время складывается опять как ковер, складки которого можно собрать так, чтобы соприкоснулись два узора. У Лужина был гувернер, который умел показывать фокусы со стаканом и монетой, надо было, чтобы узоры монеты и скатерти совпадали, «совпадение узоров есть одно из чудес природы».

Тут хочется мне отметить удивительное совпадение узоров: Ренан сравнивал живые существа (êtres vivants) с ткачами, ткущими гобелены (шпалеры), которые создают оборотную сторону ковра, не видя узора его лицевой стороны.

Как ни зашифровывал себя Набоков, тем, кто был с ним знаком, легко найти его в его героях. Если сборный муж Нины («Весна в Фиальте») кое-чем и похож на одного современника Набокова, он имеет много общего и с ним самим. «Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове», этот венгерский писатель «с выжидательным выражением египетских глаз» пишет по-французски, а не на своем родном языке, и, познав «природу вымысла», он более гордится званием сочинителя, чем званием писателя, как и Набоков в тридцатых годах.

В одном из самых замечательных романов Набокова, «Даре», не менее, чем Чернышевский, увиденный глазами Набокова, интересен и Годунов-Чердынцев, его биограф. Умный критик Кончеев — в вымышленном диалоге — упрекает его в «излишнем доверии к слову», что за собой знал и

автор «Дара». Федор Константинович и Владимир Владимирович во многом похожи. И у того, и у другого «петербургский стиль», «галльская закваска» и «неовольтерианство». Мартын («Подвиг»), как и Набоков в молодости, имеет «ладность всего облика и движений». Он так же англизирован, как и Себастьян Найт с его желто-канареечным свитером — такой канареечный свитер носил в Кембридже Набоков — и с его спускающимися носками. Кстати, Себастьян тоже вырос в атмосфере интеллектуальности, в которой сочетались русский шарм с европейской культурой.

Набоков давал в Берлине уроки тенниса, а у Мартына («Подвиг») «так ныло правое плечо, так горели ноги».

Смурова («Соглядатай») и Набокова сближает не только то, что оба они дают уроки, но то, что между соглядатаем и наблюдателем разница не велика — она заключается в цели, в мотиве соглядатайства. Всегда зрячий Смуров, всегда зрячий Набоков, у обоих «воображение было так мощно»... У Смурова, как и у его создателя, можно насчитать по крайней мере «три варианта» его личности, и при этом подлинник останется неизвестным. Так неказистый двойник облагорожен. Да и то сказать, ни писателя, ни его персонажа как будто и нет. Образ их надо искать в «тысячах зеркал, которые их отображают».

Наделен набоковскими чертами и Виктор, сын Лизы («Пнин»). Необыкновенный этот мальчик тоже имел в детстве «приятную свободность манер», но, главное, уже в шесть лет «узнавал цвет теней, улавливал разницу тени от апельсина или тени сливы». В своих воспоминаниях Набоков пишет, что у него был «окрашенный слух». Подобно Артюру Рембо, он видел буквы в красках. В «Даре» буква С «сияет сапфиром», а буква Ы «столь грязная». К тому же и сын Лизы и Набоков засыпают с трудом...

Набоков как будто все знает о себе, а кое-что даже и предчувствует, или чувствует — то зачаточное, что разовьется в старости.

Есть у него от Шока («Картофельный эльф»), который не может «пропустить случай, чтобы не сотворить обмана мелкого, ненужного, но изысканно-хитрого». Не отождествляет ли он себя и с Горном из «Камеры Обскуры», который, глядя, как слепой садится на свежепокрашенную скамейку, его об этом не предупреждает — питая свое творчество бессердечностью невмешательства.

В Лизе («Пнин») есть общее с одной молодой женщиной, которую Набоков знал в Берлине, в самом Пнине, герое самого теплого и человечного из всех его американских ро-

манов, найдется общее с автором, утерявшим «ладность движений». Недаром у Пнина так художественно болят зубы — они часто болели и у молодого Набокова. Когда я говорю о предчувствиях о себе Набокова, я думаю о другой замечательной его книге «Защита Лужина». Во время ее написанья Набоков был деятелен, подвижен, по его термину «расторопен», т. е. был еще включен в общение с другими. Подобно Лужину, зачарованный игрой, в старости он перейдет грань и войдет в отстранение, выпадет из игры.

Удивительно все-таки, как Набоков, так внимательно относящийся к своему творчеству, с такой беспечностью относится к повтореньям, он не мог не знать, что именно самое удачное определение, самая оригинальная мысль или фраза должны быть единственны... Что-то понуждало его к такого рода возвращениям.

Мартын («Подвиг») показывает Ирине, как сложить два пальца на хлебный шарик, чтобы осязать его как два шарика. То же делает и Круг в «Bend Sinister» для Давида.

Громадный фаберовский карандаш, который мать привозит мальчику в «Даре», возродится уже откровенно в воспоминаниях. Лиза («Пнин») живет в гостинице рядом с двумя молодыми педерастами, как и Ганин в «Машеньке». Пнин подымает свой палец в воздухе по-русски вертикально, как бы указуя на небеса, а не угрожающе-горизонтально по-немецки. Об этом жесте прочтем мы и в «Даре» и в «Других берегах». Полубрат Себастьяна Найта повидает в Швейцарии бывшую его гувернантку, очень схожую с бывшей гувернанткой мемуариста «Conclusive Evidence».

Прототипы романов и рассказов Набокова существуют или существовали, нетрудно догадаться, кто из зарубежных литературных критиков был Жоржик Уранский, а в другой книге Мортус. И у писателя, и у одного его персонажа тетка работает в американском посольстве.

Что касается «Лолиты», то, хотя Набоков и утверждал, что идея нимфетки пришла ему в 1940 году, на самом деле уже в «Даре» обозначена будущая Лолита, да и в «Приглашении на казнь» двусмысленна Эмочка, «маленькая девочка с икрами балетной танцовщицы», так грациозно и обманно манящая Цинцинната недостижимой свободой.

Приблизительно через сорок лет после «Дара», лет через двадцать после «Лолиты» и пять после «Ады», появится в «Смотри, смотри, Арлекины!» еще одна девочка — на этот раз уже не падчерица, а родная дочь В. В. Отношения их двусмысленны, но невинны. Как и Лолита, Изабелла-Белл уйдет

к самому обыкновенному молодому человеку. Он увезет ее в... СССР. Туда отправится, в надежде ее увидать, и В. В. На этом аналогия с Лолитой кончается. Что-то сумасшедшее было в погоне Гумберта Гумберта за Лолитой — тяжелое дыханье, мученье. Всего этого нет в «Арлекинах».

Но особенно меня поразило то, что промелькнуло в книгах доамериканского периода Набокова об эротического рода литературе, и еще больше, кто это высказывал. Например, Герман в «Отчаянии», «ощущая в себе поэтический, писательский дар» и к тому же «крупные деловые способности», подумывал, когда шоколадное его предприятие начало тонуть, почему бы ему не заняться другим — «например, изданием дорогих роскошных книг, посвященных всестороннему освещенью эроса». «Отчаяние» написано в 1933 году. В «Даре» — 1937 — о будущей Лолите думает самый пошлый персонаж этого романа, отчим Зины Мерц — Щеголев. Зайдя в комнату своего молодого жильца, сидящего перед исписанными листами бумаги, он поведал ему, что, будь у него время, он бы «такой роман накатал!» Как и всем подобным ему людям, сюжет казался Щеголеву особенно удачным, потому что был взят из жизни. А сюжет, его соблазняющий, был таков: человек, уже пожилой, но «в соку», знакомится с вдовой, у нее дочка «совсем еще девочка — знаете, когда ничего не оформилось». Вот девочка эта и побудила вдовца жениться на ее матери, и с тех пор отчим испытывает «соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду»... Сам же Годунов-Чердынцев в письме к матери пишет, с какой бы радостью он покинул «тяжкую, как головная боль, страну», где «роман о кровосмешенье... считается венцом литературы». Как могло случиться, что идея пошляка Щеголева была осуществлена Набоковым? Или то, что в «ненавистной» стране отвращало Годунова-Чердынцева, стало приемлемым для писателя в «Аде»?

Тут и может быть подтверждение моей догадки, что и секретарю Найта, и Щеголеву, и Герману, и другим несимпатичным персонажам передает Набоков кое-что свое, интимное, а не только героям «положительным», как Годунову-Чердынцеву или Найту.

А какое обилье писателей и биографов среди героев Набокова! Годунов-Чердынцев, писатель и поэт, пишет о Чернышевском, Себастьян Найт — писатель, о нем пишет «шут» Джон Гудман, Шэд — поэт, о нем пишет Чарльз Кинбот... Кажется, ни у одного писателя нет такой коллекции воображаемых литературных собратий.

Кроме фокусников и обманщиков, есть также и вдохно-

венные лгуны, как Смуров или Герман, который сам признается, что с детства одна из главных его черт — «легкая, вдохновенная ложь».

Из реальностей детства писателя интересна тема дуэли. Петербургские старожилы говорили мне, что отец Набокова действительно стрелялся с кем-то, сказавшим, что, женившись на Рукавишниковой, он женился на деньгах. Впервые мы найдем переживанья мальчика, случайно узнавшего, что его отец будет стреляться, в сборнике «Соглядатай», в рассказе «Лебеда». Там, на Крестовском Острове, состоялась дуэль между Шишковым (этой фамилией Набоков подписал свои два стихотворения о России) и графом Туманским. Сын Шишкова, Путя, узнав, что отец его выжил, зарыдал в школе от облегчения. Себастьян Найт в своей книге «Пропавшая собственность» вспоминает о дуэли своего отца во время метели на берегу замерзлого ручья (Черной речки?). Там отец был убит. О дуэли своего отца Набоков напишет в «Conclusive Evidence», не указывая на ее причины, но уточнив, что, в сущности, обидчик отца был «недуэлеспособным». Клеветник матери Найта был «cad» — подлец.

Лично гнета тирании на себе Набоков не испытал, был только свидетелем ее в Германии; прототип тирана ему не встречался в жизни, и поэтому рассказ «Истребление тиранов» и роман «Bend Sinister» остаются довольно абстрактными и бледнеют перед многочисленными свидетельствами о Гитлере или о Сталине не только очевидцев и жертв их злодеяний, но даже и перед подлинными «выдумщиками», как Оруэлл.

Короткий — девять страниц — рассказ «Облако, озеро, башня» (Русские записки. № 2. 1937) гораздо более тонко, а следовательно, и более глубоко, чем даже «Истребление тиранов», показывает зло тирании. Этот рассказ теперь мало кому из русских читателей знаком, вот вкратце его суть. Тихий герой Василий Иванович, кое-чем похожий на Пнина, «скромный, кроткий холостяк», выиграл на русском благотворительном балу билет на «увеселительную поездку». Поездка оказалась групповой — состоявшей из немцев и их вожака (фюрера). Как единственный русский, т. е. особенный, В. И. был немедленно и насильственно присоединен к большинству, и дальнейшее обернулось кошмаром. У В. И. был отнят томик Тютчева, который он собирался в дороге читать, ему запретили смотреть в окно, принудили участвовать в хоровом пении. Отняли от него и его провизию, булку, три яйца и любимый огурец (огурец был сразу же выкинут за окно), яйца и булку включили в общую закуску, причем

В. И. дали порцию меньше, чем другим,— его паек был неказист. После отвратительной коммунальной ночи В. И. пришлось «цузаммен марширен», идти в ногу со своими спутниками по сельской дороге, не заглядываясь на окружающее. И вдруг, на привале, перед В. И. открылось «то самое счастье, о котором он, в полгрезе подумал». Синее озеро, отраженное в нем облако и на холме, в зелени, старинная черная башня. Тут, подумал В. И., мне нужно остаться — навсегда. Но едва он сообщил своим спутникам о своем решении и что дальше он не пойдет, обратно с ними не уедет, как вожак обозвал его «пьяной свиньей». У В. И. отняли его дорожный мешок: «Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь!» Остаться было verboten — запрещено. «Если нужно, мы вас понесем»,— сказал вожак. Когда В. И. усадили в вагон, его начали избивать: «Было превесело».

С такой экономией средств — ничего не объясняя, ничего не подчеркивая,— Набоков больше сказал об угнетении, чем в дидактическом «Bend Sinister».

Что сказать об «Аде», романе, по его собственным утверждениям, особенно им ценимом? На обложке удешевленного издания в Америке заботливый издатель начертал для соблазна покупателей: «Новый бестселлерный эротический шедевр автора „Лолиты“» (роман был впервые напечатан в 1969 году).

Эротический? Шедевр? На первый вопрос можно ответить утвердительно — если эротика заключается в количестве половых забав, которым персонажи «Ады» предаются с раннего детства и до старости, с прорезывающими эротику звуковыми и смысловыми набоковскими каламбурами — доказательствами авторской эрудиции вообще и в области международной лингвистики в частности. Мненья американских и английских критиков резко расходятся. Кто из них хвалит «Аду» со страстью, иногда и с подобострастьем, кто бранит без страсти, но не без насмешливости. Мне показалось, что это самая скучная из набоковских книг, в ней нет набоковской легкости, она какая-то вымученная. Подобно знаменитому зданью, сооруженному своими руками во французской провинции Изера отставным почтальоном Шеваль на рубеже XX века. Громоздкое, барочное, хоть и современное, нагромождение камней (впрочем, теперь оно охраняемо государством не столько как чудо искусства, сколько из-за его странности), это воплощение фантазмов покойного почтальона.

«Ада» — вавилонское смешение языков. Набоков щего-

ляет перед бедными читателями, знающими только один какой-нибудь язык, своим перед ними превосходством и вкрапляет в американский роман слова и выраженья русские, французские и даже немецкие — уснащая все аллитерациями, каламбурами и литературными ребусами... (впервые, в «The real life of Sebastian Knight» — попадаются русские и французские слова в английском тексте).

Демьяна зовут Демоном — он отблеск лермонтовского демона — (упоминается и Врубель), одну сестру зовут Аква, другую Марина — целое же Аквамарина. Но и в «Аде» можно отыскать: Нирванат, Невада, Ваниада, Ван(Иван) и Ада главные персонажи книги. Ада — Ардор, ардер — жар. Это запутанная хроника потомков, конечно, княжеской четы. История заканчивается в двадцатых годах нашего столетия. Начинается же она с такой фразы: «Все счастливые семьи более или менее непохожи,все несчастные более или менее похожи». Читатель догадался, что так начинается «известный роман» «Анна Аркадьевич Каренин». Словами Набокова это может быть определено как «furnished space», или, по-русски, «меблированное пространство». И только в четвертой части книги можно найти размышления постаревшего писателя о смерти и времени.

ЖЕНЩИНА В РОМАНАХ НАБОКОВА

Кажется, кто-то уже отмечал все увеличивающееся женоненавистничество Набокова. Действительно, спроси какого-либо читателя назвать хоть одно женское имя, им запомнившееся из всех женских образов, созданных Набоковым, он назовет «Машеньку» — может быть, а «Лолиту» — наверное, она уже стала нарицательной. Главные персонажи у Набокова всегда мужчины. В лучшем случае женщины нейтральны, они не имеют собственной ярко обозначенной личности и существуют по отношению к рассказчику, живут в его отображении. Отображенная, тихая прелесть есть у Машеньки — Тамары. Промелькнет в «Соглядатае» Ваня с ее своеобразной красотой, бархатными глазами и веселым сиянием в них. Молчаливая Клэр Себастьяна Найта, как и «Красавица» рассказа, так названного, умрет в родах. Они останутся тенями, уступят место карикатурам: Лида Германа глупа, Марфинька, жена Цинцинната,— пародия, как и его мать. Лолита, потеряв соблазнительность нимфетки, потеряет и свое очарование, Анета «Арлекинов» — идиотка, Лиза «Пнина» — карикатура, наконец, в «Прозрачных пред-

метах» Хюг Персон в полусне душит свою жену... Остается Ада? Но Ада половина Вана, составная часть его, не просто двойник или просто близнец, они сиамские близнецы — одно существо, две половинки одного существа, дополняющие друг друга.

Кто Зина в «Даре»? Она умна, образованна, холодна, обидчива... В ней нет тихой прелести Машеньки — Тамары, нет теплоты, нет души. Чем привязывает молодого Годунова-Чердынцева Зина, кроме понятного молодого влечения к девушке, рядом с ним живущей? Тонкостью своего понимания его писательских проблем, верою в его гений. Она хочет, чтобы Годунов-Чердынцев написал «что-нибудь огромное», у нее много планов для него. Она способна его поправлять — «так по-русски нельзя», она одарена «гибчайшей памятью, которая, как плющ, обвивалась вокруг слышанного ею», она, по словам Годунова-Чердынцева, незаметно «служила ему регулятором, если не руководством», Зина была уверена в гении молодого писателя: он «размахнется так, что все ахнут!!». «Барышня с характером»,— говорили про нее ее знавшие. Сотрудница, соучастница того, что Годунов-Чердынцев задумал, Зина смотрела на его писанье как на что-то свое, негодовала на критиков, его не похваливших... Только ей он может говорить о своих планах. Она не эхо на его голос, она говорит вместе с ним.

И Годунов-Чердынцев, спрашивая себя, нужна ли ему вообще жена, уверен, что лучшей жены он себе не найдет. Ведь она верит, что он станет великим писателем, «какого еще не было», что Россия будет изнывать по нему, «когда спохватится». Правда, на вопрос Зины, любит ли ее Годунов-Чердынцев, он прямо не отвечает...

Совсем другой образ женщины в «Защите Лужина», девушки, которая станет женой героя. Все внимание читателей обращено на самого Лужина, и она остается в тени. Напрасно! Набоков ей придал такие редкие для своего отношения к женским персонажам черты, что на Лужиной следовало бы задержаться. В некотором отношении она антитеза Зины Мерц. В ней нет честолюбия, и выходит она замуж совсем не за маэстро Лужина, а за Лужина, затерянного в мире ребенка, смешного и патетического чудака, только для того, чтобы защитить его от какой-то опасности, хотя она и не знает точно от какой — но реальной, отчасти и от славы...

Молодые люди считали ее — заметим, что у жены Лужина нет ни имени, ни фамилии,— милой, но довольно скучной барышней, мать — декаденткой, потому что она читала Бальмонта. Отцу ее нравилась ее независимость, ее тишина.

Но сам Набоков называет в ней самым «пленительным» и незамеченным другими то, что в ней была таинственная способность души воспринимать только то, что «привлекало и мучило душу в детстве», «когда дух у души безошибочен». Она была открыта к смешному, забавному, но, главное, у нее был дар жалости «ко всякому существу, живущему беспомощно и несчастно», будь то сицилийский ослик или гениальный и слабый Лужин.

Она, Лужина, была живой человек в мире неживых, у нее была горячность духа, и при всей затушеванности ее роли — в ее действиях обнаруживается непоколебимость и решительность.

Это, мне кажется, единственный женский образ у Набокова, в котором мы найдем качества души, к тому же действенной, а не только созерцательной. Она не могла себе объяснить существование чужой муки — «в таком располагающем к счастью мире», и пресечь это чужое мученье было для нее необходимостью. Она чувствовала, что если ей сделать этого нельзя, то она сама задохнется и умрет. Она не любила вещей, не занималась чужим мнением, вся была в другом мире, мире состраданья, но без всякой елейности или даже идейности. За Лужина она вышла замуж исключительно потому, что он был беззащитен, таинственен. Если Лужину и можно с кем-то сравнивать, то это только с Перовой, любившей пианиста и композитора Бахмана, в сборнике «Возвращение Чорба». Перова с «лицом неудавшейся мадонны» и легкой хромотой полюбила, впрочем, Бахмана, коротконогого, плешивого, немолодого человека, к тому же пившего, все-таки за его дар. Дар Лужина был слишком необычен, чтобы очарование его могло распространиться на Лужину... У нее к нему была жалость, как к слепому котенку, потерявшейся собаке, ребенку, играющему над пропастью.

Многие почитатели Набокова считают, что русские его книги лучше американских. Мне думается, что среди русских, кроме некоторых рассказов, лучшие из лучших — это «Защита Лужина», «Дар» и «Приглашение на казнь» — они одни уже обеспечивают ему высокое место на русском литературном Парнасе. Собственно говоря, в этих трех книгах уже заключается весь Набоков, весь его талант, весь его блеск, вся его виртуозность и все его тайные мысли, весь он сам. Из написанных по-английски — «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Пнин» и «Бледный огонь»... Но после «Лолиты» намечается спуск, творческий упадок. «Смотри, смотри, Арлекины», «Прозрачные предметы» и даже

«Ада» — это только перепевы прошлого, оригинальность становится маньеризмом. Как будто иссякли творческие силы при сохранившейся виртуозности и ремесло притушило творческий жар.

Может быть, не хватало воздуха в пробковой камере последних лет, несмотря на окно, оставленное для лета бабочек...

Сам Набоков признавался, что соглядатайство, наблюдательность были у него развиты до чрезвычайности. Он презирал тех, кто не замечает лица, краски, движенья, жесты, слова, всего, что происходит вокруг них. В последние годы наблюдательность была оставлена без употребления, общение с «сырьем» — материалом для его творчества — прекратилось. Все надо было выбирать из ранее накопленного, заниматься самопожиранием, кормить собою, своим нутром, своими фантазмами книгу за книгой...

«Король, дама, валет» выпадает из удач Набокова этого раннего периода, потому что явно это было написано, чтобы пробиться в переводы, как и другая более удачная книга «Камера обскура» для того, чтобы пробиться на экран,— безденежье помеха для писателя и не расчищает путь гениальности.

Личные переживания Набокова, все им видимое и слышимое было необходимым ему материалом, «изнанкой ковра», который он ткал. В жертву Тирана ему было труднее воплотиться, чем в Цинцинната, потому что он осознавал себя не только смертным — смертником, но исключительным, особенным.

По его письмам, по его книгам, по его отношению к другим людям можно проследить, как определялось в нем с годами последнее перевоплощение Набокова.

В первых своих произведениях Набоков прячет себя менее тщательно, к тому же мир для него еще не безнадежен. В 1929 году он видит смысл писательского творчества в изображении каждодневности, в бытовых мелочах, «так, как они отражаются в ласковых зеркалах будущих времен». Но если молодой Набоков думает в этом пассаже, что в нашем прошлом потомки найдут «благоуханную нежность», то в его воображении потомок этот, когда он наденет самый простой пиджак, будет «уже наряжен для изысканного маскарада».

Сатира, а иногда и юмор — виды отчаяния или признак обиды, вот отчего венгерский писатель в «Весне в Фиальте» всего только «мнимый весельчак». Постепенно исчезает из произведений Набокова острое ощущение счастья, пусть

мгновенное, и радости. Последняя человеческая книга — это «Пнин». Та «банальная боязнь банального», в которой он упрекал Кэтрин Мэнсфилд, появилась с течением времени у него самого.

Не устану повторять — пародийный дар у Набокова велик. В «Даре» один персонаж так прекрасно пародировал другого, что стал и в самом деле на него похож. Работая над своей книгой о Чернышевском, Годунов-Чердынцев «хочет всё держать на краю пародии». В «Лолите» Гумберт утверждает, что «пародия всегда сопутствует истинной поэзии».

Вообще творчество Набокова можно уподобить современному барокко по его цветистости. Да и подбор имен, которыми он дарит своих героев, часто аллегоричен. Шок — шокирует, Хорн — рогатый, Уранский — ... Кнайт — рыцарь, но произносится по-английски как Найт — ночь, Эдельвейс благородный — белый. Шед — из «Бледного огня» — полутьма, бестелесная тень, ширма, издатель Персон — персона. (В XVII веке парсуной звали портреты.) Пнин — пень, дерево, тут что-то русское, добротное и без лукавства, в «Аде» по-русски есть и Да и Ад, и читать это имя можно с начала и с конца — короткая и дурная бесконечность.

Анаграмму своей фамилии, иногда точную, иногда приблизительную, Набоков любит вставлять в свои произведения. То это Адам фон Либриков, то Мак Наб, то Нотебок, то Вивиан Даркблаум, то Вивиан Калмбруд. В «Арлекинах» В. В. старается вспомнить, с какой буквы начинается его фамилия, примеривает несколько на букву Н — Небесный, Наборкрофт, Ноторов... В небольшой книге, написанной сразу после «Ады» — в ней всего 104 страницы — «Transparent things» («Прозрачные предметы» или «Прозрачные вещи»), Набоков, философствуя, хоть и пишет как будто о проблемах писательства, опять-таки пишет о себе: Хюг Персон — издатель. Его знаменитый автор — барон Р. — живет в Швейцарии; впрочем, возможно, что издателя Персона и не существует вообще, барон же Р. не менее самого Набокова презирает Фрейда, и у него плохая репутация насчет нимфеток.

Вопреки раннему его утверждению в письмах ко мне — «будем прежде всего сочинителями» — Набоков к концу жизни ставит «звание писателя» *выше* «звания сочинителя», одновременно отождествляя творчество с памятью.

В предисловии ко второму изданию «Защиты Лужина» (Париж, 1963) Адамович покаянно пишет: «Истинный художник улавливает законы, которым он подчиняет свое

творчество, будучи, однако, сам не в силах найти им объяснение». Это знал и Пушкин, вдохновению, т. е. непонятному, отводя почетное место. Набоков выразил это непонятное в «Лужине», может, чувствуя эту не зависящую от него силу в самом себе. Но с годами, в своей гордости, он как будто не хотел быть обязан ничем такому иррациональному моменту, как вдохновение. Он хотел сам творить законы своего творчества, верил в свою абсолютную власть над ним. Ничего не должно быть написано случайно, все сделано, все понято — как поэзия Поля Валери.

РОССИЯ

> Россия долго держала его...
> Старалась удержать его...
>
> *Набоков. «Звонок»*

> А когда мы вернемся в Россию... Каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян.
>
> А она ведь не историческая — только человеческая...
>
> *Набоков. «Дар»*

Она была в его памяти странным смешением райской радости, неизбывного страха, горечи потери. Россия настойчиво и цепко пробивается в стихах, рассказах, романах Набокова. Сперва как что-то предельно живое, затем отмирающее — как эхо давно прозвучавшего голоса и, наконец, входит в открытую и тайную мифологию, Градом Китежем, Атлантидой, потерянным Эдемом. Она населяется тенями, которые только память и может оживить. Она Зоорландия и Зембля.

Как бы ни настаивал Набоков за последние двадцать лет жизни, что он не русский, а американский писатель — это еще одна из набоковских масок. В интервью, данном им Альдену Виману в 1969 году, Набоков заявил, что «Америка — единственная страна, где я чувствую себя интеллектуально и эмоционально дома». Мы можем этому родству не так уж верить, потому что Набоков только два раза за почти двадцать лет вернулся в страну, принесшую ему славу,— т. е. как будто по ней он не соскучился. И на этот раз изгнание было явно добровольным. Америка не обратилась в Зоорландию, она не мучила его снами, не смотрела на него «дороги-

ми, слепыми глазами», не угрожала ему расстрелом или тюрьмой — если бы он туда вернулся...

И в «Лолите», и в «Пнине» описания американского континента и населяющего его народа сделаны как бы «извне», так, как видели и описывали их иностранные писатели, в частности англичане, не как свое, кровное. В «Лолите» Набоков или его alter ego не хочет «бросать тень на американскую глушь». Он называет ее трагической и эпической, но никогда не Аркадией. Райского в природе он там не находит, несмотря на всю ее красоту и даже на то, что может быть в ней похоже на русскую природу. То тропинка «подловато виляет», то в Новой Англии «кислая весна». В Западной же Европе все еще было почти свое, домашнее, могущее переселиться в Россию. Берлинское небо еще нежно и над ним встает другое, «где верхушки лип прохвачены желтым солнцем». Ганин и Набоков бродят в «светлом лабиринте памяти», они знают дорогу и на «ощупь и на глаз». На немецкой улице еще «блуждал призрак русского бульвара». В Швейцарии Мартын, впервые увидевший горы «гуашевой белизны», вспомнил — «густую еловую опушку русского парка».

Как и полурусский Мартын, полурусский Себастьян Найт, покинув Россию, чувствует себя эмигрантом. Заметим, что русский язык Себастьяна Найта чище и богаче, чем английский. Найт думает, что одна «из самых чистых эмоций изгнанника — это тоска по родине». Ему хочется «показать такого изгоя, напрягающего до предела свою память, чтобы сохранить картины прошлого».

Книга за книгой, до самой последней, отражает это напряжение изгнаннической памяти Набокова. России нет только в «Короле, даме, валете» — книге, которая, как я уже говорила, возможно, была попыткой попасть в немецкое издательство, с чисто немецкой темой, как и в «Камере обскуре» — просящейся на экран.

Но как спасти память о прошлом, не давая этому прошлому окостенеть, окаменеть? Мартына раздражало, что Арчибальд Мун относился к России, как «к мертвому предмету роскоши». У Муна хранился «саркофаг с мумией» России.

В конце тридцатых годов не только Мартыну, который в юношестве воображал себя или снился себе изгнанником, но и всем нам стало ясно, что «изгнание... воплотилось полностью», что оно стало бесконечным, тогда-то и появились стихи Шишкова — стихи-заклинания. Шишков-Набоков не отказывался от России, он умолял ее отказаться от него, не сниться ему, не жить в нем. Последнее, «чуть зримое

сияние» России продолжало его мучить, звать домой, хотя дома уже не было и одни призраки бродили по аллеям усадебного парка и петроградским набережным.

Только словом, «изогнутым, как радуга», мечтает поэт вернуться в «полыхающий сумрак России»...

Я не сразу заметила, что уже в «Машеньке» появляется тема подвига. Ганин говорит Подтягину о своем замысле, уже трехлетней давности, составить партизанский отряд, пробраться к Петрограду и поднять там восстание. Ностальгия подвига тоже как будто жила в Набокове, может быть, потому что ему было как-то совестно, что во время гражданской войны он ничем не участвовал в этом, пусть обреченном на неудачу, действии, в котором участвовало множество его сверстников.

В «Подвиге» Дарвин, прервав учение, пошел добровольцем на войну, когда ему было восемнадцать лет, и провел три года в окопах. Узнав об этом, Мартын ощутил свой собственный опыт весьма малым. Боев в Крыму больше не было, но Мартын «с нетерпимым сознанием чего-то упущенного воображал себе... легкую рану в плече».

Самое же решенье Мартына вернуться в Россию совсем не убедительно, творчески неудачно, и именно из-за этого и кажется оно проекцией, авторским импульсом освободиться от своего комплекса. Вероятно, в молодом Набокове, как и в Мартыне, жила «мальчишеская тяга к опасности», как говорит мать Мартына, всегда Мартына от нее ограждающая.

Из воспоминаний Набокова я предпочитаю первую версию «Conclusive Evidence». При позднейших переделках исчезает спонтанность. В первой же версии о том, как Набоков собирался поступить в армию, написано следующее: «В продолжение последней части моего... пребывания в Крыму я так долго собирался поступить в Деникинскую армию» — и тут же пируэт, чтобы не подумали, что это была жажда подвига — «не так чтобы войти в предместье Петербурга, как для того, чтобы достигнуть Тамару на ее хуторе».

Надежда вернуться на родину — одна мысль об этом возвращении сопряжена для русских изгнанников с ощущением страха, памятью о бегстве.

Немало было написано о Гоголе по поводу убежавшего от Агафьи Тихоновны Подколесина. Тема бегства в произведениях Набокова, как и многие другие его ключевые темы, повторяется с настойчивостью. В «Машеньке» Ганин убегает от «своей юности, своей России», боясь, увидев ее, потерять ее вторично — узор памяти мог бы не сойтись с узо-

ром вновь увиденного. Лужин убегает в смерть от одержимости шахматным полем, Цинциннат подготовляет свой побег по-иному, чем Лужин, старается выпасть из смерти в жизнь. Пильграм хочет бежать, вырваться из мира «распятых крохотных существ», к трепещущим жизнью бабочкам — в Тенериф, в Лапландию, где хрупкие эти существа еще летают. Убегает с Паном 17-летний Себастьян Найт, Круг («Bend Sinister») видит возможность убежать в чужую страну, чтобы вернуться в свое прошлое, потому что в прошлом его собственная страна была свободной. Если время и пространство равнозначны, то бегство и возвращенье взаимнообменны.

Бежит Кинбот — или Шед («Pale Fire») в Смерть от Рожденья и преследователей — исследователей, но главное от Рожденья в Смерть. Бежит куда-то Пнин, во сне, переодевшись. В беспрерывном бегстве, догоняя Лолиту или увозя ее, мечется Гумберт Гумберт.

Все это, конечно, не считая действительного бегства семьи Набокова и всех тех, кто «тени его изгнаннического сна».

Страх — тоже один из элементов набоковского мира. Родина видится эмигранту Подтягину («Машенька») «как что-то чудовищное». Вернувшись в свою страну, Круг («Bend Sinister») всхлипывая, заливаясь слезами, мечется между двумя контролями, допрашивающими его на каждом конце одного и того же моста. В этой стране даже лицо Падука «растворяется в воде страха». В 1939 году, в повести «Посещение музея», рассказчик вступил в странный не музейный мир, очутился на панели, заново заснеженной, и «тишина и снежная сырость ночи были ему странно знакомы». Ему казалось, что он вышел на волю, в подлинную жизнь. Но радость перешла в ужас и страх, когда неосторожный посетитель музея «непоправимо» понял, куда он попал. «Увы, это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная».

Тут случайно забредший на родину стал судорожно рвать иностранные деньги, все то, что обрекало его на тюрьму или смерть. От всего этого надо было отделаться, т. е., в сущности, остаться нагим. И снова надо было бежать, «дико оберегая свою хрупкую, свою беззаконную жизнь». Нагота тут служит переодеваньем — маскарадом.

В «Conclusive Evidence» Набоков признается, что иногда он воображает себя увидевшим снова знакомую деревенскую местность, с фальшивым паспортом, под чужим име-

нем. Но и раньше, в сборнике стихов, в стихотворении 1947 года отображается эта мечта — хоть нелегально побывать в местах, хранимых памятью. И вот, в «Письме к кн. Качурину», некто переодетый американским священником живет в «музейной обстановке... с видом на Неву». Это путешествие после «тридцатилетнего затмения» остановило душу, в нем было «объяснение жизни всей». Но страх не покидает путешественника. Да и можно ли вернуться домой, в молодость?

Так неизбывно живет в Набокове память о России, и гораздо более драматично, чем у Вадима Вадимовича в «Арлекинах», более непосредственно, чем в «Письме к кн. Качурину» — Сирин был моложе,— в стихах, написанных в двадцатых годах, найдем мы такие строчки:

Бывают ночи, только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать...

И хотя поэт чувствует покров «благополучного изгнания»,

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так,—
Россия, звезды, ночь расстрела —
и весь в черемухе овраг!

Как и поэтическому корреспонденту кн. Качурина, в конце своего писательского пути в «Арлекинах» Набоков позволит еще раз одному своему герою, Вадиму Вадимовичу, вернуться на родину с «почти подложным», британским паспортом и остановиться в гостинице с видом на Неву, но как будто уже стерлась возрастом радость возвращения — причина возвращения не ностальгия, а желание видеть дочь. Стерся, истратившись в снах и мечтаниях, и страх. Вадим Вадимович не узнает бывшую столицу, он не был там никогда летом, да и не совсем законного туриста никто на родине не узнает, кроме приставленного к нему соглядатая — эмигрантского писателя возвращенца — и незнакомой Вадиму Вадимовичу некоей Доры. Охранная грамота Вадима Вадимовича — его международное признание: «Вы наша тайная гордость»,— говорит ему Дора. Ни радости, ни ужаса, ни триумфа, ни расстрела — sic transit...

Набоков, живущий на Западе,— двойник того, который жил в России. Кто из них тело? Кто тень? Кто подлинный, кто пародийный? Поразительная память Набокова, его по-

стоянный, как будто врожденный позыв к пародии, не знаю, сознательно или подсознательно, привели его к пародии на стихотворение загнанного (и как писателя им не чтимого) — Пастернака. Стихотворение Пастернака было написано в 1959 году после Нобелевской премии. В нем есть такие строки:

Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

В 1961 году в альманахе «Воздушные пути» № 2 Набоков так начинает одно свое стихотворение:

Какое сделал я дурное дело,
И я ли развратитель и злодей,
Я, заставляющий мечтать мир целый
О бедной девочке моей?

Что же это, случайно или нарочитая подмена России Лолитой, оскорбление родины, par dépit amoureux *?

А в 1919 году в стихотворении «Панихида», напечатанном в Париже в 1920 году в журнале «Грядущая Россия», мы найдем такие заключительные строки:

Ты — жестока, Россия.
Слышишь ли, видишь ли? Мы с упованьем
— Сирые, верные,— греем последним дыханьем
— Ноги твои ледяные.

И там же, изнемогая от тоски по родине, в другом стихотворении, «Вьюга», юноша Сирин вдруг предчувствует старого американского Набокова. Слыша, как «корчится черная Русь», он от боли, любви, от отчаяния от нее отрекается.

Ах, как воет, как бьется — кликуша.
Коли можешь — пойди и спаси.
А тебе-то что? Полно, не слушай...
Обойдемся и так — без Руси.

НАБОКОВСКАЯ РОССИЯ

Когда я заметила при встрече с ним, что Набоков столичный, городской, петербургский человек, что в нем нет ничего помещичьего, черноземного, мне кажется, я не ошиблась.

---

* Досада любящего *(фр.)*.

Сияющие, сладкопевные описания его русской природы похожи на восторги дачника, а не человека, с землею кровно связанного. Пейзажи усадебные, не деревенские: парк, озеро, аллеи и грибы, сбор которых любили и дачники (бабочки — это особая статья). Но как будто Набоков никогда не знал запаха конопли, нагретой солнцем, облака мякины, летящей с гумна, дыхания земли после половодья, стука молотилки на гумне, искр, летящих под молотом кузнеца, вкуса парного молока или краюхи ржаного хлеба, посыпанного солью... Всё то, что знали Левины и Ростовы, всё, что знали как часть самих себя Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Бунин, все русские дворянские и крестьянские писатели, за исключением Достоевского.

Тут все-таки хочется мне уточнить свою мысль. Когда я говорю о Набокове как о человеке города, я противопоставляю его русским писателям — помещикам, имевшим земельные корни и знание крестьянского говора. Набоков, по-своему, мастер описанья природы. Она по-набоковски красочна и нарядна. Он находит для неба ли, заката ли новые слова, новые оттенки красок и сравнений. В природе то стоит «веселая, что-то знающая тишина», то лежат в поредевшем лесу «еще дыша, срубленные осины»... В Африке «дивное и страшное тропическое небо»... «блистательные сабли камышей».

Больше, чем домашние животные, взгляд Набокова привлекает то, что сродни бабочкам,— насекомые, как овод «с переливчатыми глазами навыкат». Он видит и «бледный испод» дикой малины, он сравнивает вершины берез с «прозрачным виноградом». Это все совсем новые эпитеты в русской литературе и почти все подчеркивают чувствительность зрения писателя и его уменье очеловечить природу, равное его умению придавать предметам человеческие черты (и обесчеловечивать человека).

Отсутствует в набоковской России и русский народ, нет ни мужиков, ни мещан. Даже прислуга — некий аксессуар, а с аксессуаром отношений не завяжешь. Мячик, закатившийся под нянин комод, играет бо́льшую роль, чем сама няня. Промелькает в воспоминаниях «синеносый Христофор», о котором мы ничего не узнаем, кроме его синего носа, два лакея безо всякого отличительного признака, просто: «один Иван сменил другого Ивана». Немногим больше о дочери кучера Захара, Полиньке, крестьянской девушке, влюбленной в молодого барина и отпугивающей его своими грязными ногами, а раньше взволновавшей его своим детско-девичьим телом, когда она купалась в реке.

Низшая каста, отразившаяся в набоковском творчестве,— это гувернантки и учителя. Набоковская Россия — очень закрытый мир, с тремя персонажами — отец, мать и сын Владимир. Остальные члены семьи уже как-то вне его, но семейная группа пополняется наиболее колоритными родственниками и предками.

Не найдем мы также участия или соучастия Набокова к судьбе его родины и к судьбе его народа, ни жалости к его соотечественникам (единственный раз, насколько мне помнится,— Набоков, по просьбе Файнберга, выступил в английской печати в защиту Буковского). Сын либерального политического деятеля, члена партии народной свободы, Набоков, несмотря на всю его любовь к отцу, предан был только своей личной свободе.

У Набокова — роман с его собственной Россией, она у нас с ним общая только по русской культуре, которая его воспитала. Общая родина наша — это Пушкин.

Россия для Набокова, кроме памяти о своей личной, еще «и пение Пушкинских стихов», и Русский язык — единственное его достояние на «других берегах». Итак, вот еще одна оригинальность Набокова. Если невозможно себе представить Пушкина, Толстого, Гоголя, Лескова без русского человека — простолюдина, герои Набокова все замкнуты в узкий круг богатой буржуазии, высшего чиновничества и интеллигенции. Впрочем, есть бродяга («Отчаяние») и эпизодические персонажи его эмигрантских лимбов, но они вне набоковской, лично его России.

SOLUS REX

Эта ограничительная Россия — Эдем, из которого Набоков был изгнан, его королевство. Он не просто изгнанник, эмигрант, беженец — он принц или король, потерявший свой наследственный удел. В глазах Виктора даже скромный Пнин приобретает семейное сходство с болгарскими королями или средиземными принцами. Засыпая, этот необыкновенный мальчик подставляет образу своего подставного отца — образ отца-короля, предпочтившего бегство — отречению от престола.

В интереснейшей и блистательной книге «Pale Fire» — «Бледный огонь» можно видеть автора и его тень — его сумасшедшего комментатора, плачущего о потерянной земле. Кинбот — неважно, сумасшедший ли он или нет,— считает себя низверженным королем далекой северной страны

«Зембля». Он во власти своей памяти, во власти своего счастливого детства. В эмиграции король инкогнито становится американским профессором.

Кинбот — имя это означает — цареубийца, «Истребитель на нашем языке». Король, который топит и растворяет свою личность в зеркале эмиграции, в какой-то мере Истребитель себя самого.

Существует ли такая страна «Земблям? Может быть, и нет ее на всем земном шаре, но тоска по ней у Кинбота реальна и ощущается им как духовное опустошение.

Никакая книга не должна иметь тайного значения, просто содержания — фабула не важна, все продолжает подчеркивать стареющий Набоков. Он хотел бы, чтобы мы видели в нем Фреголи — только *ловкость* Фреголи — его оправдание. «Бледный огонь» — прекрасное интеллектуальное развлечение читателя, а поэма в этой книге, в 999 строк, еще и эстетическое наслаждение, но всюду проскальзывает запрятанный за стилистическими и декоративными рисунками ребус Набокова. Там есть и курьезный пассаж: Кинбот, между прочим, обвиняет жену поэта Шеда в том, что она вычеркивает всякое упоминание о его «Земблем.

А годами раньше, в явно имеющей автобиографическое значение книге «Дар» и в не менее явно отображающем молодого писателя Сирина молодом писателе Годунове-Чердынцеве, мы найдем в более замаскированном виде нечто подобное. Всем известно, что Набоков очень старался доказать происхождение своей семьи от, вероятно, не мифического, но историей не сохраненного татарского князька Набока. В «Даре» автор книги о Чернышевском носит фамилию двойную, Годунов — фамилия татарская, хоть и не княжеская, но ставшая царской, Чердынцев — напоминает фонетически об Орде. Для мальчика Лужина плед был «королевской мантией».

Кто герой, кто «я» книги «Смотри, смотри, Арлекины»? Опять-таки *князь* Вадим Вадимович, отобранное именье его называлось «Маревом» — миражем. Американский паспорт, выданный Вадиму Вадимовичу, не отмечает его «наследственный титул». Больной спрашивает себя, нет ли в нем крови кавказского князя? Парализованный В. В. подвержен инъекциям, «магическим фильтрам», которые действуют не только на его тело, но и на божественность, в этом теле заключенную. Доктора-шаманы, трепеща, присматривают за сумасшедшим императором.

Да и в «Аде», этой семейной хронике, идущей от XVIII века до двадцатых годов нашего, Иван-Ван и Аделаида-

Ада — потомки княжеских родов, князя Земского и княжны Темносиней.

Ностальгия по предкам заложена в человеке независимо от его социального происхождения, человек без корней тоскует о своем сиротстве. Снобизм бывает и интеллектуальным, и артистическим. Есть снобизм этнический и имущественный. Снобизм же социальный распространен во всех классах и, может быть, меньше всего у старейшей аристократии. Потомки пиратов гордятся своими предками пиратами, потомки рабов видят себя детьми Спартака, сын трудового народа гордится своим рабоче-крестьянским происхождением, те, кто носят исторические фамилии,— престолом своих предков, и мы знаем, что сам Пушкин...

Если я упоминаю здесь о сословном снобизме Набокова, то потому, что он совсем не вяжется с его вольномыслием, с его антиконформизмом, с его отталкиванием от традиций и обычаев. Дело не в том, что в порядке воспоминаний Набоков уведомляет читателей о своих родственных связях, но в той настойчивости, которую он при этом проявляет. Человек, определивший сам себя безбожником с «вольной душой в этом мире, кишащем богами», яростно отзывается на всякую попытку умалить родовитость своей фамилии, действительно стародворянской, но до XIX века не такой уж известной, находит время опровергнуть одного рецензента, написавшего, что его семья принадлежала к богатой буржуазии, сердится, когда говорят, что семья его матери была промышленниками, т. е. купцами *,— до получения дворянства.

Правда, семья Набокова была очень богата, богатство это — часть «королевского наследия». У Годунова-Чердынцева был особняк на Английской набережной и «родовое именье». В своих воспоминаниях Набоков упоминает, что на него смотрели косо в Тенишевском училище, потому что его привозили туда на автомобиле. (Тенишевское училище, не сословное, было самым дорогим из частных школ и гимназий, и не одного Набокова привозили туда на автомобиле.). Тяга к своей исключительности как будто распространялась у него и на социальное происхождение, и на имущественное — собственность. А подлинная его исключи-

* Купцы — «гости» — уже в Киевской Руси были «именитыми людьми». Строгановы стали графами, но Третьяковы отказались от дворянства, предпочитая остаться «потомственными почетными гражданами Москвы». Дворянство в России давалось легко, даже без особых заслуг. Дослужившись до определенного чина, военного или штатского, человек получал личное дворянство, переходившее быстро и в наследственное, для его потомства.

тельность, конечно, была только в его таланте, и приложений к ней не требовалось.

Совершенно несомненно, что Набоков ненавидел советский строй и октябрьскую революцию совсем не из-за того, что он потерял свое состояние,— я лично не знаю ни одного человека первой эмиграции, который бы ненавидел по этой причине, или даже за свое изгнанничество, новую власть. Все, и старые и молодые, были уязвлены другим — это с самого начала резко обозначенным решением этой коммунистической власти покончить со всем прошлым России, уничтожить ее культуру, ее духовные и творческие ценности, т. е. ее личность.

Но также несомненно, что память о бывшем своем благосостоянии задержалась ностальгией в Набокове. В воспоминаниях кн. Юсупова, вел. кн. Марии Павловны или кн. Долгоруковой мы не найдем этой ностальгии по роскоши и почету, которые их с детства окружали. Незамеченные в детстве эти «придаточные» к человеческой личности остались для них незамеченными и в эмигрантских лишениях.

Для Набокова — нет короля без территории, без бриллиантов его короны...

Король без королевства, одинокий изгнанный принц, «Потерявший за морем свой скипетр» (такая фраза есть в американском стихотворении Набокова «Королевство на берегу моря»), Набоков — Solus Rex — одинокий король.

НАБОКОВ И ДРУГИЕ

ПУШКИН

Как бы ни был связан Набоков с западной литературой, все же родная стихия его, его наследство — литература русская. И как бы ни была далека его личность, его мировоззрение от пушкинской аполлонической сущности, нельзя не верить, что Пушкин «вошел в его кровь». Только человек, до глубин приверженный Пушкину, мог с такой любовью взять на себя труд четырехтомного перевода на английский язык «Евгения Онегина» и комментариев к нему. Судить о качестве этого перевода я не решаюсь — это вне моей компетенции,— но сознаюсь, что я с большим интересом читала примечания переводчика. Даже те, с которыми я не была согласна, вызывали часто мое восхищение, иногда улыбчивое.

Маленькое отступление: проф. Парри в своей статье в Н. Р. С. от 9 июля 1978 года пишет по поводу этого перевода, что Набоков ему говорил, что переводить Пушкина на иноязычные рифмы — «сущее святотатство». По-видимому, он не всегда думал это, так как в 1937 году совершил такое святотатство, дав мне для редактируемого мною сборника «Hommage à Pouchkine» свой рифмованный перевод «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». (Тогда как я перевела, без рифм, два других стихотворения.)

Какая эрудиция, какой литературный подвиг — этот четырехтомник (кроме всего прочего, там и суд без милости над всеми предыдущими переводчиками «Евгения Онегина»).

Из примечаний к транслитерации наугад приведу одно, в моем переводе, о произношении русской буквы В для англо-американских студентов. «В, как в Виктории, но перед глухой согласной и в конце слова В переходит в звук Ф. Пример: булавка рифмуется с Кафка, нрав с телеграф, но своенравный и телеграфный не рифмуются».

Итак, я уже писала: пушкинская поэма для Набокова прежде всего — феномен стиля, это не «картина русской жизни» или, может быть, только малой группы русских. Персонажи взяты из западноевропейского романа и перемещены в «стилизованную Россию». Для переводчика Набокова единственный важный русский элемент в поэме — это речь, «пушкинский язык».

В конце своего предисловия Набоков пишет то, что для него очень характерно: «В искусстве нет прелести без деталей — подробностей»... «Все общие идеи, так легко добываемые и перепродаваемые,— только потертые паспорта, позволяющие их обладателям быстрый переход из одного края незнания в другой». И с подобающей ему нескромностью предисловию он предпослал после первого эпиграфа — в виде посвящения своего труда Америке, строфой из Пушкина «И девственным лесам Младой Америки» — второй эпиграф: это отрывок из пушкинского письма по поводу перевода мильтоновского «Потерянного Рая» Шатобрианом. Не имея русского подлинника, мне приходится, к стыду моему, переводить Пушкина с английского.

«Теперь — неслыханное дело! Первый поэт Франции переводит Мильтона слово за словом, утверждая, что этот точный перевод будет вершиной его искусства»...

Намек ясен: первый русский? американский? — поэт Набоков будет переводить Пушкина слово за словом, и это будет вершиной его искусства.

И все же задумываешься, что же от Пушкина в его младшем собрате Набокове? Довольно трудно отыскать в психологическом и в творческом облике Пушкина черты, роднящие его с Набоковым. Нет у Набокова ни возвышенности дум, ни детской шутливости Сверчка, ни удивительной совместимости ясности духа и темных томлений. И не написал бы Набоков «есть упоение в бою», потому что не было у него ностальгии молодого Пушкина по тому лихому гусару, которым он бы хотел быть в молодости. Ценил себя Пушкин не только за то, что «прелестью живых стихов» он был полезен, но все равно в какой версии — что «чувства добрые» он «в людях пробуждал». «Чувства добрые» и пробуждение их в людях как раз то, от чего Набоков отрекается как от чего-то, поэту и писателю совершенно ненужного. И до самой смерти пламенное сердце Пушкина никогда не стало замороженным.

И все же ясно: не будь у нас Пушкина, не было бы и Набокова.

ГОГОЛЬ

Пушкин в крови, а Гоголь? Многое в Гоголе было ближе Набокову, и книга его «Николай Гоголь», изданная в США в 1944 году по-английски, несмотря на свои скромные размеры, устанавливает эту близость, хотя для этого и понадобилось собственное набоковское толкование автора «Мертвых душ».

«Отчаявшиеся русские критики, стараясь отыскать влияние и найти гнездо для моих романов, раз или два связывали меня с Гоголем, но когда они вновь всмотрелись — я развязал узлы и коробка осталась пустой»,— так заканчивается книга о Гоголе.

Гоголь был «чревовещатель», он был не более реален, чем Петербург, им описанный, то есть был «отражением затуманенного зеркала». «Реализм Гоголя только *маска*». Два первых тома Гоголя «Вечера на хуторе» и т.д. Набоков считает фальшивым юмором, потому что «клоун, появляющийся в расшитом блестками костюме, гораздо менее смешон, чем тот, который одет погребальщиком». Он любит Гоголя «Мертвых душ», «Шинели» и «Ревизора». Пьеса Набокова «Событие» кое-чем напоминает «Ревизора». Там тоже все действующие лица ждут появления опасного посетителя. Страх — главное действующее лицо, страх напрас-

ный, бессмысленный, угроза не воплотится, опасность была мнимой. Почти на каждой странице Набоков подчеркивает то, что может быть у Гоголя истолковано как отношение самого Набокова к искусству. Выдумка, сочинительство, к подлинной жизни отношения никакого не имеющее, персонажи — не портреты, ситуации не заимствованы из жизни, если иногда и случается «совпадение вымысла и происшедшего», то это только «вульгарная подделка художественного воображения» жизнью. Впрочем, и самого Гоголя нет, «тень Гоголя жила... жизнью его книг». Конечно, Набоков восстанет против любителей искать какое-либо «учительство» или мораль в гоголевских произведениях — морали в искусстве делать нечего. Тут опять: «Его (гоголевская) работа, как и всякое великое литературное достижение, феномен языка, а не идей». Почему-то Набоков считает, что обличение пошлости не имеет отношения к морали, а ведь пошлость, конечно, имморальна. Для Набокова же она только антиэстетична. Образцом пошлости он считает Полония, Короля и Королеву в «Гамлете», Рудольфа и Омэ в «Мадам Бовари», молодого Блока у Пруста, Каренина у Толстого, Марион Блум у Джойса. В «Мертвых душах», пишет Набоков, Гоголь собрал великолепную коллекцию пошляков, и Чичиков не человек, он абстракция, «его жульнические проделки только призраки и *пародии* преступлений», поэтому Чичиков и не мог быть подвергнут, как Гоголю хотелось бы, наказанию или искуплению. К пошлости Набоков относит все, что не соответствует его мериллу вкуса. Для Гоголя пошлость была грехом, унижением души и оскорблением Бога, для Набокова — преступлением против художественного вкуса — антитворчеством.

Не менее характерен подход Набокова к «Шинели»: «На высочайшем уровне искусства литература не занимается жалостью к малым и осуждением великих. Она отвечает потаенной глубине человеческой души, где тени других миров проходят, как тени безымянных и бесшумных кораблей»,— тут следует отметить слово, редкое в лексиконе Набокова,— душа.

В 1944 году, задолго до утверждения того же самого в работе о «Евгении Онегине», Набоков пишет, что в «Мертвых душах» не надо видеть подлинно русский фон, и, приводя свой прекрасный перевод гоголевской «Тройки», он напоминает читателям: «Как бы прекрасно ни звучало это последнее крещендо, с точки зрения стиля это всего-навсего болтовня *фокусника*, позволяющая предмету исчезнуть».

С другим Гоголем, во многом, и в самом главном, проти-

воположном Набокову, Набоков справляется очень просто. Религия Гоголя, по-человечески одаренного воображением, «была поэтому метафизически ограничена». Не менее смело восстает он против толкованья самим Гоголем «Ревизора» и «Мертвых душ». «Мы имеем тут дело с невероятным фактом писателя, который абсолютно не понимает и искажает смысл своей собственной работы!!»

Так, по-своему вывернув и этим приблизив любимого своего писателя к себе, Набоков в той же книге как бы ставит его выше Пушкина, определяя Пушкина как писателя трех измерений, а Гоголя — всех четырех.

Отчего? «Гений всегда странен»,— пишет Набоков.

Пушкин не странен, он гениален без безумия, Гоголь гениален и в конце своей жизни безумен. Сам Набоков, без нахальства, но и без скромности, откровенно сравнивающий себя только с великими, остановился, мне кажется, на грани гениальности и на грани безумия.

ЖУКОВСКИЙ

Интересно, что переводчик Набоков чрезвычайно хвалил переводчика Жуковского, считая, что зачастую его переводы выше оригиналов, и, по-видимому, гротескный церемониал, окружающий казнь Цинцинната, был отблеском в его памяти проекта Жуковского — прямо поразительного по своей сентиментально чудовищной идее художественного оформления смертной казни в России. Она должна была, по замыслу Жуковского, происходить в торжественной обстановке, при скопище народа и пении гимнов, умиротворяющих смертника и возвышающих чувства свидетелей этого «празднества». К тому же в «Даре» Набоков об этом проекте напоминает — как о позабавившем Чернышевского.

ДОСТОЕВСКИЙ

Есть элемент загадочности в той все увеличивающейся ненависти, которую Набоков питал к Достоевскому. Достоевский (и Фрейд) был поистине его bête noire *. При вся-

* Второй объект набоковского никогда не прекращавшегося публичного шельмования — это Фрейд: «Венский болтун», «Венская делегация», «Венский жулик». Его тоже Набоков забыть никак не может, зная, какое обширное поле наблюдения может представить для психоаналистов его творчество.

ком удобном случае Набоков бранит и принижает Достоевского. Проф. Парри вспоминает, что, когда он предложил Набокову прочесть лекцию о Достоевском в Колгэт США, «Набоков взорвался». «Да вы издеваетесь надо мной! Вы же знаете, какого мнения я о Достоевском! В моих курсах в Корнеле я уделяю ему не более десяти минут, у н и ч т о ж а ю (разрядка.— *З. Ш)* его и иду дальше». Достоевский для Набокова — журналист, а не писатель, он автор детективов, полицейских романов, наравне с Морисом Лебланом и Эдгаром Уоллесом.

Не только Набоков, но и Вадим Вадимович в «Арлекинах» считает политику Достоевского отвратительной, а романы абсурдными, там: «черные бородачи просто негативы Иисуса Христа», «плачущие проститутки» и т.д.

А ведь Достоевский не всегда был презираем Набоковым. В «Грозди» (изд. «Гамаюн». Берлин, 1923) он по случаю годовщины смерти Достоевского даже посвятил его памяти стихотворение:

Садом шел Христос с учениками...
Меж кустов на солнечном песке,
вытканном павлиньими глазками,
песий труп лежал невдалеке

. . . .
. . . .

И резцы белели из-под черной
складки, и с зловонным торжеством
смерти — заглушен был ладан сладкий
теплых миртов, млеющих кругом.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Говорил апостолу апостол:
«Злой был пес, и смерть его нага,
мерзостна». . . . .

. . . .
Христос же молвил просто:
«Зубы у него как жемчуга»...

Почему Набокову хочется «уничтожить» Достоевского? У всякого человека есть любимые и не любимые писатели, Бунин Достоевского не любил как писателя, ни в чем ему не созвучного, бесконечно от него далекого по проблемам, его занимавшим, и по нехудожественности — в глазах Буни-

на — его стиля. Но «уничтожать» он его не хотел, иногда перечитывал и никогда не обличал его публично. То, что нам скучно или неинтересно, мы обычно просто отбрасываем, Набоков отбросить, забыть о Достоевском не мог. Ему как будто было тесно рядом с автором «Бесов». Как будто он боялся, что вдруг кто-нибудь заметит, что, несмотря на всё, что их разделяет, есть и то, что позволяет их сравнивать.

В частной жизни Достоевский, по мнению знавших его современников, был «непостоянен, переменчив, *многолик*». Порой он представляется личностью «отталкивающей, вызывающей острую неприязнь». Тургенев: «Это русский маркиз де Сад» и тот же Тургенев: Достоевский — «обратное общее мнение», то есть парадокс.

То же самое приходилось мне слышать и о Набокове.

Странен «упрек» Набокова Достоевскому, что он автор полицейских романов. А что такое тогда «Король, дама, валет», «Отчаяние», «Камера обскура»? Даже в «Лолите» есть «уголовщина», если судить только по фабуле. Нет ли элемента преступления и наказания в «Приглашении на казнь»? Оба писателя были одержимы — по-разному. Пламенному исступлению Достоевского отвечает ледяная бесстрастность Набокова, но ведь и лед жжет. Люди разных эпох, разных социальных кругов и разных опытов, главное, разных «вечностей» — относительная вечность искусства для Набокова, метафизическая вечность для Достоевского — были и литературно во многом похожи.

Не только автора «Лолиты» упрекали в слишком подробном описании половых перипетий Гумберта и Лолиты. Когда Достоевский читал Победоносцеву, Майкову, Страхову и другим «сцену в бане», они нашли, «что она слишком реальна».

А разве не с присущей и Набокову издевкой — у него над читателями и исследователями — пришел Достоевский к Тургеневу: «Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотою ваших эстетических взглядов измерить бездну моей низости» и рассказал ему, как бы исповедуясь, про девочку в бане. Тургенев, конечно, вознегодовал, возмутился душой и это высказал. Достоевский же, уходя, сказал: «А я ведь это все изобрел, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения» *.

* Ясинский И. Роман моей жизни. М., 1926.

И когда точно был сброшен с писательского Олимпа Достоевский, за какие провинности? За то, что так легко сравнить или уловить общее, пусть и в другом плане у обоих писателей: сложность и запутанность действия, комические положения в самых драматических событиях, издевательский смешок... одержимость страстями — любовью или игрой. Одень генерала Иволгина по-современному, он бы мог включиться в персонажи Набокова. Пошлый черт Ивана Карамазова все-таки сродни пошлому мосье Пьеру, хотя и в другом регистре. А любовь к деталям, проявляющаяся у Набокова всюду, но имеющаяся и у Достоевского? Чего стоит в «Бедных людях» пуговка Макара Девушкина, катящаяся прямо к стопам его превосходительства: «Моя пуговка — ну ее к бесу — пуговка, что висела у меня на ниточке — вдруг сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо-таки, прямо, к стопам его превосходительства»...

А девочки, соблазнительницы и жертвы? И наконец, еще одна общность: тема «двойников» — эти два господина Голядкина, один из которых утверждает: «Маску надеваю лишь в маскарад, а не хожу с ней перед людьми каждодневно» или думает: «На этом господине парик — а если снять этот парик, так будет голая голова». Ночной приятель Голядкина был «другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам,— одним словом, что называется двойник его во всех отношениях»... Двойники все размножаются: «Народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобными»... Мир Достоевского зачастую тоже «сон, кошмар, безумие»...

Достоевский — метафизик бытия, Набоков — метафизик небытия, в каких-то безднах они соприкасаются, но даже и такое соприкосновение при возможном сопоставлении его читателями — было Набокову невыносимо.

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

В своей статье «Возрождение Аллегории» (Современные записки. 1936. № 51.) П. Бицилли приводит пассажи из «Истории одного города» и «Запутанного дела», вначале не называя имени их автора, Салтыкова-Щедрина, в уверенности, что те, кто забыл эти тексты, отнесут их авторство Сирину-Набокову. Иудушка и Герман из «Отчаяния» живут той же лжежизнью, тоже вне логики, в том же мире

намалеванных декораций, они не «человеки», а «куклы абсурда».

Не только Бицилли заметил, что иногда сходство приемов Салтыкова-Щедрина с набоковскими доходит до мелочей. Бормотание адвоката Цинцинната, потерявшего свою запонку и более занятого этой потерей,чем судьбой своего подзащитного, до странности похоже на то, что в поисках запонок говорит Иудушка Головлев после смерти брата.

«Запонку потерял... задел обо что... очень дорожил... видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы, это видно было... вещица была дорогая» («Приглашение на казнь»). А у Салтыкова-Щедрина: «А помните, маменька, у брата золотенькие запонки были... хорошенькие такие... И куда эти запонки девались — ума не приложу».

И в обоих случаях — это очень характерное, сатирическое сопоставление тривиального: запонки — с трагическим: смертью.

Слов нет, много общего у Набокова с Салтыковым-Щедриным, хотя бы один и тот же «вид раздраженья», но стилистическая грация первого оттеняет тяжеловатую поступь второго. Щедрин — тяжеловесный арденский конь, Набоков — английская чистокровка.

ТОЛСТОЙ

В написанной Набоковым в 1928 году коротенькой поэме, напечатанной в журнале «Новь» в 1935 году и посвященной Толстому, можно уловить его отношение к Толстому. Поэма начинается так: «Картина в хрестоматии: босой старик»...

Этот старик не очень воспламеняет воображение Сирина. «То ли дело Пушкин». Пушкин уже легенда. Жизнь Толстого не волнует, он слишком близок к набоковскому поколению, он еще не окружен «лучезарной легендой», с ним еще «лестная близость». Он как-то слишком понятен, его можно звать по имени и отчеству. «Мы» — поколение Набокова — любит рассказанную им Россию, «Россию запахов, оттенков, звуков», и созданные им люди так естественны, что эти «мы» не раз узнавали среди толпы Каренину и «с маленькой Щербацкой танцевали». Единственная тайна, то чудо, когда «Толстой творил..., ведь живые люди родились в эту Ночь». Позднее, судя по откликам, мы знаем, что Набоков любил «Анну Каренину», но, например, отказался в США прочесть лекцию о Толстом вообще и о «Войне и мире» в частности.

В книге «Николай Гоголь» находится такая шкала оценок Набоковым русских классиков, вернее, не шкала, а характеристика: «Уравновешенный» (steady) Пушкин, «Трезвый» (не подымающийся над реальностью) Толстой, «Сдержанный» Чехов. Это из признаваемых им авторов. О Тургеневе же: «Те русские, которые считают большим писателем Тургенева, не поймут Гоголя».

БУНИН

Я помню мое удивление, когда я прочла в 1978 году в одном новоэмигрантском журнале статью профессионально-литературоведческую, утверждающую, что Набоков был учеником Бунина. Удивился бы ей, несомненно, и сам Бунин, сразу признавший в молодом Сирине подлинно талантливого писателя, но настолько от него самого отличного, что в разговоре со мной в 1937 году он назвал его «чудовищем», не без восхищенья, впрочем. Сам же Бунин чудовищем себя не мнил, твердо помня свою литературную родословную, целиком русскую и классическую.

Никак не будучи учеником Бунина, поскольку влияние Бунина на его творчестве ничем не отразилось, Набоков в юности особенно почитал его как мастера русской прозы и особенно поэзии. В «Грозди» он посвящает ему одно стихотворение.

Как воды гор, твой голос горд и чист.
Алмазный стих наполнен райским медом.

Заканчивается это стихотворение из пяти четверостиший торжественным и, как мы теперь знаем, не сдержанным обещанием.

Безвестен я и молод в мире новом
кощунственном — но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

«Художественный реализм» академика был даже прямо противоположен набоковскому экспрессионизму особого рода. И мировоззрения их не совпадали. В чем же «ученичество» Набокова? Другое дело Леонид Зуров или Галина Кузнецова, тут сомнений быть не может: они ученики, и, пожалуй, в первой эмиграции единственные, первого русского нобелевского лауреата.

Набоков в те годы, в которые я его знала, Бунина как пи-

сателя уважал и ценил, но и только. В своих американских воспоминаниях он о нем упоминает несколько презрительно — так о нем в тридцатых годах не говорил. Память у него благодарностью или теплотой не отягощается. Лучше всех он отзывается в этих воспоминаниях о Ходасевиче. Он чувствовал расположение к этому «язвительному, худому, болезненному человеку, скованному (wrought) из иронии и металлоподобного гения, поэзия которого была таким же сложным чудом, как поэзия Тютчева или Блока». Именно по высокому качеству своей язвительности, по тонкости своего поэтического чутья неоклассик Ходасевич был близок Сирину. Кроме того, и сам Ходасевич, мало с кем сходившийся, не только ценил Набокова как писателя, но и всегда видал его с удовольствием.

В «Conclusive Evidence» Набоков отличает Марину Цветаеву, «гениального поэта», и Поплавского — «далекая скрипка среди близких балалаек», но не потрудился ни разу с Поплавским встретиться, когда он был в Париже. С Мариной Цветаевой он, кажется, был знаком, но, видимо, также при ее жизни мало ею интересовался. Имя ее не встречается ни в одном из его писем ко мне, да и Марина Цветаева никогда о нем мне не упоминала — по-видимому, и сама особого интереса к Набокову не испытывала.

Несколько удивительно то, что в «Conclusive Evidence» Набоков пишет об «Адамитах», явно подразумевая под этой кличкой последователей не любимого им Адамовича: он странно соединяет тенденции этой группы с задачами кружка верного друга Набокова Фундаминского-Бунакова. Адамовича было трудно подозревать «в катакомбном христианстве», пусть и соединенном «с языческими нравами древнего Рима». Объяснение такого суждения, как и отношение к Цветаевой и Поплавскому, дается, впрочем, самим Набоковым в той же книге: «Автор, который интересовал меня больше всего, был, естественно,— Сирин».

В этом поверхностном и пренебрежительном отзыве Набокова о его эмигрантских современниках — кроме Ходасевича, упомянутого им как поэт, но не как критик, его неизменно поддерживающий, и трех милых слов по отношению к Алданову — отсутствуют имена других критиков: Г. П. Струве, В. В. Вейдле, П. Бицилли, М. Л. Слонима, отгадавших талант молодого Набокова и как-никак посодействовавших его славе, с которыми он был к тому же лично знаком. Эта горделивая забывчивость его замечательной во всех других отношениях памяти показательна для позднего Набокова. Вероятно, такое умолчание и объясняет, почему у

советских поклонников Набокова создалось впечатление, что он не был узнан и признан эмиграцией, и справедливость требует опровержения этого мнения свидетелями того периода его жизни.

Среди очень малочисленных неблагоприятных критических откликов: Ходасевич по поводу пьесы Сирина «Событие» отмечает ее «архитектурный недостаток». С. Осокин (в «Русских записках», январь 1939 г.) пишет, что в «Приглашении на казнь» «внешняя акробатика и внутренняя схематизация и упрощение» и что там «с необычайной легкостью затронуты глубочайшие темы и с такой же легкостью разрешены». (С Осокиным я, конечно, совсем не согласна. Ни в одном произведении Набокова «глубочайшие темы не разрешены» — разрешены только проблемы писательского ремесла,— но и другие писатели эти темы разрешить не могли.)

ИНОСТРАННЫЕ ПИСАТЕЛИ

Пожиратель книг и словарей, одаренный необыкновенной зрительной и слуховой памятью, с чуткостью к музыкальности слова и оттенкам красок (и одновременно как будто закрытый для музыки и для художества как таковых — ни музеев, ни концертов он, по-видимому, не посещал), Набоков поражает универсальностью своих знаний в самых различных отраслях.

Боюсь, не найдутся после Набокова, как нашлись после Пушкина, списки прочтенных им книг. Так ревниво оберегал Набоков свою единственность, что, кроме признания его в романе «Дар», что «Пушкин входил в его кровь», мы не знаем писателей, на него, по его же словам, повлиявших. Наоборот: в интервью «Ньюсуик» он заявил: «Ни одна вера, ни одна школа не имели на меня влияния». Как будто он не хотел, чтобы исследователи нашли ему литературных предков, хотел, чтобы думали они, что Набоков возник свободным от всяких влияний, что искусство его родилось из ничего, из «табула раза...». Но нет человека, на котором его чтение не оставило бы следа.

Признавал ли Набоков себе равными Пруста и Джойса, был ли ему близок Флобер? Помнится, в 1937 году, когда я заметила ему, что в «Приглашении на казнь» уходящая вслед Марфиньке мебель напоминает мне Джойса, он этим обрадован не был. Ни в одном из писем ко мне он не упоми-

нает о Кафке, хотя о Кафке тогда гораздо больше, чем теперь, говорилось. Набоков писал мне больше о романах хоть и нашумевших, но посредственных — в одной из своих книг упоминает даже о романе «Ариадна — русская девушка» Клод Анэ, которым тогда увлекались неприхотливые читательницы.

Я против обобщений, которые иногда приводят к комическим результатам (так однажды во время «круглого стола» французского радиовещания парижские коллеги упорно называли Чехова русским Кафкой), но почему не воспользоваться сравнениями или сопоставлениями?

Болезнь и здоровье, зло и добро, сила и слабость, мудрость и глупость сосуществуют в одном и том же человеке и отражаются в персонажах Шекспира. Оттого и давал Пушкин предпочтенье Шекспиру перед Мольером с односторонними его героями, выражающими только одну страсть, одно качество, один порок.

Американский критик и эссеист Лайонел Триллинг написал, что Кафка знал существование зла, но не знал то, что ему противоположно,— здоровье и положительные черты человеческого естества. Шекспир же знал обе эти стороны.

Набоков, как Шекспир, был в молодости чувствителен к «обеим сторонам», но быстро утратил двойное зрение, приближаясь к Кафке. От Кафки Набокова отдаляет отсутствие всякой тяжеловесности. В самых его пессимистических по замыслу вещах всегда есть какая-то игривость. Кафка как-никак все же принадлежал германскому миру, который, судя по многим фразам Набокова, кажется ему особенно подверженным пошлости — он и Фауста считает образцом пошлости.

Был ли ему близок *Флобер*? Это больше чем вероятно. С самого начала своего писательского пути Набоков был увлечен проблемой стиля, в конце его он отдавал уже предпочтение стилю перед содержанием. Ему как бы хотелось исполнить то, о чем только мечтал Флобер: «Написать книгу, которая бы держалась исключительно на внутреннем достоинстве стиля». Тот же Лайонел Триллинг написал: «Объективность Флобера наполнена раздражением, тогда как объективность Толстого наполнена теплотой... Эта теплота и создает иллюзию реальности в творчестве Толстого». Во всех своих позднейших книгах иллюзию реальности Набоков не создает, как у Флобера, этому мешает особый вид раздраженности. Теплота исчезла, и что-то глубоко личное чувствуется в одной небольшой, но потрясающей фразе в конце «Смотри, смотри, Арлекины!» там, где В. В. описы-

вает свою болезнь и ее леченье: «Маленький русский доктор сделал меня более сумасшедшим, чем я был. Это растопило хоть один клапан моего замороженного сердца». Оледенелое сердце — последний 'этап раздражения...

Признавал ли Набоков *Пруста* равным себе или просто отдавал ему дань уважения? В 1961 году в интервью, данном им французскому журналисту Пьеру Бенишу, Набоков ответил так на вопрос, любит ли он Пруста: «Я его обожал, потом очень, очень любил,— теперь, знаете...» Тут, прибавляет Бениш, вмешалась госпожа Набокова: «Нет, нет, мы его очень любим».

Пруст, как и Флобер, как и Набоков, верит, что единственная реальность в мире — это искусство. У Пруста, как и Набокова, к своим героям нет ни особых симпатий, ни антипатий. Оба они мастера пастиша. В творчестве и того и другого сосуществуют два таких, казалось бы, противоположных начала: поэзия и карикатура. В отличие от Набокова Пруст чрезвычайно впечатлителен к музыке, живописи и ахритектуре, и даже его «Потерянное и Найденное Время» построено как одно громадное здание.

Время и *Память* — два главных персонажа творчества Пруста и Набокова — это, в сущности, единственные протагонисты жизненной трагедии. Но память для Набокова — напряжение воли, дисциплина ума, для Пруста — подсознание, эмоция. Расхождение относится и к понятию о Времени. Набоков говорит, что не верит в Время. Пруст, под влиянием Бергсона (и Эйнштейна), различает два времени. Одно календарное, ограниченное — время нашего старенья, другое Время — длительности, протяжимости, почти вечности — то есть будущего.

Ван (Иван) в «Аде» занят в зрелом возрасте природой времени, «тема, которая предполагает борьбу с осьминогом собственного мозга». Ван отрицает «трехстворчатость» времени: прошедшее, мгновенно умирающее настоящее и то, что еще не свершилось,— может быть, никогда не свершится... Для него время — это диптих, прошлое, всегда хранящееся в его мозгу, и настоящее, которому его ум дает продолжительность и действительность... «Будущее же вне времени», «как наши сожаления не могут вернуть прошлое, так и наши надежды не могут породить будущее».

Опасно пробить настоящее (время), «неопытный чудотворец» не удержится на поверхности вод, но спустится под воду «к удивленным рыбам».

В отличие от Набокова Пруст признает интуитивное знание — это продолжение линии Паскаля, которого Набо-

ков, как он утверждает, не читал. Для Пруста истина познается не только умом, но и сердцем. Пруст всецело принадлежал своей эпохе, стране, на языке которой он писал. Он создал портретную галерею своих современников — у него нет героя без модели,— он был скорее хроникером, чем «выдумщиком», и, несмотря на это, а может быть, поэтому, отвечая своей сущности, персонажи Пруста обладают свободой, незнакомой персонажам Набокова, который движет ими, как шахматными фигурами. У Пруста не найдешь ни одного «непрозрачного» Цинцинната...

Есть и другая разница: Пруст написал: «Я страстно восхищаюсь великим русским... Достоевским».

Интересно и отношение Набокова к «новому роману». В другом интервью в «Фигаро» 1973 года Набоков дарует *Роб-Грийе* почетное звание своего друга и говорит, что «Соглядатай» (точного перевода «Le voyeur» на русском языке не имеется), «Ревность» и «В лабиринте» бесконечно лучше всех французских романов, которые он прочел за последние тридцать лет, но прибавляет, что он совершенно равнодушен к теориям автора этих книг. Как известно, сам Роб-Грийе по поводу своей первой книги «Резинки» заявил, что его задача — описывать поведение человека, не затрагивая его психологии. Французский критик Бартес, приветствуя «новый роман», определил его как «литературу алиби... без глубины и без объема... литературной видимости». Сам Роб-Грийе считает, что «человек видит мир, но мир не возвращает ему его взгляда». «Соглядатай» — одна из лучших книг Роб-Грийе — должна была понравиться Набокову, не так, конечно, случайным совпадением названия, но *деперсонализацией* описываемого — точностью описываемого — при неясности фабулы. Как яйцо в яйце, действие там запрятано, загромождено абсурдно точными деталями. Книга Роб-Грийе «В лабиринте» — обесчеловечение солдата разбитой армии, блуждающего в заснеженном городе и умирающего от случайной пули,— отвечала все развивающейся с годами наклонности Набокова «абстрагировать» своих персонажей при продолжающейся с первых его книг манеры «очеловечивать» предметы: шкап — похожий на беременную женщину, чашка — танцует, стол — покорен, галстук (в письме) — кричит...

Интересно хотя бы вскользь отметить тут коренное различие Набокова — может быть, из-за его русскости — от некоторых иностранных его современников, отметивших нашу эпоху. Все они родились в начале XX века.

В безблагодатном мире *Сартра* единственное достоинство человека — это его свобода. Бог — это страх человека. Если Бог существует, то человека нет.

Камю, в котором было предчувствие чего-то, что может ему еще открыться, сравнивает человека с Сизифом, побуждаемым неизвестной силой вздымать свой камень на вершину, хотя и знающим, что вершина для него недосягаема. Для «Калигулы» мир такой, какой он есть, невыносим. Ему нужна луна, счастье, бессмертье, но он и в безумии своем знает, что даже самый жестокий тиран ограничен в своей власти — солнце по-прежнему будет вставать на востоке.

Антитеатр *Самуила Беккета,* ученика Джойса, выражается в дезинтеграции языка, у Набокова — в смешении языков, но и в служении им. Ничего нельзя назвать, ничего нельзя высказать. В «Ожидая Годо» четыре человека ждут своей смерти, которая никак не приходит, обмениваясь шелухою слов. Это полный нигилизм. Нету жизни, нет и смерти.

Для *Артура Адамова,* ученика *Антонино Арто,* искусство — это «праздник разрушения».

Наконец, в «ирраналистическом» театре Ионеско даже действие, т.е. в сущности жизнь, не необходимо. В самой его замечательной пьесе «Король умирает» — нечто вроде средневековой Dance macabre — абсолютный пессимизм — завоевание мира небытием.

Во всем этом не найти ничего общего с тем, что мучило Набокова или отвечало бы на его вопросы самому себе. Нет *демонов...*

ТАЙНА НАБОКОВА

И со мной моя тайна всечасно.
В. Набоков. Стихи

...Путь последний тяжел. Уже поздно.
Скоро свалят меня в придорожный бурьян,
а все прочее ржа и рой звездный...
В. Набоков. Лолита

При ощущаемой нами в Набокове близорукости духовного зрения редкие, но существенные намеки, разбросанные в его произведениях, о какой-то тайне, которой он обладает, особенно настораживают.

Сопоставляя его с Достоевским, я упомянула, что философская установка Набокова мне кажется метафизикой небытия.

Но что тогда его тайна?

Я познакомилась с Набоковым в 1932 году, когда он уже определял себя как «безбожника с вольной душой» (хотя, казалось бы, на что безбожнику душа?).

Ввиду того, что корни набоковского творчества следует искать в его детстве, небезынтересно знать, какую роль религия играла в его семье.

По имеющемуся у меня списку русских масонов — к таким спискам следует относиться с осторожностью,— отец его Владимир Дмитриевич был масоном. По воспоминаниям самого писателя, среди предков его матери, Рукавишниковых, были сектанты. Это выражалось в ней, пишет Набоков, «в ее здоровом отвращении от ритуала греко-православной церкви». По-видимому, в этом англизированном доме не было и русского традиционного быта, который Лев Платонович Карсавин называл «бытовым исповедничеством». Все же Владимир был крещен православным. Нормально, живя в Петербурге до революции, он учился Закону Божьему, посещал церковь и исполнял ее обряды. Лужин недаром помнил, памятью Набокова, «ночные вербные возвращения со свечечкой», и исповеди в домовой церкви, и пасхальные ночи: «был запах ладана», и «горячее падение восковой капли на костяшки руки», все, что будило томные воспоминания: «медовый лоск образа» или «вкусный церковный воздух»...

Юношеские его стихи в «Гроздú» хоть и беспомощны, но не лишены религиозного чувства. В раю, где собирались русские поэты, «ширь весны нездешней, безмятежной».

В том же сборнике «бледные листики тихой сирени кропят на могилах сырые кусты». Обращаясь к анютиным глазкам, поэт просит их сказать Богу: «Мы много страдали, котомки пусты, мы очень устали». В стихотворении памяти Достоевского только Христос не отвернулся от дохлого пса. И так будет нежна райская песня поэтов Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета, к которым присоединится и Блок, что и мы, русские изгнанники,

> в эти годы горести и гнева,
> может быть, услышим из тюрьмы
> отзвук тайный их напева.

В самом начале двадцатых годов кн. Нина Оболенская, часто встречавшая Набокова в Берлине, помнит, что он хо-

дил тогда в русскую церковь св. Владимира на Находштрассе. Брат мой, ставший в тридцатых годах настоятелем этой церкви, там уже не видал Владимира Набокова (видал незадолго до его трагического исчезновения его брата Сергея). Невеста Набокова Светлана принадлежала к глубоко верующей православной семье, брак с ней не мог быть вне церкви.

Как будто с годами Набоков все более становился агностиком — и даже воинствующим антицерковником. Параллельно развивалась и его достоевскофобия. Чужая вера его раздражала. Но это отчуждение от верующих шло постепенно. Выпады против Бога учащались. В сборнике «Возвращение Чорба» 1929 года мы найдем еще такое стихотворение, как «Мать».

> «Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
> спускается толпа...
> Увещевающий уводит Иоанн седую, страшную Марию»,

и вопрос:

> «Что если этих слез не стоит наше искупление?»

Третья строфа начинается так:

> «Воскреснет Божий сын, сияньем окружен».

Нигде, ни в одной книге, позднее мы не найдем имени Христа. Как не найдем объяснения чуда писательства — Божьим даром, а в 1928 году в стихотворении, посвященном Толстому, Набоков написал:

> ...Так Господь
> избраннику передает свое
> старинное и благостное право
> творить миры и в созданную плоть
> вдыхать мгновенно дух неповторимый...

Отчуждение от духовного идет у Набокова с необыкновенной яркостью и в конце жизни дойдет до какого-то потустороннего страха или отвращения от всего, что связано с христианством.

Очень показателен в этом отношении инцидент, о котором мой брат, Архиепископ Иоанн Сан-Францисский, мне рассказал и о котором он затем написал в «Русской мысли» (1 июня 1978 года). Мой брат встречался с Набоковым еще до меня, в Берлине в 1923 году, а в последний раз — *после меня,* в Монтре Паласе, в разгаре дела Солженицына, когда Солженицын еще не был выслан из Союза. Прощаясь, мой брат хотел не благословить Набокова — благословение дается тому, кто его просит,— но дружески обнять его «по русскому обычаю». И тут, пишет Владыка Иоанн, «с какой-

то непонятной силой убеждения Владимир Владимирович, помрачнев, нервно отстранился от меня и сказал, что „не любит таких прощаний“».

Кажется, во всей пастырской жизни Владыки Иоанна, встречающегося с очень разными людьми, с верующими и неверующими, и не только с православными, но и иноверцами, никогда еще такое «отстранение» не случалось, объяснение тут можно найти только в плане мистическом.

Мне легче всего расшифровать Набокова в трех, в моих глазах, самых лучших его книгах: «Защита Лужина», «Дар», «Приглашение на казнь». Камуфляж там еще довольно прозрачен. От метафизики можно отказаться, но самый глупый человек не может не думать о смерти, в частности, следовательно, и о смысле жизни. Глупым Набокова никак не назовешь, и кончить «лопухом» его привлекать не могло.

Можно составить антологию из высказываний Набокова или его подставных персонажей о смерти. Раз о смерти вообще, то и о личности, о его набоковской личности, ищущей самоутверждения, порой Набоков вдруг как бы шепотом признается нам в своих сомнениях.

Да, да, совсем не так легко примириться со своим полным исчезновением и с «лопухом». «Пытка бессмертием» — пытка, потому что и его отсутствие недоказуемо. Умирающий Александр Яковлевич в «Даре» твердо знает, что после смерти ничего нет. Ему это «так же ясно, как то, что в эту самую минуту за окном идет дождь», «а за окном было солнечно».

«Защита Лужина», роман, о котором Набоков в своем позднейшем предисловии (к новому изданию) написал, что он построен, как шахматная игра, интересен и той аналогией, которую можно провести с литературной игрой. Единственно, что занимало Лужина, это была «сложная, лукавая игра», в которую он как бы помимо себя был замешан и в которую, по своему признанию, был замешан и Набоков-писатель. К Лужину ли только относится фраза — «бесплодность его загадочного гения»? Лужин был маэстро, Набоков был мастером — слово «бесплодность» относится к игре. «Ужас шахматных бездн» или ужас слов для писателя, ими одержимого, одинаков. «Время беспощадно», ничего нельзя доиграть или дописать до конца, все это призрачное искусство — бесплодно *.

* «...Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удавленных слов...»
(«Приглашение на казнь»).

«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» — небольшая по размерам книга — мало кому известна. Не знаю, была ли она переиздана с 1945 года, и во всяком случае на русский язык она переведена не была.

Там некто Гудман, бывший друг, секретарь Найта, написал после его смерти книгу: «Трагедия Себастьяна Найта». Гудман — шут, личность подозрительная. Набоков вкладывает в мнения Гудмана как будто то, что о нем самом говорят или пишут критики, но на самом деле я не помню, чтобы такое высказывалось кем-либо из них. Бунин предрекал Набокову: «Вы умрете в полном одиночестве», но никто при жизни Набокова не говорил, что он «слеп», и, зная твердый обычай Набокова запутывать следы, легко предположить, что слова Гудмана — это то, что он иногда и сам, мучительно — и потому особенно это скрывая — думал о себе, Гудман о писателе Найте: «Не перенося грубость мира, раненный этой грубостью, Найт скрывал за *маской* свою боль, но маска эта превратилась в чудовищную реальность». И надпись на груди Себастьяна Найта, на которой когда-то было написано «Я одинокий художник», была изменена «невидимыми перстами на надпись „Я слеп".» К чему был слеп Себастьян Найт?

Трагедия Набокова, что он был как раз ясновидящ по отношению к себе, к себе даже больше, чем к другим, и что собственное, как бы навязанное ему одиночество, слепота и «бесплодность гения» — еще раз удивительное тут несоответствие двух исключающих как будто друг друга понятий — гений и бесплодность — были его мучением.

Одержимость Лужина была абстракцией шахмат, одержимость Набокова распространялась глубже — была медленным охлаждением души, и с ним мертвели и его книги. Как заключительный аккорд появилась «Ада» — демоническое произведение, которое, в другом совсем плане, конечно, дает пищу ненавистной Набокову «венской делегации».

Итак, смерть, ее жало, как и для всех нас, впрочем, ставит всё под вопрос, включая, конечно, искусство. Ходасевич заметил, что Набокова отделяет мир творчества от мира реального, так же как жизнь отделена от смерти. «Умереть — это раздеться»,— читаем мы в «Пнине». Скрывающемуся под масками, под арлекинными одеждами Набокову оголение нестерпимо. Если только искусство — путь к бессмертию, то все-таки даже и это бессмертие ограничено временем. Цинциннат, читающий в своей камере прославленный роман о Дубе, думает: «На что мне

это далекое, ложное, мертвое,— мне, готовящемуся умереть».

Петр Бицилли считал, что никто не был так последователен, как Набоков, в разработке идеи, «что жизнь есть сон».

В одном стихотворении, вслед за Шекспиром, до Пастернака, но вообще-то идея эта никак не нова, Набоков видит жизнь, «богатую узорами», как театральную пьесу, неповторную, «поскольку она по-другому, с другими актерами будет в новом театре дана».

Вот уже три варианта. Жизнь — сон, пьеса, искусство... Есть и четвертый: «никогда не читавший» Паскаля, Набоков выдумал французского мыслителя Делаланда и поставил его изречение эпиграфом к «Приглашению на казнь». «Как сумасшедший верит, что он бог, мы верим, что мы смертны», тут смерть — иллюзия.

В его доамериканские годы, кроме мотива отчаяния, в книгах Набокова есть еще отблески двойственности мира, то есть «всей муки и прелести» его, «всего, что томит, обвивается, ранит» и что даже искусство не может выразить, переход «с порога мирского» в иную область, для которой и мастер Набоков не может найти названия, «пустыня ли, смерть, отрешенье от слова» или, может быть, «молчание любви». Душа еще жива, но она «никому не простила».

В «Возвращении Чорба» счастье «во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество». В том же сборнике — чудо лопнувшего кокона бабочки, слабые крылья вздыхают «в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья». В рассказе «Занятой человек» граф Ит (графит), боящийся смерти, знает, «что не воспрещается верить в бессмертие души», но при переходе есть возможность «случайных помех», какие бывают и при рождении. Граф Ит кого-то умоляет: «Дайте мне спокойно разрешиться моей бессмертной душой», но ему «еще подлее и ужаснее была мысль, что будущего века нет». Память и смерть — основные темы Набокова — вместе с темой обмана — отчетливо выступают в «Даре», посвященном его матери. Годунов-Чердынцев часто возвращается в «обратное ничто», рождение — это выздоровление, «удаление от изначального бытия». Набоков ставит жизнь свою «вверх ногами», рождение его делает его смертью, и бодрые, румяные старики идут в пасть инфернальной красоты гробов...

Для Соглядатая Смурова посмертная мука грешника состоит в том, что «живучая мысль его не может успокоиться, пока не разберется в сложных последствиях его земных,

опрометчивых поступков», то есть свободная от тела мысль — «продолжает двигаться».

Если заменить слово *мысль* словом *душа*, то это недалеко и от христианского понимания загробных мучений.

Герману («Отчаяние») как-то совершенно не подходят рассуждения, неубедительно ему навязанные его творцом, они как будто вкраплены искусственно. Они повторение того, что мы найдем в «Приглашении на казнь» или в рассказе «Терра Инкогнита»... Вот такой дубляж, многократное повторение одних и тех же мыслей и дают нам возможность думать, что это личные набоковские мысли.

В «Терра Инкогнита» все за смертью есть в лучшем случае фальсификация... «меблированные комнаты бытия», а в «Отчаянии», когда умерший очутится в раю и встретится там с теми, кого не любил, то «какая гарантия, что... это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь демон-мистификатор», ее изображающий, оттого и в раю «душа будет пребывать в сомнении!!» В «Отчаянии» найдем мы и одну из причин набоковского неверия — это гордость. Если я «не хозяин своей жизни... то никакая логика... не может разубедить меня в... глупости моего положения — положения раба божьего — и даже не раба, а какой-то спички». И хотя беспокоиться нечего — если нет Бога, и нет бессмертия,— но беспокойство продолжается. Казалось бы, «веселый безбожник» мог бы удовлетвориться каким-то своим решением, но, по-видимому, выхода из томления нет. Герману легче принять рослого палача в цилиндре, мосье Пьера, и с ним вечное небытие, чем «пытку бессмертием».

В начале сороковых годов в своих стихах Набоков раздумывает — неужели и он сам когда-нибудь... но пока смерть еще далека, он все о ней продумает окончательно как-нибудь позже, но иногда ему хочется автора, автора своего земного существования — «в зале автора нет, господа!». Набоков не хочет быть «псом, тоскующим о хозяине», забывая, что тоска пса вызвана не страхом, а любовью.

В 1945 году в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» Найт, молодой писатель, написал — это будет его последней предсмертной книгой — «Сомнительный Асфодель» — на тему о смерти человека. Сам умирающий Себастьян вращен в свою книгу, она — эта книга — он сам.

Как и Набоков, Найт любит сталкивать, сопоставлять темы, прятать за словами их глубокий смысл. Но только перед самым своим концом Найт, наконец, начал обладать полной истиной, восхитительной и одновременно простой, и «выбором своих слов автор заставляет нас верить, что он

знает правду о смерти и нам ее откроет». Ум первый, по иерархической последовательности, откликается на приближение смерти, затем сосуды, тело, но «демоны» физической немощи покрывают «нагромождением боли» возможность подведения итогов, память о прошлом, надежду и сожаления.

Где-то в страницах шедевра Себастьяна Найта находится «абсолютное решение». Это «абсолютное решение» начертано на мире, который нас окружает. Оно «удивительно по своей простоте», в нем перемешаны все человеческие знания, все идеи философии, религия, искусство.

В другом романе — «Потерянное имущество» — Найт написал: «Единственно настоящее число это номер один: другие только повторение его». Все они выпали из обычной своей классификации и стали одним целым. Тысячи мелочей выросли до гигантских размеров — мир открылся душе.

Но когда эта тайна вот-вот вырвется из уст человека, ее познавшего, уже поздно — человек умер, мертва и его книга, не успевшая открыть, запечатлеть, выразить тайну...

Полубрат Себастьяна после смерти его сам становится Себастьяном. Книга заканчивается так: «Каким бы секретом Себастьян ни обладал, я тоже узнал секрет. Это, что душа — это манера существовать, быть,— и всякая душа ваша, если вы следуете за ее движениями».

Полубрат становится Себастьяном, играет его роль на сцене жизни, и все, кто окружал Себастьяна, окружают нового Себастьяна, но «старый фокусник ожидает за кулисами со своим запрятанным кроликом... и маленький лысый суфлер закрывает свою книгу». Свет гаснет — представление кончилось.

Набокову представлялось еще, что память — единственное, что дарует бессмертие тому, что нас окружало и окружает. Когда человек забывает предметы, он «обрекает их на умирание» — это в «Даре». В одной из позднейших его книг, «Прозрачные предметы», уже не человек, а вещи становятся прозрачными. Тут появляется у Набокова новый мотив ностальгии, связанный с чувством своего возможного, уже не отдаленного исчезновения. Будущее не может быть сохранено нашей памятью... Прошлое сияет, просвечивает «через прозрачные вещи, будущее в них не просвечивает», оно та самая пропасть, куда человек проваливается. Это выпадение из времени в вечность. Как бы человек ни был велик, над вечностью ему власти нет.

Ван и Ада переигрывают, в их общей памяти, раннее их занятие — игру «со странной идеей смерти».

В чем видят они самое тяжкое в процессе умирания? В том же, что и Себастьян Найт: для того чтобы умереть, надо отказаться сперва «от всего, что живет в памяти, затем принять безобразность физической боли» и, наконец, «безобразное псевдобудущее, пустое и черное, как вечное несуществование».

Как и полагается, эти трагические размышления разбавлены неовольтерианской шуточкой: когда умирающий приземляется к небесной земле «с вашей подушкой и ночным горшком... вам отводят комнату не с Шекспиром и Лонгфелло, но с гитаристами и кретинами».

Только раз, кажется, промелькнет у Набокова с силой отчаяния идея спасительной любви, не у Вана — Ады, а в его воспоминаниях, в главе 14-й «Других берегов»; там, сознаваясь в необоримой своей «привычке проводить радиусы * от этой любви, не только к жене и к сыну (к кому-либо), примеривает он эту любовь к безличным и неизмеримым величинам», к сетям вечности, к ужасу перед «крутизнами времени и пространства», сливающимися одно с другим. Этот «беззвучный взрыв любви» настолько поразителен для Набокова, что он спрашивает себя, не заснул ли его разум, так неразумно кажется человеку Набокову, что он мог «развить в себе бесконечность чувства и мысли при конечности существования».

В «Войне и мире» то, что томило и радовало Андрея Болконского, человека гордого и неверующего, при пеньи Наташи, это была «страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам».

В сборнике «Стихи» есть стихотворение «Слава», помеченное 1942 годом: оно тоже чрезвычайно загадочно. Начинается оно с разговора автора с его совестью — или «пародией совести», в образе некоего «с копотью в красных ноздрях». Этот гадюка-шутник навязчиво напоминает писателю-изгнаннику о всем, что его мучает и терзает, но в конце Набоков уже не называет ужасного гостя пародией: он счастлив, что его совесть не затронула самого тайного. О тайном этом он сказать нам не вправе, тайна всегда с ним, все остальное, даже мечта о славе или отдаление от России, только частность — и пустяк.

Ночь зашифрована, и в звездном алфавите и в себе самом,

* Кстати, в «Conclusive Evidence» привычка проводить радиусы от любви названа «зловредной» — прилагательное это выпало из русского текста.

Поэт познает, что, «пласты разумения дробя», он увидел, «как в зеркале, мир и себя и другое, другое, другое».

Какая тайна может быть скрыта от совести — почему совесть ужасный гад, с копотью в красных ноздрях? и «сводня»? Что открылось человеку, раздробившему «пласты разумения»? Так из книги в книгу полуоткрывается нам загадочный и сумеречный мир Набокова.

В «Даре» можно сделать так много открытий. Если белый карандаш нравился Годунову-Чердынцеву, то потому, что он рисовал невидимое, все оставляя воображению. И в том же пассаже поклонник Лермонтова и его Демона, Набоков, пишет, что если уж рисовать этим белым карандашом ангела, то чтобы ангел этот был помесью райской птицы с кондором и чтобы он душу младую нес «не в объятьях, а в когтях».

Вместо чёрта Гоголя или бесов Пушкина частый гость Набокова — печальный демон, дух изгнания.

В связи с упоминанием Врубеля в «Аде» и ощутимой в Набокове внутренней близости к «Демону» Лермонтова, вдохновившего Врубеля на картину «Летящий Демон», курьезно привести толкование советского искусствоведа Ю. Алянского этой картины:

«...кажется, под ним простерлась чуждая мертвая планета, где ни единый звук, ни единый проблеск света не согреет вечного странника. Холодной тоской вечного одиночества веет от картины. Оно страшнее смерти, потому что вечно. Такое вечное одиночество ужаснее самой страшной казни, потому что всякая казнь имеет конец...» *

«Ада» — роман демонический, но и до «Ады» и после «Ады» образ демона мелькает то там, то тут. В «Даре» читаем, что в нашем обычном существовании, в «зловеще-веселом соответствии» с ним, развивается и «мир прекрасных демонов». Но у этих прекрасных демонов всегда есть какой-нибудь «тайный изъян», что-то их уродующее. В «Смотри, смотри, Арлекины!» Вадим Вадимович, «фальшивый близнец» — Демон заставил его воплощаться или идентифицировать себя с другим писателем, более великим, сильным и жестоким, чем Вадим Вадимович. Демон — отражение зеркал, демон пародии, демон пустоты: «Свет по сравнению с темнотою — пустота» («Дар»).

Ночь Набокова хорошо зашифрована, а тайна вряд ли открылась и самому Набокову до конца, или была лжетайной. А если открылась созданному им Себастьяну Найту —

* Рассказы о Русском музее. Л.; М., 1964.

слишком поздно — он не успел ее высказать — он был мертв.

Однажды он со станции случайной
в неведомую сторону свернул.
И дальше ночь, безмолвие и тайна... *

Париж 2 ноября 1928

ПРИЛОЖЕНИЯ

Автор сознательно сопоставляет тут две свои статьи, 1937 и 1950 годов, несмотря на имеющиеся в них и в тексте книги повторения, чтобы оттенить разность оценок их Владимиром Набоковым до его мирового признания и после него.

«La Cité Chrétienne»
Bruxelles, Juillet 1937

МАСТЕР МОЛОДОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВЛАДИМИР НАБОКОВ-СИРИН
(Перевод с французского)

Ровно год тому назад я сидела с Иваном Буниным на террасе парижского кафе и мы говорили о молодой русской литературе.

Бунин высказывался очень скептически: «Молодые не знают своего ремесла»,— сказал он. «А Набоков, Иван Алексеевич?» — спросила я не без лукавства. Бунин помолчал. «Этот-то уже принадлежит к истории русской литературы. Чудовище, но какой писатель!»

К бунинскому мнению прибавлю наугад выбранные из статей русских критиков цитаты: «Дар воплощения соединяется у него с безудержной стилистической фантазией» (Адамович). «Сирин преимущественно художник формы, литературного приема» (Ходасевич). «Сирин — самый законченный, самый большой и самый оригинальный из писателей эмиграции» (Струве)...

Этот тридцатисемилетний писатель порождает споры и

* Из стихотворения «Толстой» // Сирин В. Новь. 1928.

противоречия, никто не оспаривает его громадный талант, но каждый оценивает его по-своему. Что же до самого Сирина, то он смеется над наложенными на него этикетками и, может быть, даже над своим успехом. Самое важное для него — это писание.

Читая Сирина, можно испытывать сомнения и замешательство, притяжение или отвращение от того, что им написано, но всегда остается впечатление в присутствии чего-то чудесного — писателя, тронутого гением, кто нам не должен давать отчета. Он идет своей дорогой. «Чудовище», утверждает Бунин, скажем, странный цветок, расцветший на старом стебле русской литературы, крепко связанный с ее сущностью и одновременно так резко от нее отличный, что некоторые иностранные критики не признают Сирина за русского писателя.

Думают ли они, что быть русским писателем — это следовать по стопам тех, кто шел перед нами, упрямо возобновлять старые эксперименты и игнорировать искания времени? Новая жизнь требует новых форм, и мне кажется, что именно Набокову-Сирину принадлежит честь и ответственность за новую струю в русской литературе.

Никто до него не творил в таких условиях, Сирин — первый русский, ставший писателем в эмиграции, он также первый из них, произведения которого не могут быть прочтены народом, для которого он пишет. Это, может быть, и объясняет тот странный мир, им созданный, выкованный, с его персонажами, у которых только видимость существования. Писатель-космополит. Его космополитизм еще более примечателен потому, что его творчество вне географических границ... Аллегорическое человечество, страны служат только декорацией.

Искусство Набокова-Сирина свободно. Никакое соображение, не относящееся к его творчеству, его не останавливает. Его феноменальная стилистическая (литературная) виртуозность, секреты ремесла, которые он нам открывает с высокомерным равнодушием,— могут иногда нас раздражать. Его игра может нам казаться напрасной и опасной, но победителей не судят, мы в нее втягиваемся вопреки нашим собственным понятиям о литературных приличиях — очарованные замысловатостью его почерка.

Сирин любит метафоры, но в смелом сверкании его фраз никакое слово не случайно, все дозировано, как хорошо составленный коктейль. Он злоупотребляет анимизмом. Если у героев его романов не хватает души, то предметы слишком очеловечены. Шкап похож на беременную женщину, нож

вонзается в пухлое и белое тело книги... Он изменяет правилу Толстого, который переделывал слишком удачную фразу, чтобы придать ей больше естественности, и который не мог описывать даму, идущую по Невскому, если такой дамы не было.

«Будем прежде всего сочинителями»,— написал мне когда-то Сирин, фокусник, любящий только чудеса, которые он сам творит.

Творческая сила у него поразительна, воображение его льется из бурного источника, Сирин мчится по своим произведениям, и они кажутся написанными одним дыханием, одним усилием, одним темпом. Все его романы неизменно хорошо построены, из хаотичного начала вырисовывается повествование, следующее определенным правилам, дисциплинированное холодной логикой. Каждая вещь на своем месте и, несмотря на обилие деталей, не лишенная ясности...

Мы можем приблизительно, конечно, сравнивать технические приемы Сирина с приемами Джойса, с лучшими Хаксли и даже с Жироду, с которым Сирина связывает несколько холодная умственность.

Если можно определить литературную технику Сирина, то внутренние тенденции его творчества многогранны и зачастую противоречивы. К каждой новой книге его надо «акклиматизироваться», запутывать нас — его, авторская, забава: когда он думает, что мы привыкли к его иронии и его скепсису, он позволяет себе нежную улыбку.

В его творчестве нет ничего устойчивого, на что мы могли бы опереться. Никогда «я» его писательства не открывает «я» Сирина-человека. Холодный судья, не испытывающий любви к существам, им созданным, Набоков-Сирин отделяет их жизнь от своей.

Если мы начнем отыскивать корни, которые связывают Сирина с большими русскими писателями, то мы найдем смесь откровенности с типично русской жестокостью по отношению к себе самому. Сирин выбрал новый путь, чтобы сообщить нам, что он не обманут благополучием нашего мира и никогда им обманут не будет... Если он отбрасывает (вопрос темперамента) публичные крики Достоевского — он близок к Гоголю. Способы разные, цель одна и та же: жалость, так обнаженно выраженная Достоевским, сатирический смех Гоголя, ужас рассказов По стараются нас оторвать от нашего прекраснодушия, от нашего погружения в быт... Сирин выбрал себе оружием ироническую горечь

хорошего тона, полное отсутствие жалости, сумасшествие, бесовскую улыбку.

Бес, или черт, зачастую скрывается в произведениях Набокова. Мы узнаем его в некоторых персонажах, обычно второстепенных. К тому же разве это люди, которые только видимость людей, даже собака и та поддельная собака — в «Отчаянии».

После «Машеньки», «Короля, дамы, валета», романов довольно посредственных, Сирин в 1929 году издает первую значительную книгу. «Защита Лужина» — это мастерски, конечно, рассказанная история потерянности, блуждания, моральных страданий слабого Лужина, одержимого шахматным миром. Лужин не найдет иного выхода из этого мира, убивающего все, что есть в нем живого,— чем смерть, самоубийство.

И тут впервые мы встречаем соблазнителя: импрессарио Валентинова, еле заметного, запрятанного за кулисы действия, он появится в какой-то момент, чтобы играть роль, как будто и небольшую, но в сущности главенствующую, будет знаком соединения человека и его болезни, его зла. Какое лукавство, какая бесовская уверенность в словах, сказанных по телефону жене выздоравливающего Лужина: «Шепните ему одно: Валентинов тебя ждет»,— говорит смеющийся голос... и голос «провалился в защелкнувшийся люк».

Валентинов — только эскиз, который вырисуется ярче позднее в «Рассказах 1930 года» в лице фокусника Шока: «Он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана... изысканно хитрого» — сам Шок был «мираж».

В каждой книге таинственный персонаж становится все менее безопасен и все более жесток. В «Камере обскуре», книге наиболее мрачной, которую Сирин написал до тех пор, Валентинов и Шок соединяются — превосходя его в жестокости — в Горне, для которого все было «комментарием к его искусству».

Бессознательный цинизм достигает своей кульминационной точки в отношении Горна к Кречмару. Отсутствие тепла, один из бесовских атрибутов имеется и у Горна. А ключ к сомнениям самого Сирина находится в его книгах...

Мы найдем его и в «Отчаянии». Это страх быть обманутым в чем-то наиважнейшем, начальная неверность всего существующего.

«...Представьте себе, что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбками вас встречают дорогие покойники. Так вот, скажите на милость, какая у вас гарантия, что это покойни-

ки подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь мелкий демон-мистификатор...»

В этом мире подтасовок, где всякий предмет, всякий человек может представлять любого другого, их отражать, их искажая, родилась у Сирина обцессия тайны зеркал. Одно из них чудовищно раздувает, как жабу, отраженного человека или растягивает его, как макаронину... Другие зеркала в «Приглашении на казнь» обращены в модную игру «неток», обратных зеркал, которые раздробляют (декомпозируют) реальность, но составляют из бесформенных предметов видимость человека, а то и прелестные пейзажи, цветы и т.д.

«Приглашение на казнь», которое, я надеюсь, скоро выйдет на французском языке, в моих глазах одно из наиболее значительных произведений нашего века. Петр Бицилли в своей статье «Возрождение аллегории» приравнивает его к «Мертвым душам».

Имея эпиграфом «Как сумасшедший считает себя богом, мы считаем себя смертными», «Приглашение на казнь» переносит нас в вымышленное человеческое общество — вечное, потому что оно вне времени,— и вводит нас в конфликт одного человека с этим обществом.

Человек, названный Цинциннатом, приговорен к смертной казни за странное преступление — его непрозрачность. Среди существ совсем прозрачных Цинциннат обладает секретом непрозрачности. Существа, которые его осуждают, могут быть определены словами Цинцинната своей матери: «Вы только пародия». Адвокат Роман, сторож Родион, директор тюрьмы Родриг — отметим созвучие, как в галлюцинации, этих имен — представляют собою игры, символы, знаки...

Странность общего тона повествования как бы оттенена тончайшей точностью деталей, и Сирин тут показывает всю свою виртуозность. Сцена, где адвокат возвращается в камеру смертника, разыскивая свою запонку, жива, как сама жизнь.

Или еще сцена прощания с семьей, которая входит к Цинциннату в сопровождении домашней утвари, мебели и даже стен его дома. Наконец, персонаж мосье Пьера, палача, который воплощает дух Валентинова, Шока, Горна, который передергивает в карты, показывает фокусы. Многословная речь его — образец пошлятины. Г-н Пьер мучает Цинцинната, морально преследует его своим вниманием, своей вежливостью. Он представляет Цинциннату, уже примиренному с неизбежностью, все самые низменные удовольствия, от

которых он будет оторван: «...еще многое придется покинуть: праздничную музыку, любимые вещички, вроде фотоаппарата или трубки, дружеские беседы... курение...»

Прошу прощения за эти длинные цитаты, но мне хочется, чтобы читатель мог бы судить сам о ценности этой книги, которая должна выйти по-французски. Последнее письмо Цинцинната, для которого Сирин впервые очеловечивает свое искусство и как бы пригибает его под тяжестью страданий живого человека, тут следует все привести:

«Может быть, гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость (хозяйка еще не встала), быть может... ярмарочный монстр в глазеющем, безнадежно-праздничном мире,— я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить — но все боюсь, что не успею»; «...я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо!..»; «нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке, или короче: ни одного человека говорящего; или еще короче: ни одного человека...»

После обманных надежд на бегство и освобождение, после исполнения гротескных обычаев, как совместные визиты к отцам города палача и смертника или роскошный банкет, на котором они оба присутствуют, и фейерверк в честь казни,— Цинциннат вступает на эшафот: «Я еще ничего не делаю,— произнес мосье Пьер... и уже пробежала тень по доскам, когда... Цинциннат стал считать: один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета»... Затем Цинциннат встал и осмотрелся, зрители стали прозрачными, все рушилось, падало, как театральные декорации, обращаясь в труху, и Цинциннат «пошел... в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

«Приглашение на казнь» имеет множество интерпретаций, может быть разрезано на разных уровнях глубины. Аллегория, сатира, сопоставление воображаемого и реальности, страшная проблема жизни и вечности — во всяком случае большая книга большого писателя, которой надлежит занять место среди шедевров мировой литературы.

* * *

Получив этот номер «Сите кретьен», Набоков мне написал: «Я с интересом и умилением прочел твою статью о «Приглашении на казнь» — она, во-первых, прекрасно написана, а во-вторых, очень умна и проницательна».

(Цитаты приведены в сокращенном виде.)

«La Revue des Deux Mondes»
15 августа 1959 г. Париж

НАБОКОВ
или
РАНА ИЗГНАНИЯ
(перевод с французского)

Те, кто мог, как я, прочесть в оригиналах — русских и английских — все или почти все произведения Владимира Набокова, то есть около пятнадцати книг, несколько рассказов, пьесу и стихи его, испытывают сегодня некоторое замешательство перед успехом, пришедшим к этому писателю со скандалом «Лолиты». Набоков стоит большего, чем споры, вызванные вокруг этого, не самого лучшего, его романа. Вырванный из-за скабрезности его сюжета из числа предыдущих книг и, может быть, и тех, которые за ней последуют, роман «Лолита» угрожает Набокову легкомысленным причислением его к эротическим авторам...

«Лолита» принесла Набокову деньги, но она искажает подлинное лицо писателя, интересного во многих отношениях. Очень жалко, что «Защита Лужина», его шедевр, переведенный Денисом Рошем и появившийся в 1933 году, не был замечен во Франции, как и «Соглядатай», напечатанный с тех пор в Евр Либр, «Камера Обскура» в 1934 или «Отчаяние» в 1937. (Две последние книги, впрочем, в переводе не позволяют оценить блистательный стиль Набокова.) Другой его шедевр — «Приглашение на казнь»— был предложен (во Франции) нескольким издательствам и ни одним из них не принят. Вероятно, из-за коммерческого успеха «Лолиты» мы можем теперь надеяться, что прочтем, наконец, эту книгу по-французски, и думается, что многие, упивающиеся «Лолитой», будут разочарованы серьезностью и глубиною «Приглашения на казнь».

Владимир Набоков — явление исключительное и интересное во многих отношениях. Никто лучше его не выразил, может быть даже бессознательно, беспокойство художника, вырванного из своей природной среды. Его творчество беспочвенно — хотя ни в одной из своих книг он открыто не говорит о феномене изгнания, пусть не новом (патриарх изгнанников — Овидий), но принявшем небывалые размеры в наш век. Набоков выражает его не так сюжетом, как атмосферой и мельчайшими психологическими чертами, из которых выявляется внутренняя, подсознательная трагедия

какой-то кошмарной свободы, духовной и физической; его персонажи мечутся, заранее обреченные на неудачу и на небытие.

С другой стороны, история литературы не знает другого примера писателя, достигшего мастерства, создавшего персональный стиль и своеобразный ритм на двух разных языках. Поляк Конрад писал только по-английски. Труайя, Роман Гари, Эммануил Бов и другие писатели русского происхождения (к которым принадлежу и я) — только по-французски, как и американец Жюльен Грин. И Райнер Мария Рильке, когда он хотел выражаться не на немецком языке, терял свое мастерство.

Больше двадцати лет Набоков писал только по-русски, и ему случается еще писать на этом языке. Он выработал свой стиль, придал ему особую пластичность и ритм, совершенно новый в русской литературе,— скажем, западный,— может быть поэтому, переведенный на французский язык, Набоков кажется менее оригинальным. Уже сорокалетним он начал писать по-английски, и, если его книги на этом языке до сих пор не достигли тиража «Лолиты», с самого начала он был восторженно встречен англо-саксонскими критиками, Эдмундом Уилсоном и Грэмом Грином, которые приветствовали в нем новатора английской и американской прозы.

Я знала Набокова в то время, когда он подписывался Сириным, вероятно, из-за того, что его отца, политического деятеля, тоже звали Владимиром. Ему было тогда тридцать с небольшим лет, он был худ и высок. Под большим лбом его насмешливые и внимательные глаза всегда как бы искали что-нибудь странное, что могло бы его позабавить, или вульгарное, пошлое, которое он немедленно прикалывал как бабочку к своей коллекции, впрочем, с меньшей любовью — одной лапидарной фразой. Даже и плохо одетый — по бедности — он не терял элегантности. Сегодня на обложке «Лолиты» лицо его похоже на лицо американского профессора, маститого и обеспеченного. Тонкие губы сжаты, взгляд разочарован. Мы далеки от тощего эмигрантского поэта, и так и кажется, что его международная слава имеет привкус горечи.

В 1936 году я, молодой литератор, сидела с моим почтенным другом Иваном Буниным в кафе на Елисейских Полях. Мы говорили о литературе. Те, кто читал литературные воспоминания русского Нобелевского лауреата, вышедшие в издательстве Кальман-Леви, знают, что благосклонностью к своим современникам он не отличался. Новое поколение

тоже не вызывало в нем интереса. Я произнесла имя Набокова-Сирина:

Бунин встрепенулся: «Чудовище, но какой писатель!»

Классик Бунин, отдавая дань таланту младшего собрата, не мог перед экстравагантностью искусства молодого Сирина не считать его чудовищным. Для традиционалистов его «чудовищность» была двойной. Инстинктивно чувствуя гений своего родного языка и все его возможности, Набоков обращается с ним чрезвычайно своеобразно и рвет с традицией «естественности», довольно сильно укоренившейся у русских писателей. Ему нравится придавать легковесность величественной поступи русской прозы и одновременно украшать ее замысловатостью.

Он любит иногда излишние метафоры, он весело ищет странные фонетические соединения, его стиль не лишен маньеризма. Да, простота как будто все более делается врагом Набокова, по мере того как он удаляется от первой своей книги «Машенька».

Любитель парадоксов, Набоков не прочь — это теперь не так уже оригинально — «удивить буржуа», высказывая свое презрение к Достоевскому, «писателю полицейских романов». Бальзак для него — «глыба гипса». Он любит Пушкина, хотя пушкинская уравновешенность, великодушие и возвышенность у Набокова отсутствуют. Он любит Гоголя, которому он посвятил одну свою книгу, чтобы доказать, между прочим, что христианство Гоголя было самому Гоголю чуждо, и таким образом приблизить остроумно, но произвольно автора «Мертвых душ» к своей философской позиции.

Критики эмиграции, в то время когда русская эмиграция была в полном интеллектуальном расцвете, не замедлили оценить Набокова. «Дар воплощения соединяется у него с безудержной стилистической фантазией»,— писал Г. Адамович, «Сирин преимущественно художник формы, литературного приема»,— отметил внимательный Ходасевич, «Сирин —...самый оригинальный из писателей эмиграции»,— утверждал Г. Струве. И я думала тогда, как думаю и сейчас, что появление Набокова в русской литературе оставит на ней глубокий след.

Тема (в единственном числе) книг Набокова — так верно, что писатель всегда пишет одну и ту же книгу,— очень характерна для его личной судьбы.

Фабула может быть разной — и воображения Набокову не занимать стать,— но это всегда недоразумение, трагедия, несуществование.

В ледяной пустыне копошатся существа, не совсем оче-

ловеченные. К персонажам, им созданным, Набоков относится безучастно, поэтому им не хватает души. Как бы из-за ностальгии по человеку Набоков очеловечивает предметы: шкап похож на беременную женщину, нож вонзается в белое, пышное тело книги.

Небесполезно, прежде чем изучать литературное творчество Набокова, знать его биографию и моральный климат, который определил его.

Набоков родился в богатой и культурной семье. Он был сыном либерального политического деятеля и имел какое-то особое счастливое детство и юность. Хочется сказать, что первые годы его были даже слишком счастливы: у него все было, включая зоркую, внимательную и почти почтительную нежность его родителей. Набоков жил в безоблачном мире. Ребенком у него были две страсти — они и остались: литература и лепидоптерия. Русская природа, воспитавшая творчество великих русских писателей, его окружала, и ее меланхолическая прелесть запечатлелась в нем навсегда. Лучезарный этот мир был разрушен дотла революцией, семья Набоковых сметена в эмиграцию. В Берлине его отец был убит пулей ультраправых террористов — пуля была предназначена не ему, а Милюкову: то есть опять-таки трагическое недоразумение.

Кроме этой драмы, жизнь молодого писателя была похожа на жизнь тысяч других молодых эмигрантов, и можно было даже считать его привилегированным, потому что он не участвовал в гражданской войне, в которой погибли или были искалечены многие его современники, и еще потому, что он смог попасть в Кембридж и там закончить свое образование, позволившее ему стать американским писателем.

Но тот факт, что Набоков был сравнительно привилегированным, не исцеляет общую травму изгнания. Каждый на испытания и катастрофы отвечает по-своему. Одни сдаются, другие сражаются и побеждают или погибают в борьбе, третьи находят в себе духовные силы, которые позволяют им игнорировать все, что извне их пригибает.

Набоков по призванию писатель и поэт, то есть существо особенно впечатлительное, особенно уязвимое. Он никогда не мыслил себя иначе, чем русским писателем, но он жил в Берлине. Надежда вернуться в Россию уменьшалась с каждым днем. Писать в эмиграции — это создавать в пустоте. Нет или почти нет издателей, нет или почти нет читателей. Молчание окружает писателя-эмигранта. Страна, для которой он пишет,— не существует. «Легендарная Россия моего

детства»,— скажет Набоков о родине, ставшей для него мифом. Но рабочий инструмент писателя — его материнский язык, а язык не только способ выражения, но и форма мысли, оттенки чувств.

Для заработка Набоков дает в Берлине уроки английского языка, тенниса и, кажется, бокса. Он женится, у него рождается сын. Книги его появляются, не вырывая его из бедности. С каждой новой книгой все отдаляется от него Россия. Скоро нельзя будет догадаться, к какой стране принадлежат персонажи, им созданные. Как их окружение, они становятся анонимными, вне эпохи, вне политических перемен. Его искусство делается все холоднее, все абстрактнее. И только в его стихах — муза не любит контроля — мы находим человеческое тепло, эмоции, озарение и грацию пейзажей, так же как и нежные призраки добрых семейных гениев его детства.

Так, в 1939 году, под псевдонимом Шишкова, как будто для того, чтобы лучше зашифровать его потаенный мир, выходят два стихотворения Набокова, которые я здесь привожу, как человеческий документ:

. . . .
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Шишков-Набоков готов навсегда затаиться и без имени жить, чтобы не встречаться с родиной даже во сне, он отказывается от всяческих снов, он готов променять на чужой язык свой родной язык, единственное, что у него есть. Он умоляет Россию за это пожалеть его и не всматриваться в него «дорогими слепыми глазами».

В это время Набоков и его семья уже жили во Франции, так как в гитлеровской Германии им места не было. Бедность последовала за ним и во Францию, как и отчаяние. Позднее в Соединенных Штатах, когда Набоков напишет свои воспоминания, мы увидим, что так велика была его душевная пустыня на нашем континенте, что ни русские, ни французы, ни англичане не найдут в них теплого отклика. Он забудет даже друзей его черных лет.

В 1940 году Набоков отправляется в Америку и становится профессором русской литературы в одном из университетов. С тех пор денег на оплату счетов газа и электричества не будет ему не хватать. Но не без боли он переходит на английский.

Его двойник — его alter ego — Набоков любит двойников — ему напоминает в стихотворении, написанном в 1943 году, что он «страны менял, как фальшивые деньги», и

...пописывал
не без блеска, на вовсе чужом языке
и припомни особенный привкус анисовый
тех потуг, те метанья в словесной тоске...

Но поэт, который «менял страны, как фальшивые деньги», «торопясь и боясь оглянуться назад», хранит в себе тайну, о которой он нам не расскажет. Из-за того, что ему открылась «пустая мечта о читателе, теле и славе», он вырос вне тела, он живет без отклика.

Только в своих стихах Набоков нам сообщает о своей мучительной мутации. А так он появляется перед нами закованным в броню безлюбовного мира, который он сам создал. И только случайный взгляд, брошенный им на прошлое, заставляет его остановиться перед картиной рая его детства, и тогда он находит самые нежные слова, чтобы его отразить.

«Сознаюсь, я не верю в время». «Я люблю складывать мой волшебный ковер... так чтобы узоры его приходились один на другой».

Набоков печатается в «Нью-Йоркере», что равнозначно признанию. Книги его выходят, он получает премию. Широкий круг читателей все же его не знает до того дня, когда, обманутые шумихой, поднятой вокруг «Лолиты», множество людей открывают писателя Набокова, его не понимая. Ему семьдесят лет, у него фортуна, у него слава.

Набоков создал беспощадный мир, в котором «Лолита» не больше, чем одно звено. В этом мире ничего приятного, ничего достойного любви, кроме блещущего фантазией стиля, быстрого и сухого, как треск фейерверка. В нем нет доброты, в нем все кошмар и обман. Для тех, кто любит интеллектуальное спокойствие, лучше выпить отраву, чем читать Набокова. Из-за того, что он не смог победить свое собственное испытание никаким иным способом, как литературным выражением отчаяния, Набоков увлекает нас за собой в свои мучения.

Обещания его детства не сбылись. Значит, все обман, «веселый безбожник... в этом мире, кишащем богами», Набоков хочет, чтобы мы участвовали в его веселом разгуле разрушения, что не что иное, как тактика, дымный занавес над его гневом...

В романе «Отчаяние» мы читаем: «Представьте себе, что вы умерли и вот очнулись в раю, где с улыбкой вас встречают

дорогие покойники... Какая у вас гарантия, что эти покойники подлинные, что это действительно ваша покойная матушка, а не какой-нибудь демон-мистификатор... и вечно, вечно, вечно душа будет пребывать в сомнении». Из этого мира подмен, где каждая вещь может заменить собой другую, где даже собака может стать фальшивой собакой, рождается у героев Набокова обцессия зеркал.

«Приглашение на казнь» — шедевр абсурда, но также аллегория — как все, что Набоков пишет. В этой книге мы найдем модную игру негативных зеркал «неток».

Пленником этих зеркал стал и сам Набоков. Нет сомнения, что он испытал влияние и Джойса, и Кафки, главным образом потому, что они были ему созвучны, что он был готов их принять в себя.

Набоков утверждает, что он агностик, и даже не без некоторой старомодной аффектации. Зато демон всегда присутствует на написанных им страницах. «Защита Лужина» (которая вместе с «Приглашением на казнь» — лучшие из его книг) уже говорит об одержимости. Слабый Лужин, потерянный в абстрактном мире шахматной доски (Набоков и сам играет хорошо в шахматы), не видит другого выхода, чтобы выйти из одержимости, как смерть, самоубийство. Он почти спасен своей женой, но Соблазнитель от него не отступает в лице импрессарио Валентинова: «Скажите ему только»,— говорит по телефону голос — с каким бесовским лукавством и уверенностью,— «Валентинов тебя ждет» и голос исчезает, как будто захлопнулся люк... В другом рассказе фокусник Шок играет эту роль. «Он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана, мелкого, ненужного, но изысканно хитрого». Сам Шок был: «Мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств».

С каждой новой вещью персонаж вырисовывается все яснее. В «Камере обскуре» это Горн, который всегда искал пищу своему любопытству. Все было для Горна «комментарием к его искусству».

Когда знаешь творчество Набокова, задумываешься — не приносит ли эта черная литература, истинный смысл которой он скрывает от наивного читателя, самому писателю ту же радость, которую ощущал Горн «Камеры обскуры», видя слепого, садящегося на свежепокрашенную скамейку?

«Приглашение на казнь», книга, о которой во время ее появления критик Бицилли сказал, что она так же значительна, как «Мертвые души», переносит нас в воображаемое и вневременное общество. Человек, названный Цинциннатом, осужден за странное преступление — он непрозра-

чен. Среди совершенно прозрачных существ Цинциннат, как бы он тщательно это ни скрывал, ИНОЙ.

Те, которые его осуждают, могут быть определены словами героя, обращенными к его матери: «Вы пародия». Адвокат Роман, сторож Родион, директор тюрьмы Родриг — заметим эту галлюцинационную сюиту звукоподобия — символы.

Странность повествования еще подчеркнута точным описанием деталей. Как сцена, в которой адвокат осужденного возвращается в камеру, чтобы найти потерянную запонку. «Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая». Или сцена прощания Цинцинната с семьей. Семья приходит на свидание с домашними предметами, мебелью и даже со стенами бывшего его дома (Джойс). Палач Пьер — увеличенная реплика Валентинова, Шока и Горна. Мосье Пьер жулит в карты и в шахматы, показывает фокусы, он говорлив: болтовня его — набор пошлостей. Мосье Пьер мучает Цинцинната морально, прежде чем отрубить ему голову. Он вызывает перед глазами смертника, уже примирившегося с неизбежным, все жизненные удовольствия — самые низменные — этот чудесный мир нам придется покинуть и все, что в нем находится: «праздничную музыку; любимые вещички, вроде фотоаппарата или трубки; дружеские беседы...» Но кто же Смертник? Может быть, «гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость... Ярмарочный монстр в глазеющем, безнадежно-праздном мире, я прожил мучительную жизнь и это мучение хочу изложить».

И дальше Цинциннат утверждает, что он знает, предчувствует какую-то тайну. «Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо... но меня у меня никто не отнимет»...

В детстве снился Цинциннату одухотворенный и благородный мир... А теперь, теперь «беда, ужас, безумие». Во всем мире больше нет ни одного человека, говорящего на языке Цинцинната, да и вообще в мире нет человека... После обманутой надежды на освобождение, после того как были исполнены гротескные обычаи страны, как визиты, которые смертник и палач делают отцам города, или торжественный банкет, на котором оба присутствуют как почетные гости, приходит час казни.

«Я еще ничего не делаю,— произнес мосье Пьер... и уже пробежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинциннат стал считать: один Цинциннат считал, другой Цинциннат уже перестал слушать...»

«Зачем я тут? отчего так лежу? Цинциннат привстал и осмотрелся», всюду было смятение, присутствующие при казни стали «совсем прозрачны», разрушилась и площадь, все декорации жизни, и Цинциннат пошел среди развалин и урагана «туда, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

На минуту сардоническая улыбка стирается и дает место человеческому страданию — если не состраданию.

Я не думаю, что «Приглашение на казнь» — такое же морально возвышенное произведение, как «Мертвые души». Для Гоголя за уродливыми масками зла и пороков стоит имманентность Добра. Если бы Бог не находился в зрительном поле Гоголя, он не захотел бы высмеять грех. Набоков иллюстрирует с брио виртуоза мир отчаяния Кафки и украшает небытие цветистыми гирляндами своих литературных поисков.

«Приглашение на казнь» легко поддается самым разным толкованиям, может быть распластано на разные слои. Это аллегория, сатира, противопоставляющая воображаемое и реальность, но она не переходит определенную границу. И это, в своем жанре, произведенье, явно заслуживающее вхождения в мировую литературу.

Американское творчество Набокова во всем похоже на его русское. Они близнецы. Это двуглавая птица, в разных криках выражающая одно и то же. И фон и форма подобны, и в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» мы найдем мотивы «Отчаяния».

Не забудем, что «Лолита» — острая сатира американского быта, и странно, что в США никто этого не заметил. Набоков с наслаждением описывает пошлость выражений и пошлость человеческих типов, как будто весь континент, который Гумберт и его пленница-тюремщик пересекают в своем безнадежном путешествии, не что иное, как громадная часть ничему не служащего бесполезного механизма. Заметим еще, что как в «Зази в метро» Куено, где только один иностранец правильно говорит по-французски, так и в «Лолите» иностранец Гумберт единственный, говорящий на «королевском» английском языке, на котором туземцы не выражаются.

Наконец, в иллюзионисте Набокове постараемся найти скрытый под аллегорией смысл. Может быть, Гумберт — художник, старающийся схватить, присвоить — хорошее старинное слово — примыслить — какую-то тайну, таящуюся в нем самом и которую он сам скорее угадывает, чем знает. Выраженная, загрязненная словами, ими преданная

тайна уже сама на себя не походит. Тут напрашивается сравнение с романом «Старик и море» Хемингуэя. Лолита, как Цинциннат,— не персонажи из тела и крови. Не представляет ли она собой произведение искусства, которое его создатель, изнемогая от усилий, силится привести на сушу, таща его за своей лодкой? На берегу морское чудовище — всего-навсего бесформенная масса, изуродованная укусами других рыб — читателей и критиков,— изъеденная морской солью, жалкий, отвратительный трофей!

На рекламной обложке «Лолиты» автор мог бы написать: «Не обманитесь» или «Не попадитесь на крючок».

Не удивительно ли, что два русских писателя, Пастернак и Набоков, и по способу выражения и по своей устремленности во всем остро-противоположные, стали в один и тот же год бестселлерами в Соединенных Штатах!

Первый выражает на нарочито простом языке то, что в русском народе есть вечного, второй с западной утонченностью — кошмар человечества без руля и без ветрил...

Жак Круазе
(Зинаида Шаховская)

После этой статьи Набоков меня «не узнал» при нашей встрече в издательстве Галлимар.

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Апрель 1918 года был светел и радостен, как май. Зеленели озими, буйно взбухали почки деревьев, и нежная зелень выживших от порубки берез начинала шелестеть. Пасха уже прошла, о чем — одиннадцати лет выпав из календарного года — узнала я только потому, что, не страшась последствий, отец Александр Маковский приехал из Гремячева поздравить со светлым праздником малолетнюю заложницу. Протрясшись на своей клячонке около десяти верст, он привёз мне красное яичко и пропел пасхальные песнопения.

В доме из прежних его многочисленных обитателей я оставалась одна. Мать была в тюрьме в Веневе, отец скрывался, старшая сестра и 15-летний брат в Москве хлопотали о матери. Сестра Наташа с теткой жили в Веневе для «передач» в тюрьму. Двоюродные братья, товарищи их и брата разъехались тоже.

Верно и любовно охраняли меня и ухаживали за мною придурковатая белорусская беженка Анюта, беременная от уехавшего на родину австрийского военнопленного (было условлено, что я буду крестной матерью), и петербургская портниха Лида, бывшая проститутка (как я узнала позже), три года живущая у нас и ставшая подругой другого военнопленного, Карла, нашего сапожника. Он на родину не уехал.

Дворовых оставалось немного. «Мананки», крепкие девушки, заменявшие угнанных на войну рабочих, вернулись к себе в Черниговскую губернию, но кое-кто из беженцев и старых рабочих жил ещё в «экономии». И отряд красноармейцев, присланный — с пулеметами против крестьян — арестовывать часть нашей семьи и после разгона оставшийся стеречь меня, как заложницу за отца, заскучал. Все было выпито, съедено, все поломано, загажено, книги и старые грамоты сожжены... За пределы усадьбы красноармейцы не рисковали выходить и выезжать. В деревню развлекаться

* Рассказ печатался в сб.: Шаховская З. Рассказы, статьи, стихи. Paris. Les Editeurs Reunis. 1978.— *Ред.*

не ходили, опасаясь народного гнева. Ведь не только помещиков выгнали, не спросяна то крестьянского разрешения, но еще и барское зерно увезли в город, и лошадей угнали.

Малолетнее княжье отродье было им, может быть, даже обидно стеречь. И вот, оставив одного солдата и одного матроса, отряд куда-то — вероятно, самовольно — отбыл. Я жила на первом этаже, куда Анюта носила мне еду и вечерами сидела со мною, ни на секунду меня не покидая, если, что иногда случалось, заходил ко мне матрос. Солдат не заходил. Матрос говорил скучно и нескладно, покрякивая, крутя самокрутку — бумагой служили страницы потоньше из какой-нибудь книги. Верно, скучал по выпивке и по компании. Иногда он принимался рассказывать, как топил офицеров, неизменно теми же словами,— и тогда становился еще скучнее. Даже я понимала, что не так он хотел меня пугать, как освободиться от своих видений и своей тоски. Анюта подремывала, утомившись за день. Борзая Леди и мой мопс Пупс к нему вполне привыкли и спали, один — клубком на моих коленях, другая — растянувшись на ковре. Я молчала и неотрывно смотрела в матросское лицо, думая этим его сердить, а главное — показать, что мне не страшно. А он меня и не замечал, глядел поверх меня на стену, как будто там найдётся на что-то ответ. Наконец, Анюта поднималась, маленькая с большим животом, и с своим южно-русским акцентом говорила: «Княжне спать пора, уж идите себе, чаво там». Матрос неторопливо вставал, поправлял пояс с кобурой, бросал «Прощевайте» и уходил.

Мы шли в детскую. Анюта несла лампу. Она освещала остатки розовых в цветочках обоев, шрамы стен, светлые прорези, где висели картины. Стены были испорчены, так как при аресте матери искали замурованный в них «пуд бриллиантов», которых явно найти не могли. Из киота исчезли иконы в золотых и серебряных ризах, но другие остались, как и пожелтевшая фата матери и две венчальные свечи. Анюта, не то что гувернантка, охотно освобождала меня от вечернего мытья, с ног валилась. Закрывала ставни, запирала обе двери, накрывала меня — в комнатах было холодновато. «Анюта, зажги лампаду»,— просила я. Матроса не боялась, а темноты боялась. Она зажигала, заплетя косу, ложилась на кровать Наташи, и очень скоро раздавался её храп. Одеяло над ней торчало горкой. Пупс, зная, что теперь все позволено, забирался ко мне под одеяло. Я думала о маме. Днем от негодованья за ее увоз, от возмущения за «взятие врагом» Матова времени не было скучать по ней...

К вечеру злоба уходила, заменяясь нежностью и грустью, и я плакала, так в слезах и засыпала.

А утром начинался новый день в мечтах о подвигах по примеру исторических и литературных героев, о которых я знала из книг. Жило крепко во мне сознание, что я, последняя из моей семьи, осталась на месте, хозяйкой этого дома, этой земли и что посрамить их я не должна страхом перед врагами.

День начинался рано обходом имения. Перед крыльцом, ведущим в огороды, ждали меня друзья — собаки. Память моя и не сосчитает их всех: почти мой однолетка, мохнатый рыжий Медведь, «Султан собачьего племени» — не помню Матова без него,— и Барбос, и Османка, и Цыганка, и Каштанка, и Шарик, и Лягаш, и охотничьи, и дворняжки, одинаково мною любимые и встречающие меня прыжками, вилянием хвостов, нежным покусыванием, всей своей собачьей преданностью и любовью.

Окруженная такими подданными, шла я сперва в огороды, смотрела, как растут в парниках первые овощи, затем дальше, на скотный двор. Как и в барском доме, там тоже царило разоренье, пустые стойла конюшенной и коровника сжимали сердце. Там меня встречали дворовые люди: кузнец, дети — соучастники наших летних игр. В людской кухне распоряжалась все та же стряпуха. Она сразу же отрезала мне краюху свежеиспеченного каравая и, протягивая, посыпала солью. У курятника по-прежнему копошились куры, и здоровались со мною птичница Марьянка из Польши и изгнанный революцией из барского дома сирота, польский мальчик Стась, мой приятель.

С собаками шла я дальше, к скотскому пруду, направляясь к деревеньке Матово, куда были переселены, еще до отмены крепостного права, крепостные «Матовской вотчины».

Дорога, земляная конечно, была свежа, ещё не пылилась. Собаки носились вокруг меня, играя, опрокидывая иногда, и, когда я падала, лизали мне лицо, руки и волосы. Медведь деловито смотрел на эти шалости, в них не участвуя, как и подобает патриарху.

Версты за полторы до деревни собаки останавливались, по опыту зная, что туда идти опасно, разве только если можно бежать между колесами хозяйских экипажей, что делает их недосягаемыми для деревенских псов. Останавливались они все вместе, ложились или садились, и, оборачиваясь, я их видела, как пятна на зелени. Знала, что будут они там ждать моего возвращения.

Деревня ко мне не переменилась. Из изб выходили му-

жики, те самые, что почти начисто вырубили посаженную моим отцом рощицу, «чтоб другим не доставалось». Собирались бабы: толстая Аграфена, наша прачка, чернобровая Поля, первая хороводница, Паша — рыхлая жена нашего молодого кучера Василия и другие, с младенчества знакомые. Расспрашивали о матери, охали, приговаривали, гладили меня по голове, слушали мои довольно пропагандные «митинговые» речи (я помнила, как родители говорили с крестьянами). Бабы обещали собрать «яичек да маслица» и с оказией послать в Венев заключенной, угощали меня «пирогом», пшеничным хлебом... В единственной лавчонке, где нахло дегтем и лампадным маслом и продавались все немудреные товары сельского обихода, не было больше ни жамок, ни тульских пряников, ни раковых шеек. Остались одни подсолнухи. Тут, проездом из одного имения в другое, мы обычно останавливались и покупали лакомства для деревенских детей, но денег у меня не было даже на подсолнухи.

Разговор мой был с умыслом. Я подробно рассказывала, что и как у нас изъяли, и к жалости ко мне и моей семье примешивалась у крестьян исконная вражда деревни к городу и пришлым, и ругали их по-черноземному, крепкими русскими выражениями.

Поспешно возвращалась я в усадьбу, усталая, но подбодренная. Навстречу мне бросались собаки. В небе звенели жаворонки, и все было родное, из поколения в поколение свое.

Весну не остановить никакой революцией. В мае зацвела сирень, все еще больше заблистало, защебетало и запело. В одно из таких блистающих утр я спустилась, чтобы идти в сад, через заплеванную столовую, где валялись пустые бутылки, переплеты от книг. Рояль, перенесенный туда зимою, был изрезан именами, клавиши были оторваны — может быть, после того, как, приведенная сюда, когда был еще отряд, и принуждаемая играть Марсельезу, которой меня никто не научил, я сыграла «Боже, Царя храни», успев убежать затем от солдатского гнева. Из гостиной исчезли миниатюры и всякие безделушки, мебель была изодрана.

Из гостиной стеклянная дверь выходила на террасу, ведущую в сад. Она не открывалась. Заглянув через стекло, я окаменела. По ту сторону двери, положив лапу на ручку, стоял, приподнявшись, с окаменелой, оскаленной пастью Медведь. Он был стар, может быть, чувствуя, что околевает, хотел он окончить свои дни в доме, который честно охранял.

Я побежала к другому выходу, вокруг дома и выбежала в сад. Там на меня навалилось страшное и раздавило лавиной.

Под сиреневыми кустами, под акацией изгороди, в райском цветении сада — корчились, хрипя и по-человечески стеная, матовские собаки. Содрогаясь, сползла с газона на дорожку кроткая гончая Милка, Барбос, судорожно тявкая челюстью, скреб лапами землю клумбы. Я бросалась от одной собаки к другой, ошалев от горя, кажется — кричала. У меня была одна мысль: их надо добить, чтобы не мучались, как лошадь с перебитой ногой, как корову, объевшуюся клевером, если троккар ей не помог или ветеринар не успел доехать. Мой маленький револьвер с перламутровой рукояткой, «бульдог», был конфискован, как и моя франкотка, с другим найденным у нас оружием. Я была бессильна и одинока.

Тут я заметила стоявшего неподалеку Осипа. В каждой деревне есть такие Осипы, гроза крестьян, те, кто может и подпалить, и ножом пырнуть. Дуня, дворовая девочка моих лет, рассказывала мне, что Осип «девок бесчестит, даже и малолетних», что я не поняла, но запомнила, что опасен. Появлялся он редко, часто сидел в тюрьме, откуда, вероятно, революция его освободила. На его красивом и отвратительном лице, прямоносом, со шрамом вдоль щеки, в его мутно-зеленоватых глазах виднелось торжество. Он улыбался, он смотрел на мое отчаяние с нескрываемым удовольствием, иногда переводя с удовлетворением взгляд на мучившихся собак.

— Это ты? — крикнула я ему.

Осклабясь, он ответил очень отчетливо:

— Ну да, я! И очень даже просто, из вашего же дома стрихнина достал и скормил.

Появились и мальчишки, и я умоляла их добить собак хоть камнями. Стась попробовал, но после первого удара бросил камень и заплакал сам.

И вдруг в сад вошел матрос. Он был не в матроске, а в тельнике, на поясе все же висела кобура.

Я бросилась к нему: «Добейте, пожалуйста, добейте, пожалуйста, пожалуйста!» — бормотала я сквозь слезы. Что-то похожее на жалость прошло по его сумрачному лицу, и он, не торопясь, отстегнул кобуру: «А вы тут не стойте, тут вам делать нечего». Осип скрылся. Я бросилась на террасу и, обнимая уже холодного Медведя, рыдала, не желая слушать, но слыша четкие, раздельные удары нагана.

Может быть, матрос позвал Лиду, а может быть, услыхав выстрелы, она сама прибежала и нашла меня. Приговаривая что-то нежное, Лида оторвала меня от Медведя и, обняв за

плечи, твердо повела меня, все еще рыдавшую, в дом, наверх, где она и Анюта уложили меня на диван, давали пить воду, чем-то терли, пока Пупс жалобно скулил, вторя моим слезам. Из шестнадцати собак выжили только Леди, Пупс и щенок меделян, живущий в доме.

Всю эту ночь я не спала, задыхаясь от горя и ужаса, и годами жили, до сих пор живут во мне эти собачьи глаза, ждущие от меня спасенья, и торжествующая усмешка Осипа. Позднее мой тифозный бред в Новороссийске будет возвращать меня в оскверненный матовский сад.

Матрос ко мне больше не поднимался, а я не выходила. Матово стало для меня чужим. Через несколько дней приехал на телеге мой двоюродный брат Алеша уговаривать стражей отпустить меня с ним в Венев. Для убедительности он привез с собой бутылку спирта и, кажется, немалую сумму денег. Дело было налажено. В тот день, когда крестьянские подводы, везущие мешки с зерном, должны были прихватить нас с собою, я впервые, одна, даже без Пупса, пошла опять к сараю, который стоял поблизости от него и в котором я провела столько блаженных часов, лежа на сене с собаками и читая книги. Ни книг, ни собак не было, да и сарай был пуст. Среднерусская равнина широко расстилалась передо мной. Встав около сарая, медленно поворачиваясь на все четыре стороны, я торжественно произнесла: «Пусть место это будет навеки пусто и пусть поселяющиеся на нем будут до конца жизни несчастны».

Я, конечно, опять играла роль, но уже другую. Что-то во мне переменилось. Я не плакала, когда под конвоем увозили моих родных (как раз после того, как мы узнали, что в Рязанском имении конвой по дороге в город зверски убил брата и сестру моего отца), не плакала тогда от гордости, чтобы не показать врагу мою слабость и страх, но встреча со страданием, агонией и смертью в великолепном, ослепляющем блеске весны была мне не под силу. И от поруганной любви, я, стоя на майском ветру, не плача, прокляла то, что было частью меня самой, землю, которая утробно во мне жила. Уже не гордость, а ненависть меня заполняла, и долгие годы вызревало во мне прощение.

Вечером того же дня Анюта, Лида, Карл и Матвей прощались со мною у Красного крыльца навсегда. Я вскарабкалась на мешки телеги, с Пупсом на руках. Рядом растянулась спокойная, глуповатая Леди (меделяна взял себе Матвей), и в веренице других нагруженных телег мы двинулись, пока стража моя спала или делала вид, что спит, на Савино, на Холтобино и дальше.

Мы выехали на лесную дорогу. Ночь была темная и звезды огромные и лохматые. А лес тянулся бесконечно, казался дремучим. От времени до времени где-то постреливали: не то лесничие стреляли в воров, не то воры стреляли в лесничих. Возницы иногда присаживались на подводы, иногда шли рядом с лошадьми, попыхивая самокрутками. Я лежала, смотря на небо, на тени, на огоньки, думая, что увижу мать,— мне не сказали, что она была переведена в Москву, в Бутырки,— Наташу, может быть, отца и брата. Ночь была длинной, тихой, почти неземной. Поскрипывали колеса. Дорога уводила меня все дальше и дальше, неизвестно куда, от моего диковатого, русского детства, а затем и из России.

ОТРАЖЕНИЯ

Хочу выразить мою благодарность Вере Александровне Допера, много потрудившейся над корректурой этой книги.*

З. Ш.

* Впервые книга вышла в Париже в 1975 году в издательстве YMCA-Presse.— *Ред.*

Память не фотографический аппарат, воспоминание не снимок, который для всех и каждого одинаково восстанавливает кажущуюся реальность событий и лиц. Память нечто очень личное, субъективное. Она питается зрением и слухом того, кто видит и кто слышит не только слово, произнесенное другим, но и звучание этого слова. Память не чужда творчеству. Она может украсить или очернить прошлое, часто непроизвольно, как присуще всякому искусству. И еще случается, что память становится, наоборот, послушна воле того, кто ею пользуется для того, чтобы преувеличить свое значение и связь с этим прошлым. Вот отчего мемуары об одних и тех же людях, об одних и тех же событиях так разнообразны и часто противоречивы.

В области воспоминаний достоверности нет. Это не паспорт, не полицейский рапорт, оттого в них можно встретить то, что выше и вернее видимости, и также часто не только внутренний облик тех, о ком они написаны, но и личность самого автора воспоминаний. Да и то сказать, каждый из нас в общении с одним человеком совсем не таков, каков он в общении с прочими. Различные у нас притягивания и отталкивания. Даже любовь не есть самый верный ключ к познанию, она может ослеплять не меньше ненависти.

Часто близкие к знаменитостям люди по своему эмоциональному желанию их представить потомству в самых светлых красках впадают в «агиографию», тогда как враги и завистники знаменитых людей стараются их очернить в глазах читателей и ухватываются за все, что было в них смешного и темного.

Литературоведам приходится с этим считаться: «У каждого своя правда», по Пиранделло. Правда же писателя, поэта, художника, композитора — это его творчество.

И все же любопытство к личности художника не является чем-то совершенно праздным. Романизированные или строго научные биографии великих людей издавна — вспомним «Жизни» Плутарха — имели большой успех, как в духовном плане Жития Святых. Плутарх ставил своих героев примером гражданских добродетелей. В жизнеописаниях художников не так уж часто найдем мы примеры святости или

добродетелей. Зато мы узнаем из них какую-то крупицу, часть тайны творчества и трагедии исключительности. А в этих «отражениях» писателей первой эмиграции выступает трудная их судьба.

Да простят мне не абсолютную точность датировки встреч и приводимых здесь писем. Моя принадлежность к двум культурам, русской и французской, многообразность моих интересов и пестрота занятий, да и событий, в которых я принимала участие, затрудняют мне хронологию, и можно считать чудом, что при постоянных переездах из страны в страну большая часть архивов и записок как-то сохранилась.

НАЧАЛО

Мне было 17 лет, и я жила в Брюсселе, когда мой брат, старше меня на четыре года (тогда студент Лувенского университета), с детства писавший стихи и, как и я, великий любитель чтения, стал одним из членов-организаторов клуба русских литераторов, «Единорог». Литераторов, честно сказать, в интеллектуально затхлой эмигрантской среде Бельгии было немного. Граф Перовский-Петрово-Соловово, Иван Наживин, Константин Льдов (старый эмигрант), барон Вревский, Леонид Чацкий (Страховский), Георгий Цебриков...

С ними я и повстречалась как с первыми представителями русской культуры — но особенного влеченья, ни даже простого интереса к ним не почувствовала. Все же посещала редкие публичные собрания «Единорога».

Учившись понемногу «чему-нибудь и как-нибудь» в разных местах, куда история забрасывала мою семью, кроме любви к литературе и истории, насыщаемой с раннего детства книжным запоем, никакого образования у меня не было. А прочла я уже многое, особенно в нашем тульском имении Матово, от 1917 до 1918 года, когда моя мать, как бы предчувствуя, что от матовских книг вскоре ничего, кроме пепла, не останется, открыла мне безо всякой цензуры помещичью библиотеку. Были тут и Шекспир и Мольер, Толстой и Боборыкин, Лесков и Лажечников, Надсон и Фет, Писемский и Достоевский, Белинский и Вальтер Скотт, вся «Нива» и все приложенья к «Ниве» — добрая окрошка, из которой

я, не всё, конечно, понимая и в шкалах ценностей не разбираясь, все же вынесла немало, а главное — пристрастилась к чтению даже трудных для 11-летнего ума книг.

Члены «Единорога» никак не отвечали моему представлению о писателях и поэтах, которых я воображала себе совсем не похожими на обычных людей. Старый Перовский был сумрачный, тяжелый человек, Страховский не понравился псевдонимом «Чацкий», и моноклем, и манерностью. В Иване Наживине, бывшем толстовце, человеке неистовом (позднее, во время избрания Бунина нобелевским лауреатом, он написал статью — нигде не напечатанную — «Стокгольмские идиоты, или Венчанье мертвеца»), увидала нашего черноземного кулака. Константин же Льдов, если в наружности — пышность волос и галстук-лавальер — и имел нечто поэтическое, все же мне не понравился. (Я не знала, что перед своим возвращением в Россию Гумилев оставил ему в 18-х годах какие-то рукописи). И из разговоров литераторов я только и запомнила рассказ Вревского, как молодым — не помню, офицером или студентом — он пришел к В. В. Розанову и тот на пороге спросил его: «А вы женаты, молодой человек?» — «Нет».— «Ну, тогда нам и говорить не о чем. Женитесь, тогда приходите!»

Позднее стал близок к «Единорогу» и бельгийский поэт Роберт Вивье, женатый на русской татарке.

Два года бедного, но спокойного житья в Брюсселе позволили мне обзавестись своей маленькой библиотекой. Тогда в Берлине издавалось много русских книг, и новые имена, новая поэзия, до Матова не успевшая пробраться,— Блока, Ахматовой, Гумилева, Есенина — меня пленила. А тогда, как и теперь, книга для меня более волнующа, более существенна, чем любая лекция, собрание или кружок. Эклектизм в чтении моем был велик — Бэкон и Рабиндранат Тагор, Густав Лебон и Платон, Рескин и Фаррер, Зохар и Коран — все увлекало.

А брат старался меня просвещать во всех направлениях, даже повел раз слушать лекцию Эйнштейна. На экране двигались какие-то поезда, чертились какие-то схемы, и маленький человек с пушистыми волосами что-то с жаром объяснял — но, с детства чувствуя непреодолимое отвращение ко всякой цифре и числу, я ничего не поняла и не запомнила, кроме облика самого Эйнштейна.

Так и осталась — при книгах, но вне литературного окружения — до приезда в Париж в 1925 году. Но и тут брат, оставшийся в Брюсселе и начавший издавать свой журнал «Благонамеренный», желая, вероятно, помешать моему

отрыву от русского мира, назначил меня представителем «Благонамеренного». «Представителем» я, конечно, не была, но иногда исполняла редакторские поручения и поэтому и вошла в контакт со старшим поколением русских писателей в эмиграции.

Полная моя независимость, новое окружение выбросили меня из гетто зарубежной России во Францию — и Франция эта была двуликой. Новый мир и блистал передо мной, и открывал свои язвы. Париж двадцатых годов — это целая эпоха, даже и без денег можно было быть ее свидетелем. «Вол на крыше», первые негритянские ритмы, пробившиеся в Европу, занимательные игры Кокто, Пруст, Бергсон, Андре Жид, Питоевы и «Федра» Расина, пульсации новой жизни и, все еще ощутимые, прошлой. И рядом — то, что по практическим занятиям моей школы мне открывалось, но было закрыто и для многих французов — приют подброшенных детей, беднота, ютившаяся в том, что тогда звали зоной, а теперь бидонвилями и слямсами, амбулатории, куда приходили лечить свои язвы бродяги, психиатрическая больница Сент-Анн, по поручению которой мы составляли анкеты. А в другом плане — лекции в Коллеж де Франс по психологии, политической экономии (Шарль Жид), деонтологии, рабочему вопросу.

Невероятно пестра стала моя жизнь и так увлекательна, что я почти не замечала бедности. Жила я в джунглях, в самом центре Монпарнаса, в общежитии, рядом с «Ротондой» и «Домом», куда и ходила, как на спектакль — не участником, а зрителем. Чашка кофе за стойкой или (немного дороже) вечером за столиком — вот и всё, что для этого требовалось. Рано утром или после работы рабочий люд подбадривался стаканом-другим вина. Фауна же часов не знала. Тут и англосаксы, и скандинавы, группа испанцев; кто-то говорит: «Вот Пикассо!» А неподалеку Фернанда Баррей, бывшая подруга Пикассо, и Фужита с новой женой, Юки, розово-белой Помоной, рядом с которой еще желтее лицо мулатки Айши, излюбленной модели монпарнасцев, длинный Иван Пуни, грузный Сутин, толстый Паскин, Хемингуэй и Цадкин. Все они пока только имена, имена и лица. Я с ними еще не общаюсь, только смотрю.

Всё есть на Монпарнасе — и наркотики, и стаканы с перламутровым абсентом, и пикон-гренадин, и пьяницы, и проститутки, и мирные буржуа, которые, спустив железные ставни своих лавок, приходят на аперитив. Проходит волосатый художник, немой, жестом предлагая желающим

набросать их портрет, на террасе старуха поет дребезжащим голосом репертуар Иветты Гильбер.

А где же Россия? Связь с ней все не порывается. Она собирается в церкви и у церкви, ест борщ и котлеты, в ресторанах дорогих и дешевых, от Корнилова до Медведя, смотря по возможностям, пляшет на беспорядочных почему-то всегда балах, ходит на доклады, скандалит на политических собраниях, протест предпочитая академической дискуссии; она создает церкви, школы, университеты, скаутские отряды и литературные объединения, ждет и надеется, почти без ропота принимая всё испытания.

В сущности, те круги, которые в России, вероятно, остались бы мне неизвестны, открылись передо мною на чужбине. Все сословия были представлены в этом первом потоке — и рабочие, и военные, и интеллигенты, и духовенство.

Оставалось со мною и семейное прошлое, в посещениях тогда еще живой родни старшего поколения, московской и петербургской, людей, скажем, «именитой» России, принявших мужественно потерю состояния и социального положения, чувствующих, что и без власти, и без денег, и без родины сущность они свою не переменили и что ничего унизительного в бедности, бесправии и тяжелой работе нет.

По воскресеньям и четвергам, в форме, с трехцветной ленточкой на погоне, водила я мой отряд гайд то к химерам Собора Парижской Богоматери, то на бейсбольную площадку, то в Медонский лес.

В политические партии не записывалась, но чувства питала абстрактно монархические. Скауты собирались благодаря гостеприимству Алексинских [1] в помещении газеты «Родная земля», 216, бульвар Распай. Я иногда по соседству заходила по вечерам на огонек в редакцию. Бывал там немногословный уже Куприн, со вкусом попивавший винцо, а на голове тюбетейка, Георгий Мейер, Михаил Осоргин и другие, часто — бывшие революционеры. Случалось, запевали они революционные песни, когда были стаканы в руке: «Первый тост за наш народ, За святой девиз вперед!» Я ехидничала: «Вперед! Вперед до самого Парижа. Вы-то за революцию боролись, а я из-за вас нехотя свою страну потеряла».

Раз уговорила меня имперская молодежь, в которой царствовала тогда «Полежанна д'арк», красивая Нина Поле-

---

[1] Григорий Григорьевич, политический деятель, бывший член Государственной думы.

жаева [2], так трагически закончившая свою жизнь, сорвать лекцию Кусковой, и я энергично раздавила вонючий шарик на кафедре, где восседала маститая ораторша рядом с П. Н. Милюковым. Поднялся большой шум и крик, и, устыдясь, я больше в таких манифестациях не участвовала.

Русский мир для меня экзотикой, конечно, быть не мог, каковы бы ни были его проявления — от духовных подвигов до безобразий. Экзотикой была для меня Франция, да и вся Западная Европа. В ней было для меня все неожиданно и красочно, даже ее слабости и ее пороки.

Задача, вставшая передо мною, была такая: как жить в трехмерном мире, помнить прошлое, питающее настоящее, различать в них зерно будущего. Я была частью зарубежной России, той самой, которая молилась, трудилась, училась, ссорилась, пела, танцевала и... писала.

РЕМИЗОВЫ

В 1924 году, восемнадцатилетней, я отправилась в Париж учиться в протестантской Школе социальной работы, 139, бульвар Монпарнас (Монпарнас был тогда еще центром международной богемы), жадная до всего, что открывалось мне в моей новой независимости, которой сопутствовала, конечно, эмигрантская бедность.

Мой брат Димитрий, бывший в то время редактором «Благонамеренного» в Брюсселе, вероятно, желая привязать меня к русской литературе, сказал мне перед отъездом, что я буду его представительницей в Париже, и дал мне адреса русских писателей, с которыми находился в связи.

Первый мой визит был к Ремизову. Я была в те времена невероятно застенчива со старшими, а писатели для такого книголюба, как я, казались совершенно необыкновенными созданиями, один их вид ввергал меня, разговорчивую со сверстниками, в самое камённое молчание. К тому же я еще не освободилась от тяжелого заиканья, внезапно возникшего у меня в детстве в Константинополе.

Ремизовы жили на 120-бис, авеню Моцарт. Мы письменно сговорились о свидании — и вот, когда, замирая, я нажала на кнопку звонка в не очень скоро открывшуюся мне

[2] Н. Полежаева во время оккупации сотрудничала с немцами и была ими же расстреляна за взяточничество.

дверь, показался маленький человечек, как-то особенно шуршащий ногами, сгорбленный и очкастый, со смешными, колдунскими вихорками, словно рожками, по обеим сторонам головы. Внимательно меня оглядывая и некрепко пожимая мне руку, он протянул необычным для меня говорком и очень тихо: «Так вот, значит, вы сестра Димитрия Алексеевича» — и повел меня из маленькой передней в небольшую комнату. В ней не было светло, лампочка была малосильной, посреди стоял стол, не для работы, а для чая, а на веревочках, протянутых от стены к стене, висели всякие необычные предметы. Рыбья кость, висевшая рядом с мохнатым чертиком, меня особенно поразила, но еще больше поразил сам хозяин, его облик, его говор, хитрые его, как бы ощупывающие глаза, рассматривающие меня через большие круглые стекла очков, и ласковая, но не без лукавства, улыбочка.

Навстречу нам поднялся молодой человек. Ремизов нас познакомил: «Вот Владимир Диксон, поэт, а это сестра «Благонамеренного». Ну, а пока вы знакомитесь, я посмотрю, что Серафима Павловна делает» — и исчез.

Владимир Диксон, американец, родившийся в России, как я узнала потом, был необычайно красив, и, что смутило меня еще больше, он был прекрасно одет, а я — во что добрые люди послали. Но несмотря на некоторую разницу наших лет и абсолютную разницу нашего материального состояния, Диксон, видимо, был не менее застенчив, чем я, и мы мирно сидели на наших стульях, безгласные, не глядя друг на друга, слушая, как хрипят часы с кукушкой, висящие на стене. Я к тому же как-то неприятно чувствовала, что кто-то за неплотно прикрытой дверью наблюдает за нашей неловкостью: как они там, мол, разбираются!

Но вот дверь эта открылась и показался Ремизов, все с той же улыбочкой, колеблющейся между жалостливостью и издевкой. «Ну что, познакомились?»

На столе появились чайные чашки, печенье, сушки, крендельки... Я все рассматривала непонятные предметы, маячащие перед глазами, и совсем это мне не нравилось, «ведь взрослый человек, писатель, а это нарочно».

И вот вплыла Серафима Павловна, крупная и рыхлая, с голубыми, под цвет глаз, бусами на шее, поблескивая сизовато-розовыми щеками. В ней была странная смесь необыкновенной важности и провинциальной жеманности, и, увидав ее впервые, я вспомнила образ кустодиевской купчихи, хоть сразу и услыхала, что фамилия Задора-Довгелло знатная, литовская, а по матери С. П. была гетманской кро-

ви. Чай отвлек меня от смущения, и я продолжала быть безгласной слушательницей непонятного мне разговора между Ремизовым и Диксоном. Книг Ремизова я не читала еще, о русской палеографии, которую преподавала в Сорбонне Серафима Павловна, не имела представления и была подавлена умом и начитанностью присутствующих — вдруг из юношеского увлечения Серебряным веком оказалась в обществе протопопа Аввакума и героев кельтских легенд, которыми увлекался Диксон.

Уходя, я была не очарована, но зачарована ремизовским миром. Был ли он чудак или только притворялся чудаком, чтобы легче было выделиться или защититься,— не в мои годы можно было об этом судить, но что привлекало меня в Ремизове, было сильнее того, что меня отвращало. К Серафиме Павловне интереса я не почувствовала, хотя в какой-то мере первой персоной ремизовского мира была все же она.

Я несколько раз посещала еще Ремизовых в этот 1925 год. Иногда, несмотря на заранее уговоренное свидание, дверь мне не открывали, хотя я явственно слышала, как кто-то за нею стоит и дышит, вероятно, лукаво улыбаясь моему напрасному ожиданию.

Марина Цветаева говорила мне, что и ходить к Ремизову из-за этого перестала. «Пригласит, я никуда не хожу, а тут выйду. Еду из Ванв. Прихожу, звоню и слышу Ремизова и говорю ему: перестаньте, Алексей Михайлович, притворяться, я все равно слышу. А он двери не открывает...»

Встречала я у Ремизова П. П. Сувчинского с его первой женой, В. Гучковой,— тогда говорилось о музыке,— и внимательно-вежливого К. Мочульского, и Михаила Осоргина, который, будучи в моих глазах обыкновенным человеком, меня нисколько не смущал, а иногда и несчастного, задыхающегося от туберкулеза Леонида Добронравова. Добронравов наконец попал в больницу, и сразу же Алексей Михайлович, скорбно сообщив мне об этом, послал меня навестить человека, которого я совсем не знала и которого как будто он сам не так уж ценил, так как всегда над ним подтрунивал. Добронравов умирал в общей палате. Он не узнал меня, конечно, мои тощие цветы выскользнули из его рук. Он так и не понял, кто я такая, а до привета Ремизова ему уже не было дела.

Очень характерна для Ремизова следующая история, случившаяся в 25—26-м году: брат, приехав в Париж для своих издательских дел, потерял или у него украли, точную сумму не помню и пишу предположительно, скажем, четыреста

франков, о чем при свидании Ремизову и рассказал (для брата сумма была значительной). Слух об этой краже или потере Ремизов распространил по-своему, очень метко и оригинально. Мочульскому сказал, что сорок франков, Сувчинскому — что четыре тысячи, и, когда брат спросил его о причине таких разных версий, Алексей Михайлович объяснил: «Для вас четыреста франков — много, Мочульский такой баснословной суммы и представить себе не может, а Сувчинскому, ему четыреста ничто, а четыре тысячи — понятно уже».

Вообще на мистификацию у Ремизова был прямо гений. Когда начал издаваться «Благонамеренный», в «Последних новостях» появилась заметка: «В «Благонамеренном» начнет печататься роман Федора Степуна „Эолова Арфа"», что вызвало, конечно, немалое впечатление и немалое удивление. Эта фантастическая новость была измышлением Алексея Михайловича, «чтобы вызвать интерес» к «Благонамеренному».

Человек Ремизов был чрезвычайно проницательный, предельно зоркий, даже как будто не без дара ясновиденья, как я убедилась на опыте. В мае 1926 года я пришла к Ремизовым с Святославом Малевским-Малевичем, с которым только что познакомилась. Он был тогда студентом Сорбонны (Виттиморовской стипендии) и молодым евразийцем, а евразийцы в ту пору помогали Ремизову. Влюблены мы не были, но, когда прощались, Алексей Михайлович, взяв с блюдечка две сушки и скрестив руки, передал по одной Святославу и мне: «А это вам кольца», что повергло нас в немалое смущенье.

И все же случилось так, что 21 ноября 1926 года, в Сергиевском Подворье, о. Сергий Булгаков обвенчал Святослава и меня на долгую супружескую жизнь, и среди приглашенных были и Ремизовы. К свадьбе Ремизов произвел нас в кавалеры «великой и вольной обезьяньей палаты», начертя грамоту на первой странице моего альбома.

С нансеновским паспортом моему мужу, химику, ученику Нильса Бора, делать в Европе было нечего. У инженеров была безработица вследствие очередного мирового кризиса, и в 1927 году мы уехали в Экваториальную Африку, тогда страну еще дикую, Линдберг только что перелетел через океан, почта шла морем к нам 17 дней. Туда от А. М. получали открытки — Ремизов интересовался конголезскими марками.

Снова повстречалась я с Ремизовыми уже в тридцатых годах: живя в Брюсселе, я «приписалась» к парижскому

Союзу молодых писателей и поэтов и в каждый мой приезд — или почти — в Париж посещала Ремизовых. Переезжали они часто. В 32-м году жили в Булони-на-Сене, 3-бис, авеню Ж. В. Клеман, затем — 11, бульвар Порт-Руаяль и снова в 16-м. Редко приходила к ним одна, чаще с одним из моих приятелей — Юрием Софиевым, Иваном Шкотт (Болдыревым), Алексеем Эйснером, Борисом Очерединым, Анатолием Алферовым. Покинув их, мы частенько обменивались в каком-нибудь бистро нашими впечатлениями об этой удивительной, ни на кого не похожей чете.

В эти годы я уже могла оценить и книги Ремизова, и его разговоры, и его замечательное чтение, которым он нас, впрочем, не баловал. Но когда читал — не только Замоскворечье, но вся Россия вставала передо мною, не Россия даже, а Русь. Я уже от своего заиканья кое-как освободилась, коечему научилась и чувствовала себя с писателями старшего поколения свободнее. Все же с Ремизовым никогда не было у меня таких простых и естественных отношений, как с Буниным. И хоть я и старалась освободиться от в некотором роде былинного языка, когда с ним говорила, все же речь моя по мимикрии принимала какой-то особый стиль, что меня самое очень сердило.

Да, удивительная была эта пара, начиная уже с физического облика мужа и жены. Маленький, сгорбленный колдунок Алексей Михайлович и обширная, вальяжная, важная Серафима Павловна. Кто-то придумал сравнение: изюминка и кулич.

Очень странно — о прошлой жизни своей в России, о своей молодости Ремизовы нам никогда не рассказывали. Одно было ясно — она властвует, он обожает. Ходили слухи об их браке, проверить их теперь трудно, будто бы оба, сосланные царским правительством чуть ли не в Вятку, где молодые революционеры жили коммуной, встретились там. Серафима Павловна была тогда русской могучей красавицей, бело-розовой, полной, голубоглазой и царственной. Окруженная поклонниками, она на вихрастого заморыша Ремизова не только не смотрела, но даже чувствовала к нему антипатию. Случилось, что у кого-то из коммуны украли часы. Серафима Павловна сразу решила: «Это Ремизов! — одиночка». Ремизову объявили бойкот, а затем истинный вор был обнаружен, и тогда будто бы в порыве чисто русском Серафима Павловна предложила в виде репарации неправедно обиженному Ремизову стать его женой.

Была у них дочка, но и о дочке у Ремизовых тоже никогда не говорилось. Знали только, что она осталась в России, что

никогда не жила с родителями, как будто не так по бедности, как оттого, что Серафима Павловна хотела быть первой и единственной любовью Ремизова. Она и была его единственной, и если Ремизов кого-то по-настоящему любил, то, конечно, ее. Огорчалась ли она или заболевала, будь то хоть насморком, Ремизов был потерян и убит. В квартире наступала трагическая окаменелость. Приходящие должны были говорить шепотом. Софиев рассказывал мне, что раз, чтобы повеселить простуженную и лежащую в постели Серафиму Павловну, Ремизов, в ожидании вызванного доктора, протянул веревочку поперек коридора, ведущего в спальню. Доктор споткнулся и полетел. Видя это через открытую дверь, больная залилась смехом, обрадовав Алексея Михайловича.

Много было детского в шутках, да и в драмах Ремизовых. Тот же Софиев, как-то зайдя, был встречен удрученным Алексеем Михайловичем: «Тише, тише, у нас большое огорчение». В кухне плакала Серафима Павловна. «Да что же случилось?» — спросил Софиев. Оказывается, не вышел номер билета в тираж национальной лотереи. Да и билета Ремизовы не покупали, просто в одном из купленных ими пакетов кофе была приложена премия — купон на 1/10 билета, в виде рекламы, как это тогда практиковалось.

Сколько лет было Ремизову в 32-м году? Всего 55, но он казался древнее всех, и Бунина, и Зайцева. И при кажущейся беспомощности он лучше своих собратьев умел использовать знакомых, разжалобить своей беззащитностью, уверить всех, что в жизненных делах он ничего не смыслит,— и, в сущности, ему помогали, до конца его жизни, больше, чем кому бы то ни было. А. М. возлагал ответственность за свое существование на других. Один бегал по его делам в префектуру, другой искал ему покровителей, а сколько верных женских душ преданно окружали и служили ему до конца, невзирая на его шуточки над ними, не всегда добродушные... Благодарность была как будто Ремизову в тягость, он был похож в этом на Леона Блуа, «неблагодарного нищего». Я рекомендовала его моей приятельнице, графине де Панж, урожденной княжне де Брой, сестре нобелевских лауреатов по нуклеарной физике. Полина де Панж была женщина очень бережливая, но в неденежной поддержке ни французской, ни иностранной интеллигенции никогда не отказывающая, и рекомендации ее значили много. С ее помощью Ремизов попал к Галлимару и в «Нувель ревю франсез», но всегда мне жаловался, что она для него ничего не делает.

У Галлимара по крайней мере четыре человека — все

имеющие вес в этом издательстве — заинтересовались оригинальностью Ремизова, причисленного ими, несколько произвольно, к сюрреалистам. Грейтхейзен, Жан Полан и Марсель Арлан, и Брис-Парэн. Тут надо хоть двух из них обрисовать — как главных судей авторов этого издательства.

Жан Полан, окончивший Школу восточных языков (мальгашский), был Eminence Grise * НРФ, куда он впервые вошел в 1920 году, впоследствии став ее редактором. В сущности, вершителем судеб этого блестящего журнала был творческий импотент, умный пустоцвет. Собственная его литературная продукция, чрезвычайно скромная, не имела влияния — зато сам Полан как личность имел влияние огромное. Мистификатор, любитель «черной литературы» и парадокса — не идеи его привлекали, а замысловатость. В главной его книге — 164 страницы — «Les fleurs de Tarbes» ** отражается довольно ярко его литературное кредо: «Если бы я был устрицей, то не выращивал бы свой жемчуг». Полан создавал и губил репутацию, приговаривал к непечатанью всё, что было ясно написано и приятно для чтения. Сам он всё читал, всё знал,— но как бы мстя за свое собственное творческое бессилие, Полан кормил литературных и художественных снобов пищей, им навязываемой.

Совсем другим был Марсель Арлан, вторая голова двуглавой диктатуры, держащей в своей власти литераторов галлимаровской «конюшни». Вместе с Поланом Арлан после войны вытащил из чистилища стертую за грех оккупационного существования НРФ. Арлан был упорной крестьянской жилы и маниакальной честности и писал книги понятные, о простых событиях и людях, но стилем, как отметил Пьер де Буадефр, «беспокойным».

Два этих разных человека и заинтересовались Ремизовым. Арлан, вероятно, человеческой драмой, чувствуемой им в ремизовском творчестве, а Полан — изгибами стиля и таинственностью ремизовского искусства. Первое знакомство Ремизова с НРФ состоялось в тридцатых годах.

До войны 1940 года, кажется, только трое русских писателей-эмигрантов были авторами Галлимара: Ремизов, Замятин и Вл. Сирин (который, несомненно, наиболее подходил этому издательству) и еще — после получения Но-

---

* Серый кардинал *(фр.)*.

** Цветы Тарба *(фр.)*.

белевской премии — Иван Бунин (который ему наименее подходил).

Кроме НРФ, и другие почетно передовые «nec plus ultra» * журналы, как «Мезюр» Барбары и Генри Черча, заинтересовались ремизовским «лица необщим выраженьем» — что делает им честь,— но России-то не было! А Ремизовы оба служили русскому слову прежде всего. «Слово! — верую и исповедую, люблю и тружусь»,— писал Ремизов и в «Розовом блеске», «книге поминовенья» Серафимы Павловны; он называет себя ее учеником: «Она выбрала себе церковнославянскую высокую книжную речь... а я, под ее руководством, дьячью приказную, прослоенную разговорным просторечьем». Несмотря на то, что «коммерческого» успеха книги Ремизова не имели у французских читателей, Галлимар издавал их и после войны.

Не знаю, как расходились русские его книги — вряд ли были они ходким товаром и у читателей-эмигрантов,— но вечера Ремизова собирали всегда очень много народа. Когда он читал, все становилось понятным и близким — не только гоголевские «Вий» и «Страшная месть», принимающие в чтении А. М. особый размер, но и повести и сказки самого Ремизова. Он, в сущности, писал вяканьем — разговорным, хоть и архаическим языком, с примесью, конечно, художественного модернизма. А дьявольщина, и не только она, но и человеческое грязцо — он уговаривал меня прочесть вдумчиво «Зимний день» Лескова — были то, что Ремизов не хуже понимал, чем раны бедности и страданья.

Мои друзья и я ценили в Ремизове его талант, но как человек он у нас восторга не вызывал. Нам казалось, что писатель, с такой силой писавший о доброте, об обиженных и оскорбленных, видел их только как абстракцию, что писал он о своей доле и о своих испытаниях и, всю любовь отдав С. П., а всю жалость обратив на себя, не оставил и крупинки той или другой для ближних.

И чем беззащитнее и преданнее был ему человек, тем больше А. М. над ним издевался,— а тех, кто отказывался быть его жертвой, боялся и с ними считался. Так, кто-то из «известных», сказав ему строго: «И помните, чтобы я не появлялся в смешном виде в ваших снах!» — никогда в них действительно не появлялся, чем, впрочем, и не вошел для потомства в ремизовский эпос.

Мы не могли не замечать, как охотно, но и как ехидно, и зачастую со скатологическими подробностями, А. М. гово-

---

* До крайних пределов *(лат.)*.

рил о своих знаменитых современниках, и всегда с усмешечкой: «Вот идет Василий Васильевич (Розанов) в ватер-клозет, а мы за ним гуськом, а он нам о чем-нибудь половом говорит, дверь не закроет, заслушаться можно! Мы слушаем, а он там бумажкой шелестит, мнет ее».

Не могла не замечать, и как иной раз угодливо говорит А. М. с каким-нибудь могущим ему пригодиться посетителем или посетительницей, и как, едва гость уйдет, такого о нем расскажет, что уши вянут! Я была очень дружна с Иваном Шкоттом, и мы часто приходили к Ремизовым вместе. Шкотт был глубоко несчастный и очень мужественный человек и к Ремизову-писателю питал самое глубокое уважение, считал себя его учеником. Но, зная мою дружбу со Шкоттом, если я приходила одна, А. М. всегда сочинял про него какие-то фантастические гадости: «Бедный Иван Андреевич, глохнет ведь? Да, бедняга, заболел венерической болезнью, захватил там, в Сибири, а вот теперь мучается!» А когда Шкотт покончил с собою, Ремизов написал о нем проникновенный некролог. Прочтя его внимательно, все же видно, что и в чужой смерти, и в чужой бедности оплакивал Ремизов свою судьбу и ее тяжесть.

Вот эти-то особенности Ремизова как человека, не скрою, и отдалили меня от него. Я перестала его видеть, кажется, в 1936 году. Вернувшись в Париж в 1949 году, я тоже не пошла к нему. Но перед 80-летием Ремизова, в 1956 году, друг эмигрантских писателей, Софья Прегель, сказала мне, что он несчастен, ослеп, и что хорошо было бы его утешить юбилейным и лучше французским чествованием, и что хорошо, в виду состояния его здоровья дело это не откладывать.

Я зашла к Ремизову, он, видимо, проектом Софьи Юльевны был очень обрадован. Несмотря на преданную заботу верных ему друзей — и помощь, ими оказываемую,— он, конечно, был очень жалок и одинок без Серафимы Павловны.

«Как живете, А. М.?» — «Плохо, вот читать не могу. Читают мне, может быть, и вы почитаете?» Не помню, какую он дал мне книгу. Мое, конечно, далеко не художественное чтение несколько его раздражало, он справедливо меня поправлял и поругивал, потом жаловался: «Конечно, голодать не голодаю, а вот скучно кормят, хотелось бы чего повкуснее. Я вот семгу люблю». На следующий раз я принесла ему семги, съел, промолвив: «Вкусно, да так мало!»

Дело с устройством чествования было нелегкое, мало кто из французских писателей слышал о Ремизове, а те, что

слышали, уже забыли его. Я отправилась к моему другу Анри Мембре, генеральному секретарю французского ПЕН-клуба, объяснила ему, что заслуги Ремизова перед литературой немалы, что он настоящий писатель и даже печатался в НРФ и что расходы по приему будут покрыты его русскими поклонниками. На том и договорились. «Но кто будет его приветствовать от имени ПЕН-клуба? Я не вижу никого»,— заметил Мембре. «Не беспокойтесь, я попрошу Марселя Арлана». Марсель Арлан, правда, без энтузиазма, согласился произнести приветственную речь. Были уже заказаны и приглашения, когда я получила от А. М. письмо — он от юбилея отказывался.

* * *

Из моей записной книжки за тридцатые годы выбираю, что записывала под горячую руку о Ремизовых:

Чай Ремизов разливал сам, и так, как будто свершал какой-то обряд. Был там Сувчинский, Мочульский, художник Сергей Шаршун, издававший вместо книг листовки «Накинув плащ». Это был рассвет и первый закат ЕА * с авантюрой «Верст». Издавался еще «Ухват». У Сувчинского были деньги, А. М. сажал его на почетное место. Раз Ремизов попросил меня достать у капитана 2-го ранга, бывшего командира «Алмаза» и моего свойственника, грамоту, выданную предку его царем Алексеем Михайловичем, которую Чириков смог сохранить. Я ему достала, и А. М. долго с ней возился, рассматривал не так даже содержание, как слова и выражения 17-го века и начертание букв.

Ремизов и особенно Серафима Павловна очень внимательно следили за отношениями их гостей между собою. Они их ссорили или мирили, намекали на возможность каких-то романтических отношений, чаще всего выдумывая их. Мне: «А вот вас Шаршун проводит, кхе! кхе! Он у нас известный Дон Жуан». Шаршун что-то шепеляво и неразборчиво бормочет, отнекиваясь и от донжуанства, и от провожанья.

Раз я с Ремизовыми и с мужем пошла на какое-то очередное собрание, имевшее место на рю Данфер-Рошро. Лекция Д. Святополк-Мирского о культе смерти в русской литературе; позднее появилась его статья на эту тему, но уже без некоторых вводных фраз. Рядом с лектором, на подиуме, Сувчинский. Я мало знала Мирского, взгляд его казался мне издевающимся, а голос «носатым», и он меня отпугивал чем-

* Евразийцы — влиятельное идеологическое течение в русской эмиграции. Издавали книги, журналы, еженедельники.

то. Говорил отменно умно, в одном месте подчеркнув, «как сказал выдающийся русский писатель Кундышин». Вышли мы на улицу группой. Я при входе еще купила очередной номер недолговечного «Ухвата», в котором сотрудничали Ремизов, Дон Аминадо, Тэффи, Д. Кобяков и другие, и шла тихо, не смея открыть рта в присутствии таких светил. Мирский принимал похвалы. В. Н. Ильин вздымался и падал в метафизические дебри. Наконец, кто-то в замешательстве спросил, с редким для него смущением: «Прости, Дима, я что-то не могу вспомнить, кто был Кундышин». Святополк-Мирский важно: «Совсем не был, я его выдумал».

Встречала я у Ремизова и интереснейшего философа, Петра Стремоухова. Из женщин помню барышень, по прозвищу, данному им Ремизовым, «Птицы», бескорыстно пекущихся о Ремизовых, которые, видимо, благодарности к ним не чувствовали. В их присутствии жаловались и плакались, когда их не было — издевались над ними очень ядовито. Я даже раз не выдержала и сказала : «Ну вот теперь я знаю, как вы говорите обо мне, когда меня нет».— «Ну что вы, что вы, вы совсем другое дело!» — успокаивал меня А. М.

Когда Ремизовы жили в Булони, дорога к ним шла вдоль Булонского леса, и всегда меня провожал кто-нибудь из приятелей. Но Ремизовы очень не любили, когда дружбы заводились не по их почину. Такую дружбу они старались расстроить и редко приглашали вместе людей, которым было бы приятно у них встретиться. Помнится, что в Булони из кабинета А. М. уже была изгнана всякая «чертовщина», так, немного осталось уже, но все, особенно впервые приходящие, по старой памяти таскали хозяевам каким-то дикие дары, фетиши, которые бесследно исчезали. В тридцатых годах Ремизов увлекался рисунками, чрезвычайно интересно сделанными. Я помню «Толстого в аду», который был поистине ужасен, и иллюстрации к «Снам» Тургенева — охотник с ружьем, а вместо зайцев и дичи — голые ребятишки.

Страсть к мистификации была так сильна у А. М., что я все время была настороже, как бы не попасться впросак и не поверить провокационному рассказу. Такие вещи жестоко разглашались. Алексей Эйснер был одним из редких людей, не попадавшихся на провокации А. М., и с твердостью избегал всякой утилизации. А так чужие люди перевозили книги, бегали за карт д'идентите *, чинили мебель, мыли посуду, вывозили Ремизовых на балы писателей и на лекции, устраивали продажу книг и рисунков — кто во что горазд...

* Удостоверение личности *(фр.)*.

Если я ничего не привозила из Брюсселя, А. М. упрекал меня: «А вот вы пряничка-то забыли привезти. Они у вас в Брюсселе вкусные, и папиросы дешевые». Все знают, что уже в Москве Ремизов одевался как-то особенно, подчеркивая свою убогость. И к графине де Панж он пошел, старательно приодевшись так, чтобы «кричала бедность», его вид графиню прямо поразил.

Три дня спустя после убийства Горгуловым президента Думерга я была у Ремизовых. Алексей Михайлович рассказывал, как в этот день у него болели зубы и как, завязавшись, пошел он в зубную клинику, а когда шел обратно, все уже кричали на улицах, что русский убил президента. «Господи — думаю — что же это такое начнется. А вдруг догадаются, что я русский... и бить». В этот день говорилось о приезде Ремизовых в Бельгию, куда их пригласил погостить поэт и переводчик русских поэтов, Роберт Вивье, женатый на русской татарке Зените, сын которой от первого брака стал впоследствии известнейшим в мире вулкановедом — Гарун Тазиев.

«Зинаида Алексеевна, вы уж помогите, чтобы паспорт мне выдали. Я ведь по-французски не говорю — а они не понимают».

Был там и Эйснер, и возвращалась я в этот вечер с ним. Он сердился: «Ну что вы ему верите! Ему паспорт скорее выдадут, чем нам с вами, и наверное он чудесно изъясняется по-французски. Это просто у него система: зачем самому работать, когда можно найти дураков».— «Спасибо».— «Не за что, я ведь о вас думаю».

Я думаю, что Ремизов был чрезвычайно умный человек, но вот этот изъян, не изжитое уязвление детства стали ему развлеченьем, его местью. Унижение его было паче гордости, но знал, кого можно в открытую третировать, а кого — тайком. Кому и покадит, сейчас же уже выдумает, как его впоследствии и высмеять, и чем беззащитнее и преданнее был ему человек — а сколько таких вокруг него бывало,— то над таким издевка была первым делом.

Пока я писала вот эти мои воспоминания о Ремизове, мне вдруг как-то открылось, что то, что делало его совершенно отличным от других русских писателей, с которыми мне пришлось встретиться,— это что Ремизов в сущности был единственным из них, который мог бы быть персонажем Достоевского, одним из униженных и оскорбленных, с его горделивым приниженьем и духовным изломом. В нем уживались подлинная трагедия и шутовство, жалость к человеку и издевка над ним. Он был человеком подполья.

«Я чувствовал в эти минуты конвульсивные боли в сердце и жар в спине при одном представлении о мизере моего костюма, о мизере и пошлости моей шмыгающей фигурки. Это была мука мученическая, беспрерывное невыносимое унижение от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха перед всем этим светом, гадкая, непотребная муха — всех умнее, всех развитее, всех благороднее,— это уж само собою,— но беспрерывно всем уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная» (Записки из подполья).

Уступчивость же А. М. только видимая. «Что от меня зависит на земле? — пишет Ремизов в «Мышкиной дудочке».— Ничего. А стало быть, никакой власти. Моя воля со мной».

Думается, что найдется множество совпадений между словами героев Достоевского и словами-признаньями Ремизова.

Беру еще одно для примера: «А что ж? и в зубной боли есть наслаждение,— отвечу я.— У меня целый месяц болели зубы; я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслаждения — он бы и стонать не стал» (Записки из подполья).

А Ремизов в «М. Д.»: «А загнанный я чувствовал себя на месте, и это мое чувство пронизывалось болью. Я понял, что только загнанный я и живу, и для меня стало «жить» и «боль» одно и то же. И когда не было боли, я как бы не жил на свете».

И вот так, перед всеми унижаясь и презирая тех, перед которыми он унижался, находил свою свободу Ремизов, в сущности, самый загадочный из писателей, которых довелось мне увидеть. «Страдание — да ведь это единственная причина сознания»,— утверждает человек из подполья; и дальше: «...сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастие, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения». Сила Ремизова была в сознании и приятии страдания.

ПИСЬМА А. М. И С. П. РЕМИЗОВЫХ

(Из Парижа в Бельг. Конго)

(На почт. штемпеле: 9/12—1926, получ. 5/3—27)

Дорогие Зинаида Алексеевна и Святослав Святославович, не потому, чтобы не ответить немедленно, а потому, что адрес написан — ничего не поймешь.

У меня от Вас теперь две марки (30 см. и 1 фр.), если есть в 20, налепите.

Переехали на другую квартиру, очень было трудно, да и теперь не легко.

Пишите! Серафима Павловна кланяется вам обоим.

А. Ремизов

26/4—32

Дорогая Зинаида Алексеевна,

мне говорил Очередин, что Вы будете в Париже в начале мая. Хочу попросить Вас, привезите мои «картинки». В мае выставка чешских-рус. писателей в Праге и хотел бы кое-какие из тех, что у Вас, послать на выставку. Жаль, что со Слонима не сделан фотограф. снимок.

А. Ремизов

21/10—32

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Спасибо: 25 фр. получил. Я был очень болен и только теперь понемногу прихожу в себя, т. е. могу думать не только о своей боли.

С. de Pange [1] мне ответила, я ходил по ее письму, но пока результата еще никакого нет. Написал и послал книги В. С. Нарышкиной [2], это еще летом, но ответа никакого.

О вечере в «К. Р. Е.» [3] боюсь сейчас говорить. И прежде всего надо знать их условия. Иначе как же и с чем сообразо-

---

[1] Графиня де Панж, правнучка Мадам де Сталь, сестра нобелевских лауреатов по нуклеарной физике, герцога и князя де Брой.

[2] Дочь министра Витте.

[3] Клуб русских евреев.

ваться. Спрашивал Осоргина: он получил 700 фр., т. е. 1/2 сбора. Забыл спросить: *о дороге и гостинице (для меня).* (Для поездки надо возобновить паспорт, и один я не могу ехать, только с Серафимой Павловной).

Узнайте и напишите мне.

А приехать могли бы в ноябре, только не 13-го.

Вечер лучше всего делать в субботу.

А. Ремизов

Кланяйтесь Святославу Святославовичу. Поклон от Серафимы Павловны.

Адрес Кнута: Monsieur Eberlin pour Д. К. (Довид Миронович) 12, square du Port Royal, Paris 13°.

18/5—1933

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Надеются отходить[4]. (Лежит в госпитале Кошан.) Что была за ночь, еще не знаем. Не мытьем, так катаньем, но это наша общая участь. Нет денег. В этом все. Собираются большие деньги для несуществующих организаций — «жертва» для самоутешения, я в эту «помощь» не верю, только индивидуальная может действительно «поддержать». А для этого надо смотреть, слушать и слышать. Говорю это по опыту: что бы ни говорили, ничем не поможешь. Так и с Болдыревым. А ведь какие пропускаются деньги на благотворительность!

С Comtesse de Pange я познакомился. Она деятельная, только у нее очень мало возможностей. А Нарышкиной я прошлым летом написал и книгу ей отправил — и никакого ответа. Нет ли у Вас еще кого, куда сунуться?

Если поправится, надо ему отдохнуть. Ведь он как не выспавшийся. Хотя бы ему к вам, в Бельгию, проехать. Все рассуждаю сам с собою: как человеку можно много помочь и дать силы самое тяжелое вынести. Но без денег ничего нельзя сделать.

А. Ремизов

Поклон от Серафимы Павловны.

29 мая 1933 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна, вчера похоронили Ивана Андреевича. Отпевал его о. Флоровский очень хорошо, так

---

[4] Ивана Андреевича Шкотта (Болдырева), покончившего жизнь самоубийством.

что терялось и то, что только 2 человека пело. Вчера начали и кончили его отпевание пением «Христос Воскресе»,— и это напоминало; что смерти нет. Потом отвезли его на кладбище Thiais, где и похоронили. Был ясный день и небо голубое. Народу было немного, в церкви человек 30 и на кладбище — 10, кладбище очень далеко. Но цветов было много. О письмах, оставшихся после него, я выясню через несколько дней (много путаницы из-за того, что никаких родственников и много формальностей), если будут Ваши письма, будут Вам возвращены. Я думаю подождать писать матери, сначала надо все выяснить, чтобы ее лишний раз не тревожить.

Вы писали, что приедете и придете к нам в воскресенье 11-го. Да, мы будем дома в этот день, но «Воскресенья» отменены уже с сентября по некоторым важным причинам, о которых на словах сказать надо, сейчас трудно писать. Вы у нас в воскресенье никого не встретите, но зато если хотите именно к нам, то так и лучше.

Итак, до свиданья, будем дома в воскресенье 11-го (Троица) с 8 ч.

Всего доброго

С. Ремизова-Довгелло

6 декабря 1939

Дорогая Зинаида Алексеевна, спасибо Вам за память, за присылку книжки[5], которую я читала во время болезни (простудилась), очень было приятно. Да, 10 лет прошло со дня нашей первой встречи, когда Вы здесь были весной, а к нам не зашли, я подумала: вот и прервано, что-то произошло и, должно быть, кто-то темный прошел между нами, но книжка сказала, что то, что завязалось 10 лет назад, осталось. Когда приедете сюда? Мы бы хотели летом (если доживем) поехать в Бельгию на месяц,— говорят, там дешево. Что Вы думаете об этом? Ал. Мих. кланяется и благодарит. Привет от нас Свят. Свят.

Ваша Ремизова-Довгелло

---

[5] Моя книга «Une Enfance», вышедшая в Париже в 1939 г.

21/6—1956

Дорогая Зинаида Алексеевна,

я думаю, следует отложить до будущего года мое французское «погребение заживо» [6] — в этом году нет никакого основания,— в будущем 1957 — мне исполнится — 80 лет (Ночь под Ивана Купала 24 июня 1877 года) и 55 лет моего литературного труда (8 сентября 1902 года), и я надеюсь, выход у Галлимара моих Подстриженных Глаз (Les Yeux Tondus), а сейчас, если Вы разогнались,— сделайте вечер Б. К. Зайцеву, ему 75 лет от роду (в этом году) и 55 — литературной деятельности — или помяните Шмелева.

А главное, надо время, чтобы все собрать, а сейчас и месяца не остается — что можно сделать за это время? В июле ничего сделать нельзя — abgeschlossen *.

Зайдите, жду в воскресение, чтобы Вам устно еще подтвердить мое слово-решение.

Алексей Ремизов

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАД МОГИЛОЙ БОЛДЫРЕВА-ШКОТТА

Когда гроб показался во дворе Монпарнасской церкви — медленно и важно, а этот двор мне, как тюремный в Таганке, я вспомнил — вот точно так же Шкотт вошел к нам на Villa Flore, где мы жили в этом дощатом гробе, как тогда в его очень узком, но опрятном пиджаке,— «глядела бедность».

Последние дни Пасхи — «Христос воскресе», с которого начато и кончено отпевание, и за этим необычным — пасхальным — и при виде черным покрытого и бедными цветами, но цветами! гроба — не чувствовалось смерти. И только там, на дальнем, открытом, как среди пустого поля, Тиэ, когда в одну из узких, рядами заготовленных ям упали первые комья — твердый ком за комом — земля о деревянную крышку гроба,— этот обратный звук вскрику человека, впервые увидевшего свет,— последний безответный из мира, я всем существом моим до дрожи ощутил глухой и непреклонный голос смерти, но и понял, что уж больше не надо

---

[6] Прием в ПЕН-клубе, уже подготовленный.

* Окончательно *(нем.)*.

«думать», по крайней мере весь кошмар верональной температуры кончен... а о снах в бестемпературном «смертном сне» я не подумал.

Жизнь Шкотта за эти шесть лет с нашей встречи — круг напряженнейших дум, суровый литературный путь, тяжелая физическая работа и тяжкий недуг.

«А ведь и самому упорному надо какую-то передышку! ну, просто выспаться, переменить место,— тогда и в самом тягчайшем недуге освеженные силы дадут надежду!» Это я сам с собой — не могу помириться, чтобы взять так и кончить бесповоротно.

А какие они — крокморы *! засыпали да не совсем — стоят над незасыпанной: «Лопаты на три осталось, завтрашний день кончим!» И догадываться не надо: дал кто-то пять франков — смотрим, а уж все и готово. Дали еще — и уж крест воткнут, цветы кладут, «Такое их мэтье **»,— сказал кто-то. Ну, точно дети.

В память о человеке всегда остается хотя бы и последняя мелочь, но что особенно тронет и станет незабвенным: это тогда, еще в первое знакомство, на Пасху принес Шкотт маленькую ветку сирени, и веткой-то нельзя назвать, а так лапасток какой-то от ветки с белыми звездочками-цветами, ветку, из которой — и я вспомнил, как однажды в Петербурге, тоже на Пасху, прислали нам «добрые люди» корзину с ландышами — «прямо из Ниццы» — и стоила она шестьдесят рублей, как объяснил посланный, а потом уж в Париже я не раз видел такие корзины — удивительные свежие ландыши! — но никогда я не видел и только однажды такую ветку, из которой «глядела бедность», и перед ее болью в вихре моих мыслей и глуби моих чувств осветился стол, комната, Villa Flore, Avenue Mozart — весь Париж. И теперь я все беспокоился о наших последних цветах: ведь крокмору — дело привычное, и не заметит, и не заметишь, сапогом смахнет! — венок от «Технической школы», где последние годы учился Шкотт, к кресту поставили и от креста дорожкой цветы тех, кто в последний раз вспомнил, и вижу, наши — желтые ромашки — память о его материнской родине России, и ландыши.

«В ваших странствиях, Иван Андреевич, дорога привела вас на Villa Flore, в мой мир «по карнизам» и мир «слова», вы ступили на трудный путь «слова», но слово — «слово без денег, будь оно и самым раскаленным, оно бескровно,

---

* Могильщики *(фр.)*.
** Ремесло *(фр.)*.

ничего!» и что я мог и что могу сделать для устройства литературных дел? — ничего. А моя работа — впрочем, разве я мог удивить вас и самой беспощадной требовательностью? — вы такого крепкого корня: вам напролом и упор — наследственная стихия».

Родословие Шкотта — от «старого Шкотта» Джемса, Якова Яковлевича, память о котором долго хранилась на Москве: «Распахать всю русскую землю усовершенствованными орудиями и научить русских детей английскому языку!» — вот с какой затеей приехал Шкотт в Россию сто лет назад. Сын его Александр был женат на тетке Лескова, и в судьбе Лескова семья Шкоттов имела решающее значение.

Имя Лескова Иван Андреевич слышал с детства, но близости никогда не чувствовал. Не Лесков, а Достоевский, и особенно «Необходимое объяснение» Ипполита из «Идиота» и Кириллов из «Бесов», вот куда обращены были глаза Шкотта.

Умный, а это большая редкость, начитанный, и это не часто, не пустой человек и не легкий — ответственный, и без этой «шутливой беззаботности», хорошо читал и хорошо смеялся... и большой искусник — делал тонкие миниатюры на слоновой кости и решал головоломные задачи, он добился бы своего и стал бы в литературной работе мастер.

Весной 1927 года перед своей поездкой в Нормандию на работу в Коломбеле в первую нашу встречу Шкотт принес сказку в стиле Леонида Андреева, беспредметную, где действуют Электрон, Океан и Голоса. Но в разговоре выяснилось, что у него есть русская память — повесть «Мальчики и девочки», погребена в «Современных записках», а, кроме русской памяти, есть и наблюдения над «живой жизнью» русских в Париже — ряд рассказов: «Пирожки Ивана Степаныча». С этих «пирожков» и началось его литераторство под фамилией Болдырев.

На металлургическом заводе, где работа была очень деликатная — «постоянно на сквозняке или иногда приходится под дождем все восемь часов», а после работы в комнате-казарме на четырнадцать человек, Шкотт «настойчиво и упорно» писал «Цветную сумятицу» — его третья тема: «сон и безумие».

«Мальчики и девочки» вышли в 1929 году отдельной книгой в издательстве «Новые писатели» — «Москва».

Но ни «сон», ни «пирожки» не вышли и продолжения не появлялось,— впрочем, где и появиться? А тут еще «требовательность к себе» и «ответственность» — наварзать-то легко и даже очень, Шкотт очень хорошо понимал всю сме-

хотворность и всю жалость звания «искусственного» писателя или славу «киноматографического» мотылька.

С кладбища нас вез товарищ Шкотта дальними путями, но дорога не показалась утомительной: говорили о Шкотте и его судьбе — невеселое решали — и какой это холод и черствость — круг человеческой доли — на глазах погиб человек! — и со словами руки у меня горели. На набережной недалеко от Сен-Мишель автомобиль приостановился — затор — я заглянул в окно: седые, еще седее показались мне камни Нотр-Дам! — и вдруг на узком тротуаре среди локтями пробивающих себе дорогу... и я узнал ее — «глядела бедность» — это моя — неразлучная сестра со всей ее болью, гневом и моим несмирным смирением.

Алексей Ремизов

О ДИКСОНЕ

«Диксон был религиозный — верующий и сознающий всю ответственность своей веры... Я понимаю в медленном искусном письме, а Диксон писал твердо и крупно, и украшая заставками и концовками, слово проникает больше, чем в мысли. Он переписал евангелие от Иоанна и несколько псалмов. Под Пасху, в Рождество и на праздники мы втроем бывали вместе в церкви».

Алексей Ремизов
1.11.1930

(Предисловие к посмертной книге Диксона «Стихи и проза»).

Владимир Диксон родился в Нижегородской губернии в 1900 году. Его отец был американец, приехавший в Россию в 1895, мать — русская, Людмила Биджевская. В. Диксон успел окончить подольское реальное училище в июне 1917 года и с родителями поехал в США, сперва учился в Massachussets Institut of Technology, затем в Гарварде получил степень магистра.

В 1923 году поступил на завод Зингера во Франции. Умер в американском госпитале Нейи в 1929 году от эмболии.

В последних стихах своих, написанных за 10 дней до смерти, он писал:

Если сегодня в последний раз
Вижу солнце и звезды и сына,

И не обрадует жадных глаз
Родной земли скупая равнина...

. . . .

Что на дорогу могу сказать?

. . . .

Прошу прощенья у оскорбленных
У всех обиженных, раненных мной,
Прошу прощенья у далей зеленых,
У далей снежных земли родной.

РУССКИЙ МОНПАРНАС

Русский Монпарнас в 1925 году только зачинался — и именно в этом году познакомилась я наконец с поэтом, который совершенно отвечал моему представлению о поэтах. Это было на Морском балу. Кто-то из гардемаринов, меня на него пригласивших, представил мне красивого, с тонкими чертами, черноволосого молодого человека: «Владимир Смоленский». Смоленскому было тогда 25 лет, и задумчивое и бледное его лицо, тембр голоса, весь его романтический облик меня восхитил. Мы начали танцевать. Владимир говорил со мною несколько снисходительно, как старший с младшей, улыбаясь разочарованной своей улыбкой, и, вероятно, на этом балу и кончилось бы наше знакомство, если бы случайно не процитировал он несколько строф из блоковской «Незнакомки», которые я за него окончила. Он удивленно взглянул на меня: «Как, вы знаете Блока? Мы, вероятно, с вами единственные на этом балу, которые верны поэзии».

Володя стал часто заглядывать на мою мансарду, в общежитие, круглое окно которого выходило в монастырский сад, и нечто вроде «амитие амурез *» зародилось между нами. Русская молодежь того времени к половой свободе относилась по старинке, и наша дружба в роман не перешла. Но на память об этих днях дала я Смоленскому серебряный перстень с кораллами, подаренный мне Мариной Цветаевой, которым я дорожила, и, хотя впоследствии мы встречались не часто, дружба наша сохранилась до его смерти. А цветаевский перстень, когда я уже была замужем, а Смоленский стал женихом первой своей жены, его семнадцатилетняя

* Влюбленная дружба *(фр.)*.

невеста, не зная его происхождения, сорвала с его пальца и бросила в траву Люксембургского сада, где он и потерялся навеки. Если этот перстень был талисманом, то только зловещим — если вспомнить о судьбе Марины Цветаевой и о тяжких страданиях, выпавших на долю Смоленского.

Несколько лет спустя, в начале тридцатых годов, вероятно, несмотря на то, что я жила в Брюсселе, я стала членом парижского Союза молодых писателей и поэтов и как-то причислилась, не безоговорочно, к тому, что обозначается «Парижской школой». Следует признаться, что, несмотря на то, что мои стихи, особенно первые, носят отпечаток «парижской ноты», я никогда целиком эту ноту не приняла и была в поэтической жизни молодого Парижа скорее наблюдателем, чем участником ее мистерий.

Иногда собирались мы в задней зале плохенького кафе около Одеона, отравленной запахом, идущим от клозета, находящегося рядом, в ту пору устроенного на турецкий манер. Почти все собиравшиеся были молоды, усталы, плохо одеты и плохо кормлены. Те, кто постарше, успели активно участвовать в гражданской войне, те, кто помоложе,— были свидетелями и жертвами ее жестокости. Груз прошлого и груз бесправного нищенского настоящего давил эмигрантскую лиру. И, в сущности, кроме молодости, за нами не стояло ничего.

Собирались мы позднее и в помещении не менее бедном, но гораздо более живописном, в кафе «Ля Болле», в тупике Ласточки, около бульвара Сен-Мишель. Грязное и тусклое кафе было уже освящено традицией. Со средневековья буйные школяры и клерки Латинского квартала, воры, а может, и сам Франсуа Вийон, хаживали по этому тупику. Да и в наше время темные личности и девки все еще облокачивались на прилавок «Ля Болле».

Через неказистого цвета дверь мы входили опять-таки в заднюю комнату, где, как напоминала нам надпись, бывали до нас Верлен и Оскар Уайльд. Комната быстро окутывалась дымом папирос. Сидя на неудобных скамьях, по очереди читали русские поэты и писатели свои произведения, повергая их и себя на суд своих пэров. Благожелательность в критике считалась слабостью, и, только когда очередная жертва, особенно из новичков, была слишком раздавлена, кое-кто поднимался на ее защиту — чаще всего, как мне помнится, Юрий Софиев или Смоленский. Бывалые же защищались и сами. И пока разливалась прозой, стихом или спором русская речь — внизу, в подвале «Ля Болле», живописно инсце-

нировалась атмосфера романов Франсиса Карко [1]. Французские фальшивые апаши (к тому времени подлинные уже перевелись), в кепках и в нашейных платках, плясали со своими «момами» *, вызывая опасливое любопытство французских буржуа и туристов. На маленьком подмостке гармошкой разливалась «Жава», пелись песни парижских улиц и тряслись и плыли плечом к плечу клиенты и фигуранты этих особых парижских ночей.

Иногда артистично, по тому же Карко, завязывались и ссоры, мелькал нож в руке «апаша», неслась площадная ругань, к вящему удовольствию, смешанному со страхом, посетителей в смокингах и длинных платьях, пожелавших опуститься на «парижское дно». Но ссоры никогда не кончались трагически, ножи были бутафорией — вызов полиции никого не устраивал.

Это были, собственно говоря, еще времена героические. В тридцатых годах «Ля Болле» уже отжило. И встречи происходили на Монпарнасе, уже тоже медленно отходившем в прошлое, уступая место Сен-Жермен де Пре и «Флоре».

Ночные монпарнасские русские сидения чаще всего происходили в «Селекте» или «Наполи». Мне редко приходилось бывать на литературных вечерах, устраиваемых Союзом. Я приезжала в Париж когда придется и иногда даже не успевала сообщить моим друзьям о приезде. Почти всегда все же, зайдя на Монпарнас, я знала, что встречу кого-нибудь в одном из указанных кафе. Ведь все были в те времена бездомными, ютились где-то, куда и позвать никого нельзя было. Кафе было клубом, спасением от одиночества.

Вот двое сидят в «Селекте» и входит третий, затем четвертый, за ним следующие, с одного столика мы распространяемся на другие, под ленивым и нерадостным взором ко всему привыкшего гарсона. Настроение меланхолическое, все безденежные, но те франки, которые имеются, делятся. Если не хватает на вино или алкоголь, то хватает все же на кофе, можно часами сидеть и говорить, говорить, говорить то о важном, то о не важном, кого-то поддеть, вызвав улыбку,— громкий, полнокровный смех не подошел бы к атмосфере. Кто уходит, кто остается до рассвета, так как ночью метро не ходит и пришлось бы брести пешком в разные кварталы Парижа. Говорится об искусстве, о литературных стилях, о Прусте (в эти годы — кто о Прусте не говорит?), о последнем воскресенье у Мережковских, кто как к кому

---

[1] Французский писатель (1886—1959), член Академии Гонкур.

* Девушки *(фр.)*.

относится, о блаженном Августине и о «Любовнике леди Чаттерлей» Лоуренса, о Бердяеве, о самом дешевом способе издать книжечку стихов и, опять, кто как к кому относится. Тут же, на Монпарнасе, завязывались и развязывались романы, происходили ссоры и примирения.

Нельзя забыть и благодетельное присутствие на этих монпарнасских сидениях нескольких материально обеспеченных молодых еврейских женщин, верных попечительниц эмигрантской литературы. Они устраивали балы и вечера, распространяли и покупали билеты, собирали деньги на издания сборников стихов, утешали и подкармливали, иногда и вдохновляли... Об Израиле тогда и разговора не было, была только Россия — и Париж, конечно, как тюлевый занавес над ней.

Годами встречаясь с монпарнасцами, я все же среди них была только «гость случайный», и не потому, что жила в Брюсселе (в Париж наезжала часто), но потому, что с юности чуждалась всяких групп и кланов, будь они связаны со средой, этнией, идеологией или религией, а также и потому, что то, что называлось духом Монпарнаса, было мне чуждо. Несмотря на разноликость и разношерстность Монпарнаса, было в нем все же некое единство, скажем, настроения. Тень «Бродячей собаки», петербургской эстетики предреволюционных лет была в нем ощутима. Этот Петербург — Петроград накануне своего умирания казался мне очень искусственным насаждением на почве монпарнасских кафе. Кроме «властителей дум» молодого поколения, Георгия Адамовича и Георгия Иванова (их влияние распространялось и на Прибалтику — но не Прагу и не на Варшаву), в сущности, петербуржцев среди них не было, больше было уроженцев юго-западного края, и ностальгия их по столице русской империи казалась мне неудачным шаржем, тоже чем-то искусственным и неоправданным. Хоть я и успела провести в Петербурге — Петрограде несколько зим, все же была во мне больше крепкая, черноземная, деревенская жилка, и к декадентству я призванья не чувствовала. Жизнерадостность и твердое намерение противостоять превратностям судьбы были очень в такой среде не модны, и я, вероятно, казалась многим собратьям отсталой деревенщиной.

Сидя на Монпарнасе, случалось, напоминала я окружающим, что «декадентский Петроград» был интересным феноменом в то время, когда русские писатели и поэты жили в своей стране, имели достаточно денег, чтобы не работать чернорабочими, и, как пифии, предчувствовали наступающий развал империи. Мы же были пролетариями самого

низшего разряда, без страны и без прав. Мы не могли позволить себе быть декадентами. Если мы хотим выжить и что-то сделать за нашу жизнь или из нашей жизни — мы должны бороться, только работа и упорство могут нас спасти.

Петербург — Петроград русского Монпарнаса был чем-то похож на «В Москву! В Москву!» чеховских сестер.

Может быть, и был Монпарнас для многих спасением от одиночества — но, несомненно, был в нем и тлетворный дух, слабых соблазняющий.

Почти на глазах моих, от приезда до приезда, могла я видеть, как затягивались в безнадежный его омут новоприезжие. Розовощекая девушка с жизнерадостными глазами медленно превращалась в худую, бледную истеричку, и самый простой, беспроблемный и бесталанный графоман выворачивался наизнанку, чтобы показать свое декадентство.

На других же, как, например, на Анатолия Алферова, душок не действовал; наконец, третьи благоразумно от него избавлялись — и, кстати, выпадали из литературы — тоже ведь дело неверное, хотя и с «душком» совсем не обязательно связанное.

Добровольное заключение себя в какое-то гетто казалось мне преступлением. Мы были в Париже, центре Западной Европы, в новом окружении, среди кипенья новых идей, но вместо того, чтобы и свою лепту внести для ознакомления Запада с русским миром,— мы жили на исчезнувшем материке.

Мысль о том, что Россия, в то время уже, как и теперь, переживает тяжелые испытания, что русских на Западе страшатся или презирают, вызывала и меня на верность ей, но все же помнила я, что у каждого из нас своя жизнь и свои перед миром обязанности. Я как раз начинала тогда мою иностранную писательскую и журналистическую деятельность — и как-то случилось, что в сущности не подойдя «парижской ноте», Парижу я подошла.

Может быть, не вся ответственность за безнадежность, царившую на Монпарнасе, падает на Адамовича. Человек чрезвычайно умный и тонкий, он и сам был не рад — в старости мне об этом говорил — своему могущественному влиянию. Он не рядился в вожди эмигрантского декадентства. У Адамовича было много других интересов — и слушать бесконечные объяснения и «выяснения отношений» интроспективной молодежи было ему скучновато, как скучновато было без конца повторять подробности интеллектуальной жизни Петербурга — Петрограда. По-человечес-

ки — обожанье и уваженье ему льстили, но так же по-человечески ему и надоели.

Еще другое сделало меня подозрительной для Монпарнаса. Мнение и приговор критика Адамовича, как и Георгия Иванова, принимались им безоговорочно. Адамович — как он впоследствии жалел об этом! — с совершенной слепотой в то время «преследовал» Марину Цветаеву и Владимира Сирина-Набокова, которых я считала и в молодости первыми среди поэтов и писателей зарубежья.

Такое свободомыслие мне не прощалось. Благодушнее всех отнесся, по-видимому, к моей ереси сам Адамович, написав в очень краткой заметке об одном из моих сборников стихов, что я обладаю «находчивостью и хорошим вкусом».

Но, конечно, при некоторой «глобальности» и некоем общем тоне, там царствующем, Монпарнас состоял из очень разных людей и потому среди них все же нашлись у меня друзья, которых я, естественно, знала лучше. О других же что, в сущности, я могу написать? Так, беглые впечатления.

Сорок лет прошло со времени Монпарнаса — и не так легко мне восстановить в памяти, под наслоением событий и новых встреч, многих из его сидельцев. Но когда случайно попадаю я в этот квартал, невольно бросаю взгляд на стекла «Селекта». Мне видятся, рядом сидящие, до бесцветности блондин Юрий Фельзен, громко никогда не говорящий, прозаик, пишущий «под Пруста» (но без черного юмора Пруста и его жестокости), длинными, сложными фразами о сложных человеческих отношениях, и черноволосый поэт, Юрий Мандельштам, женатый на дочери Игоря Стравинского, о Монпарнасе написавший:

Папиросный дым в кафе,
Лица, души, люди, стены...

и оба они, да и никто из других не предчувствовал, что им, людям литературы, а не действия, уготовлена черным ветром истории анонимная смерть в нацистском лагере.

Тут же вижу и худого, слегка горбящегося Антонина Ладинского, служащего в «Последних новостях» не то рассыльным, не то телефонистом. Поэт он своеобразный, и ритм, и образы его оригинальны.

Он был тихий, грустный человек, предчувствующий развал Европы.

На светлом лице Европы
Улыбка, печальная тень.

Летит загнанная антилопа,
Спасается в чащах олень.

Прекрасной белой рукою
Европа держит с трудом
Копье, коней и Трою —
Свой тысячелетний дом.

. . . .

Европа средь птичьего гама,
Прекрасен твой черный закат,
Так только высокие храмы
Средь бурь на ветру горят.

Антонин Ладинский после войны вернулся в Россию, где и умер. Да и что было ему делать на Западе? Но не знаю, писал ли он в России стихи.

Добрый приятель мой, Юрий Софиев, всю жизнь зарабатывал тем, что мыл стекла больших магазинов. «Ведь скучно, Юрий?» — спросила я его. «Нет, знаете, ничего, стою на лестнице и читаю вслух стихи, то Тютчева, то Лермонтова». Женолюб и романтик, воспевающий дружбу и военное товарищество, которое участники бранных встреч не забывали (у нас это называлось «говорить, опершись на лафет»).

Мой друг, ты помнишь, было время,
Мы были молоды с тобой,
И под упругою ногой
Небрежное скользило стремя.

. . . .

Уверенно гремели пушки
По Малороссии твоей,
И чернобровые хохлушки
Поили наших лошадей.
Теперь от этих трудных дней
И от всего того, что было,
От мертвых и живых друзей
Освободиться мы не в силах...

Юрий был женат на поэтессе Ирине Кнорринг. Жили они в маленьком отеле, с сыном. Ирина болела —

Я никогда, должно быть, не смеялась,
Со мной всегда и всюду на земле —
Замызганное платье и усталость,
Немытая посуда на столе.

Я никогда не понимала страсти,
Благих чудес на свете не ждала
И самого безрадостного счастья
Я никому с собой не принесла.

На Монпарнасе Ирина Кнорринг, понятно, не бывала, жизни в ней оставалось мало. Она умерла во время войны. А Юрий, отчасти потому, что в Париже терять ему было нечего, а отчасти из-за очередного увлечения очень молодой девушкой, которую мать увозила в Союз, вернулся на родину. Перед его отъездом мы встретились, в последний раз, у Буниных. Я его не отговаривала. Пока он в Германии, в лагере возвращенцев, ждал отправки в СССР, в другом лагере, в той же Германии, его брат, «откатившийся» из Союза, ждал разрешения остаться на Западе.

Бывал на Монпарнасе, но держался несколько особняком и умный писатель осетин Гайто Газданов, человек не по-кавказски сдержанный, по тогдашней профессии шофер. Мне кажется, он первый написал по-русски роман с французскими персонажами, «Вечер у Клер».

Появлялась и чудесная пара: поэты Анна Присманова и Александр Гингер, люди сложные. Обликом походили они несколько на химер, но по своему духовному облику существа были серафические, вечно ищущие (Гингер умер буддистом). Поэты тоже сложные и без косноязычия. Друг друга они называли торжественно по имени и отчеству.

Не забывайте перстень Поликрата:
Ведь незабвенная моя душа
Вконец раздета, брошена двукрато,
А вот вернулась, тяжело дыша...—

писал Александр Гингер.

А Анна Присманова признавалась:

Ах, не легко домину бытия
Построить на лесах стихотворений,
И полное лишь в сказке, знаю я,
Ждет замарашку удовлетворенье...

В 1957 году, вернувшись с мужем из Москвы, я привезла с собою стихи Пастернака (из «Доктора Живаго») и через Померанцева Гингеры попросили меня к ним прийти и их прочитать. Это было мое последнее свидание с Гингером и Присмановой.

К «природным» парижанам присоединялись понемногу и новоприбывшие: из Белграда — Илья Голенищев-Кутузов (впоследствии вернувшийся в Россию); из Прибалтики —

всем понравившийся простотой и естественностью, да и энергией, Борис Вильде (Дикой). Вильде бывал на Монпарнасе, но без промедления вошел и во французский мир — через серьезные университетские занятия; из Берлина — серьезные литературоведы [2], среди них Михаил Горлин и Раиса Блок. Судьбы этих трех последних были по-разному, но одинаково трагичны. Борис Вильде, вместе с Левицким ставший во главе одной из групп Резистанса, был немцами расстрелян, Горлин и Раиса Блок разделили участь Фельзена и Мандельштама — погибли в лагерях, если можно так сказать, безвинно. И может быть, легче было умирать Вильде, сознательно шедшему на опасность, на подвиг.

Кое-кто, особенно из женщин, мечтал о «роскошной» жизни, но не многие. Случалось, мечты эти отображались довольно наивно. Так, одна писательница заставила свою героиню «задумчиво жевать устрицы», в последнем варианте все же исправив и научив ее их глотать, пусть и задумчиво.

Маленький, худенький, смуглокожий Довид Кнут жил нелегко. Сперва был рассыльным в каком-то предприятии, затем открыл свое дело, которое твердой рукой вела первая его жена, Сарра. Он первый воспел «особенный еврейско-русский воздух — блажен кто им когда-либо дышал». Но, провозглашая себя иудеем: «Я, Довид Ари бен Меир!», тоже чувствовал ностальгию по Петрограду и после библейских тем обращался к типичному для русского Монпарнаса тону:

Отойди от меня, человек. Не пытайся помочь.
Надо мною густеет бесплодная тяжкая ночь...

Сам же Довид был живой, приятный собеседник, не лишенный чувства юмора. У меня с ним были хорошие отношения. Помню, раз как-то, часа в два ночи вышли мы последними из «Наполи», Кнут подвыпил — голова была, впрочем, свежей, а вот ноги ослабели. Идти же ему к себе было далеко. Он пошарил в своих карманах, я в своей сумке. На такси нашлось достаточно. Прислонивши Кнута к дереву, я махнула рукой проезжавшему таксисту. Он оказался русским. «Вот поэта надо отвезти домой, возьметесь? Это Довид Кнут».— «Ну как же, как же, я его слышал на вечерах, хороший поэт!

[2] О берлинцах нахожу в письме Бориса О. ко мне в 1933 году: «Часть места в кафе занимает выводок „берлинских поэтов“, главная достопримечательность которых — собственные автомобили, на которых они порой возят поэтов парижских, но парижские все никак не считают их парижанами и говорят: „вы“ и „мы“. Да и то: у берлинцев свои, семейные, провинциальные замашки...»

Не беспокойтесь, доставлю, если надо, то и до квартиры доведу».

Случай этот я припомнила Кнуту, когда он что-то бормотал о том, что революция лишила его всероссийской славы: «Право, Довид, кому-кому, а вам жаловаться не приходится. Сидели бы в своем Кишиневе и торговали бы мамалыгой, а очутились в Париже, мировом городе, где слава ваша достигла и до парижских шоферов». Он нисколько не обиделся.

* * *

Периодическими были и мои встречи с самым талантливым — даже с несомненными признаками гениальности — монпарнасцем, Борисом Поплавским. Думается, что, несмотря на врожденные данные к самоуничтожению, дух Монпарнаса сыграл все же в его судьбе значительную роль. Не нашлось там человека, который мог бы его спасти. И много нарочитого было в его поведении. Редко с ним встречаясь, я каждый раз видела его в новой роли. Когда познакомились, он решил проводить меня куда-то и сразу же, вглядываясь через стекла черных очков, заявил: «А знаете, мне приятно идти с Шаховской! Мы из купцов, так вот как-то лестно, И под ручку взять вас можно». В одной из книг, ему Алферовым одолженной и которую Алферов мне передал, я нашла забытую среди страниц записку Поплавского к какой-то девице: «Приходи, надо увидеться, у меня раздвоенье личности». Я посомневалась, чтобы люди с двоящейся личностью отдавали себе в этом отчет. А в следующий мой приезд Поплавский выступал в роли спортивного молодца, бодро говорящего мне о боксе: «Попробуйте мои бицепсы» и о том, как не так давно, гуляя рано утром по берегу Сены, он увидел бросившегося в воду самоубийцу и спас его: «Такая злоба была во мне к этому дураку, что мне хотелось кулаком его ударить».

Но в этом же году писал:

Европа, Европа, сады твои полны народу,
Читает газету Офелия в белом такси,
А Гамлет в трамвае мечтает уйти на свободу,
Упав под колеса с улыбкою смертной тоски...

Было ли это просто плохой привычкой или патологией, но отношения с Поплавским даже его друзей усложнялись его неудержимой приверженностью к лжи. Все было в нем

гримом, и различить его подлинные черты под этим гримом не удавалось. Талант его рос из хаоса. Мировоззренья у него не было и быть не могло, были настроения — но дух поэзии дышит, где хочет, и из хаоса ракетой взлетали чудесные и ни на чьи не похожие строфы.

Даровой бунт или бесцельное безобразие прорывались у Поплавского частенько. Недаром он называл своего героя, своего альтер эго, Аполлон Безобразов, очень метко объединив красоту и уродство в этом имени...

Мне помнится один из балов, устроенный в пользу Объединения молодых писателей и поэтов в залах Русской консерватории на тогдашней набережной Токио, теперь — набережной Соединенных Штатов. Народу было много, сбор обещал быть хорошим, добрые дамы-попечительницы потрудились над буфетом. Много было натанцовано и много выпито. Не один Поплавский был пьян, чего греха таить. А почетным гостем на этом вечере был киноактер Инкижимов, прославившийся фильмом «Буря над Азией».

Под утро залы опустели. А в заднем зале, в приятном для него уединении со своей дамой, сидел Инкижимов. Вот туда забрел случайно Поплавский и пригласил даму на танец. Дама вежливо приглашение это отклонила. Поплавский настаивал. Наконец Инкижимов заметил: «Да молодой человек, вы же видите, что дама танцевать не хочет?» На что Поплавский, размахнувшись, ударил по лицу почетного гостя. И, сразу протрезвев, вернулся в большой зал, где находились главным образом члены Союза, где и рассказал о случившемся. Всей группой начали обсуждать событие. Дело мое было маленькое, я ведь была приезжая, но все-таки позволила себе заметить, что поскольку свидетелей происшествия не было, что Инкижимов даже не покинул Консерваторию, то лучше всего сделать вид, что ничего не случилось. Георгий Иванов как признанный авторитет столичных приличий с этим не согласился и решил, что все члены Союза, мужчины и женщины, должны отправиться сразу же к Инкижимову и принести ему публичное, коллективное извинение. Группа двинулась в соседний зал, куда я не пошла. Через несколько минут оттуда вышла вся литературная братия, страшно возбужденная и возмущенная. Инкижимов же спешно уводил к выходу свою даму. Не помню кто громко сказал: «Бить его надо!» Оказалось, что Инкижимов, сидящий со своей дамой на том же месте и продолжавший с ней нежный разговор, услышав коллективное извинение: «Мы чрезвычайно сожалеем о том, что вас оскорбили действием» — встал и по-русски выругался.

Так жили поэты, читатель и друг,
Ты думаешь, может быть, хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?

Конечно, не только за границей, но и в самой СССР и обыватели и поэты пытались вылезти из лужи или болота с помощью зеленого змия — но блоковское соблазнительное высокомерие в стихотворении «Поэты» напрасно делает из смерти под забором условие поэтического ремесла и творческой жизни. Не знаю, необходимо ли беспутство для гения, или талант, по Бальзаку,— «долгое терпенье». Можно ли было что-нибудь сделать для спасения Поплавского, вырвав его из нищеты или поместив в другое окруженье,— тоже не знаю. Без внутреннего усилия самого человека вряд ли это было возможно. Так и метался Поплавский от богоискательства к кощунству, от поисков чистоты к распутству, идя к своей гибели,— но в небрежных, кое-как написанных стихах и страницах всюду полыхает ослепительными зарницами подлинная, вечно живая поэзия.

Долго Ангел медлил умирая,
А над ним горела роза рая...

* * *

Как я уже писала, Владимира Смоленского я знала раньше Монпарнаса. Он часто бывал там после скучной бухгалтерской работы, которая обеспечивала жизнь ему и его семье. Пил много, заглушая свою тоску, раздираемый ненавистью к коммунизму, разрушившему страстно любимую им Россию:

Проклинаю вас и вашу власть,
С Богом — против Бога,— проклинаю
Вашу радость, вашу боль и страсть,
Ваш беззвездный путь к земному раю,

заявляя свое единство с народом:

И сливается голос мой
С голосами глухими народа
Над его огромной тюрьмой,
Над тесной моей свободой —

и жалость к жертвам:

Они живут — нет, умирают — там,
Где льды и льды, и мгла плывет над льдами...

Романтическая его внешность, прекрасный голос, чистая его лирика сделали Смоленского любимцем публики, посещающей вечера поэзии. Его лирику ценил и Ходасевич, совсем не «монпарнасец», человек трудный и взыскательный.

Утверждаю, Смоленский был человек глубоко порядочный — ни в каких литературных склоках не замешанный — и благородный. Утверждаю я это потому, что во время второй мировой войны Владимир Алексеевич хоть и чувствовал бóльшую ненависть к коммунизму, чем к тем, кто с ним боролся (за что и подвергся, когда война закончилась, остракизму непримиримых, обвинивших его в «германофильстве»), с немцами не сотрудничал, никого никогда не выдал, продолжал жить в бедности. Его право было думать иначе, чем я. Плоха наша любовь к свободе, если инакомыслящие нам враги.

Умирал Смоленский долго и мучительно от рака горла, в смиреньи и раскаянии. После операции, несколько продлившей его жизнь, он не мог говорить:

Перерезали горло,
Бьют в несчастное сердце
. . . .
Дай мне, Господи, силы
. . . .
Чтобы ясно и просто сказать
У преддверья могилы,
Что бессмертье и радость
У любви никому не отнять.

До последнего вздоха Смоленского любовь у него отнята не была. Вторая жена его, Таиссия, несла подвиг любви и веры.

Я любил на земле свободу,
Одиночество и стихи —

написал перед смертью Смоленский и закончил это стихотворение так:

Вот великая Бога щедрость:
На любовь он мне дал в ответ
— и в награду — такую бедность,
Богаче которой нет.

* * *

В своей книге, посвященной своим и моим современникам, «Незамеченное поколение», в четвертой главе Владимир Варшавский обрисовал тот вакуум, в котором оно находилось. Думается, что в этом была и доля вины старшего поколения, его равнодушие к младшему.

Георгий Адамович и Георгий Иванов — без присутствия которых, пожалуй, Монпарнаса бы не было или он был бы другим — и сами были не благополучные люди (особенно Иванов) и морально помочь своим поклонникам не могли; влияли на дух и литературный стиль Монпарнаса, но выход предложить было не в их силах.

Старшие писатели особого интереса к новому поколению не проявляли — за исключением Ходасевича, хоть и бывавшего на Монпарнасе, но стоявшего к «Парижской ноте» в оппозиции.

Впрочем, другое отношение было у Мережковских, у которых каждое воскресенье собирались монпарнасцы. На одном из этих воскресений была и я, приведенная А. Алферовым. Почему только на одном? Да потому, что мне ни хозяева, ни атмосфера не понравились. Маленький, худенький Мережковский — прозрачные глаза, фальцет — с его вечными тезами и антитезами, частенько прерывался Зинаидой Гиппиус. Она была тут главной жрицей. С уже не поживому рыжими волосами, с уже бывшими зелеными глазами — лорнет — она высокомерно ощупывала, рассматривала, расценивала своих посетителей, даже не без брезгливости. Умна она была — это замечалось сразу — до чрезвычайности и ядовита, за что и была прозвана Ге-пе-ус. Ее меткие определения личностей запоминались надолго. Я не была поклонницей ее поэзии, прекрасно сделанной и умной, но... без божественной искры, огня, т. е. без сути поэзии. Едкие статьи Антона Крайнего обижали, но били мимо. Зинаида Гиппиус была сильной и оригинальной личностью, сыгравшей роль катализатора в русском литературном и философском обществе конца и начала века.

Бездомные гости слушали с осторожной почтительностью хозяев этой почти барской квартиры. Холодом веяло от знаменитой четы. Салон на улице Колонель Бонне был развлечением Мережковских, отголоском их петербургского значения, кружком почитателей, на который могла распространять свои чары Зинаида Гиппиус. В плане интеллектуальном — посещение Мережковских, конечно, могло быть плодотворным, в плане же сердечного

участия или практической помощи — это был тот же вакуум.

Я, конечно, не совсем уверена, что молодым нужны опекуны,— но никогда русская муза не находилась в такой нищете и сиротстве, как в Париже этих годов. Старших писателей это как будто не волновало. Правда, что и сами они жили трудно и бедно. Бедны были и их зарубежные читатели, книги выходили малым тиражом. Но помощь все эти известные писатели все же получали от тогда существующих общественных русских организаций, от короля Александра, от чехословаков и болгар. Их в первую очередь и печатали в зарубежных газетах и журналах. Кроме благородного труда писательства, они ничем, для побочного заработка, не занимались, не делали попыток (кроме Алданова, Замятина и Набокова) как-то приобщиться к западному миру или даже научиться иностранному языку; так и перебивались, поддерживаемые самоотверженными до предела женами, безропотно сносившими тягости жизни и оберегавшими их творчество. И все же, при этом мизерном благополучии, может быть, следовало бы тем, кто был на вершине эмигрантского Олимпа, хоть морально поддержать вот этих новых, пусть даже на них не похожих, по теперешней терминологии «отчужденных».

Это «отчужденье» — было ли оно порождено только внешними причинами, только «другими»? Париж, как и все столицы,— город жестокий, глухой. Через стену равнодушия надо пробиваться, как герои Бальзака, напором, идти на приступ. А если есть что сказать — не только за себя, но и за других, как выпало на долю эмиграции,— то это все же общий долг. Были бы услышаны голоса монпарнасцев, если бы они постарались докричаться до Запада, не замкнувшись в себе, а обернувшись к нему лицом, т. е. войти в контакт? Не спорю, первой эмиграции это было труднее, чем третьей. Люди, бежавшие от «прекрасной» революции, не могли не быть, думали здесь, врагами народа.

И все же чудом все зарождались новые сборники и журналы, кратковременные свидетели эмигрантского культурного действия. Альманах «Круг», затем «Числа», созданные на деньги Александра Бурова предприимчивым Н. Рейзини... Оба сборника очень отражали «парижскую ноту». «Числам» я была еще менее своя, чем «Объединению молодых писателей и поэтов». Когда «Числа» уже тихо агонизировали, то Л. Кельберин, сам в них участвующий, писал, например, в довольно запутанной статье о них такое:

«Человек 30-х годов (подразумевая, по-видимому, «численцев») есть человек всяческих отрицаний. Но так как отрицания эти не являются плодом критического разума, а вытекают из оскорбленной ограничениями глубины жизни, то их, в сущности, можно назвать отрицанием ограничений».

И дальше:

«Отрицание ограничений не есть ли в сущности отрицание нашей жизни, не есть ли оно воля к смерти?»

(Полярная звезда. 1935)

Понятно, что не только «Числа» мне не подходили, но и я им не походила.

«Отчужденность» не была моей участью просто потому, что я, по своему выбору, ни к каким интеллектуальным группировкам не принадлежала и друзей находила в самых разных и часто враждующих между собой тенденциях. Так, Иван Шкотт (Болдырев) и Анатолий Штейгер были во всем противоположны, друг с другом общались мало, но оба были со мною дружны.

ИВАН БОЛДЫРЕВ

Среди парижских молодых писателей жил, иногда с ними встречаясь в кафе Монпарнаса, но всегда оставаясь в стороне, Иван Болдырев (Шкотт), потомок лесковского Джемса Шкотта. Его трагическая «русская» судьба не была похожа на тоже трагические, но по-иному, наши судьбы. Молодые русские писатели и поэты попали на Монпарнас из самых разных углов России, но ни один из них не успел — в тридцатых годах — узнать тяжесть советской ссылки.

Человек предельно сдержанный, Иван Шкотт о своих переживаниях, о своих трудностях никому не рассказывал. В 1923 году он был студентом московского университета на физико-математическом факультете. Там и стал он членом только что образовавшейся группы чисто академического характера. Группа эта собиралась противодействовать разложению, вносимому в университетскую жизнь студенческой коммунистической ячейкой. Группа была против вторжения политики в академическую жизнь. Участников ее, конечно, арестовали, и 20-летний Шкотт после восьми месяцев тюремного заключения был сослан в Нарымский край.

Свободолюбие, молодость и здоровье помогли ему осуществить фантастический побег в условиях, не имевших ничего общего с побегами ссыльных революционеров царской

России. Спутником его был ссыльный еврей-контрабандист. Оба они прошли, то пешком, то в лодке, сотни верст, остерегаясь каждого, кто мог им попасться в сибирских просторах. Спутник его помог Шкотту перейти польскую границу. В Польше Шкотта арестовали, затем выпустили, и он смог добраться до Франции, где начал работать чернорабочим на востоке Франции. Оттуда, мечтая возобновить прерванное учение, Шкотт перебрался в Париж, где в 1930 году и встретилась я с ним у А. М. Ремизова.

Он поразил меня своей удивительной сдержанностью и необыкновенным упорством в работе и в ученье. Что только он не делал: работал ночью на кабестане, был ночным сторожем, вырезал декоративные пластинки из кости и металла в своей убогой комнате, где сам установил мотор, давал уроки математики и русского языка — и в то же время неустанно читал, писал и учился, записавшись на курсы русской технической школы.

Условия побега тяжело отразились на его здоровье. Он начал глохнуть, боялся, что потеряет и зрение. Тяжелой заботой была для него и судьба его матери, оставшейся в Москве. Из своего скудного заработка Иван Шкотт посылал ей иногда кое-что. Обо всем этом мы, его друзья, больше догадывались, чем знали. Жаловаться на свою судьбу он не умел, а помочь ему было можно — только устроив его на более хорошо оплачиваемую работу; но в те времена тех, кто имел нансеновские паспорта, устраивать было трудно.

Единственная книга Ивана Болдырева (Шкотта) «Мальчики и девочки» была издана в 1929 году в издательстве «Молодые писатели», которым руководил М. Осоргин. Она описывает советскую школу в то время, когда в ней сохранились еще старые педагоги, дивящиеся новым порядкам: «школа ли, вертеп ли?» Но несмотря на разруху, на голод и холод, не об этом ведется рассказ, а об юности, о радости, о любви.

«От века в век стоит камень белый в Москве: шаркали пудреные парики и камзолы, давнишнее-давнее, а на памяти орел, золотые буквы: «Мужская классическая гимназия».

Орла сняли в 18-м; чистый от всего, строгий в колоннах — камень белый.

На железных воротах нынче доска, вычернены молот и серп, вычернено «Единая советская трудовая школа»...

А в школе девочки и мальчики, родившиеся в начале XX века и не знающие, что ждет их впереди, после выпускной «Маевки».

Еще несколько дней — запустеет школа: получат аттестаты, так, никудышные бумаги, одиночками пойдут по Москве, всем городам, по просторной Руси, всей земле — великим и жалким человеческим походом, через человеческие мытарства и утехи — люди дела, люди денег, люди служения и любви: некоторые никогда не станут людьми, никакими, но всякий будет искать свое счастье, всякий по-своему...»

* * *

В субботу 20 мая 1933 года, в Брюсселе, я получила от Ивана Шкотта последнее письмо. 19 мая он принял большую долю веронала. В тот же день зашла одна его ученица и, не достучавшись, ушла [3]. Он был найден, еще живым, только через 36 часов; спасти его не удалось. И до сих пор живет во мне боль, что ничем я не сумела помочь этому умному, талантливому и достойному человеку.

АНАТОЛИЙ ШТЕЙГЕР

С Анатолием, Толей, Штейгером я встретилась впервые в 1920 году, в Константинополе. Были мы погодками, может быть, была я на год старше его, мне было 14 лет. Я училась тогда в американском колледже в Арнаут-Кей; Толя, его сестры, Алла и Лиза, и маленький брат Сережа жили в меннонитском приюте для русских детей, где-то недалеко, насколько мне помнится, от площади Таксим — и оба мы были скаутами. В коротких трусиках, в белой рубашечке, худенький, чуть-чуть горбившийся от худобы, со смуглым, бледным, узким лицом, тонкими чертами, породистым носом с горбинкой и карими глазами на фоне синеватых белков, Толя держался с достоинством и смеялся редко. Дружбы между нами особенной не было, встречались мы на «походах».

Затем Штейгеры поступили в русскую гимназию и с ней уехали в Прагу, а я — в Брюссель и Париж. После моего замужества и возвращения из Экваториальной Африки я стала часто приезжать в Париж и через Владимира Смоленского, с которым подружилась еще в 1925 году, познакомилась понемногу с молодыми писателями и поэтами, тогда еще не монпарнасцами, так как стихи мы читали друг другу

---

[3] М. б., была у него надежда на помощь.

в живописных и неблаговонных кафе «Ля Болле» и «Ирондель», то на площади Одеон, то в закоулке близ бульвара Сен-Мишель. Тогда-то я и стала членом Союза молодых писателей и поэтов. Но Штейгера я там не помню до 1934 года.

Долгое время вся семья Штейгеров жила в самой большой бедности, позабыв о том, что Штейгеры принадлежат к швейцарской, бюргеровской фамилии — кантона Берн и что швейцарское гражданство никогда не теряется. Перестав быть «нансенистами», положение семьи улучшилось немного, и Толя, бывший одно время рабочим, что для чахоточного было очень трудно, смог даром лечиться в швейцарских санаториях.

После встречи, о которой он упоминает, на площади Одеон [4] и началась наша не очень обширная, но интересная по деталям литературной жизни и по заметкам о политических событиях того времени переписка.

Один из самых верных приверженцев Адамовича, Толя, при всякой встрече, не уставая расспрашивал его о персонажах декадентского Петрограда, ловил всякое его слово, забрасывал вопросами: А какая была Ахматова? А что сказал Блок? — что зачастую досаждало Г. В. Он торопился там поиграть в карты, а Толя был тут и все спрашивал и спрашивал... Люди вообще, впрочем, его интересовали и события. Бывший младоросс или, во всяком случае, им сочувствующий, он, хоть и не имея точной политической установки, стал впоследствии несколько леветь, хоть и оставался типичным «бывшим классом» в своей деликатности и тонкости. Прелесть, веющая от Толи, ощущалась такими разными людьми, как Адамович и Дон Аминадо. Короткие, на одно дыханье, стихи Штейгера в простоте и чистоте переросли Монпарнас, то, что казалось обещаньем, стало совершенством. Тихий голос звучит и сейчас. Было у Штейгера острое ощущение жизни и аппетит к ней, как бывает у чахоточных, а также и сознание, с самой ранней юности, что смерть была не поэтической идеей, а реальностью, спутницей всех его странствований.

Стихи Штейгера, с налетом парижской недоговоренности и грусти, относятся к лучшим произведениям «монпарнасской ноты»:

Все-таки нас это тоже касается:
Ландыши, что продают на мосту;
Лица прохожих (их взгляд, что встречается);

[4] См. письма.

Облако; день, что за днем удлиняется;
Русские службы (вечерня в Посту)...—

или:

Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову... (Даже тем словам,
Что говорятся в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся)...

Вечер, о котором идет речь в первом письме Анатолия Штейгера, мне не удалось устроить, слишком мало оставалось времени до его приезда. Вечера устраивались почти всегда Клубом русских евреев — русская колония в Брюсселе, нечего греха таить, в общем была далека от литературы, и круг ее интересов был ограничен.

Анатолий поселился на несколько дней в скромной мансарде нашего дома на улице Вашингтон, где живали и Владимир Сирин (Набоков), и Анатолий Алферов, и Евгений Замятин. Он покорил всех домашних врожденным тактом, отменной вежливостью и живостью разговора. Толя спускался к утреннему завтраку в сетке, приглаживающей его пышные волосы, очень был кокетлив и любил очаровывать. Я водила его по Брюсселю, мы спускались в живописный квартал Мароль, лежащий внизу города, у ног слонового, не по стране, Дворца Правосудия, где толстые и бойкие уличные торговки были черноволосы, носили в ушах цыганские серьги и видом своим напоминали о длительном пребывании во Фландрии испанских солдат герцога Альбы. Мы подолгу стояли перед кружевными камнями домов Большой площади, смотрели на «Маннекенписс» — самого старого буржуа Брюсселя, заходили в кафе, где распивали пиво «ля Гез а ля мор сюбит», то есть внезапной смерти, вспоминали Бодлера, так яростно ненавидевшего Бельгию, и Верлена, ранившего, вот на этой самой улице, Артура Рембо. А затем, как и всех, кто к нам приезжал, повела я Толю в Королевский парк, где совсем инкогнито — непосвященный и не найдет — в запущенном овраге стоит бюст Петра и статуя лежащей в гроте женщины. В альбом, начатый для меня, когда я выходила замуж, «свадебной грамотой» А. М. Ремизовым, Штейгер написал.

...В этот день — его забыть нет силы,—
Когда в Брюсселе, в предвечерний час
Меня к Петру и «деве» Вы водили
И Петр сердился на бесстыжих нас...

Из Брюсселя Анатолий Штейгер уехал в Берлин. Я очень ему советовала повидать там Владимира Сирина. До войны 1939 года, вернее, до его отъезда в Америку, между Владимиром и нами существовала очень большая и, казалось, прочная дружба. «Монпарнас» это ставил мне в вину, там отношение к Сирину было явно недружелюбное, отчасти, пожалуй, от негодования, что лучший писатель нового поколения не только к Монпарнасу, но даже и к Парижу не принадлежал, отчасти и оттого, что Георгий В. Адамович занял по отношению к Сирину известную позицию, а влияние Г. В. на монпарнасскую, даже и относительную молодежь было так велико, что выражать особое мнение не полагалось. Отголосок такого предубеждения находится и в одном письме Анатолия Штейгера: «Но после наших встреч (с Сириным) мой очень умеренный к нему интерес — необычайно вырос».

Не все письма Анатолия Штейгера у меня сохранились, но с Брюсселя нам больше встретиться и не пришлось. В начале 1941 года я начала пробираться из Парижа в Лондон. Анатолий Штейгер был в Швейцарии и снова тяжело болен. Несмотря на это, почти до его смерти, благодаря ему я могла переписываться со своей матерью, оставшейся во Франции. Я посылала мои письма из Лондона в нейтральную Швейцарию. Толя пересылал их моей матери, а ее письма отправлял в Лондон.

Так к моим литературным воспоминаниям о нем присоединяется еще и благодарная память об этом, тогда не малом, благодеянии.

Напечатано в «Возрождении»
№ 195, март 1968 г. Париж

ПИСЬМА С МОНПАРНАСА

ПИСЬМА АНТОНИНА ЛАДИНСКОГО

19 июля

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Не сердитесь на меня, что не отвечал на Ваше письмо, забыл и было много хлопот с печенью. Теперь Осоргин прислал мне Вашу статью об эмигр. поэтах и мне захотелось написать Вам, поблагодарить за теплоту.

Уезжаю на 3 недели в Польшу к родным. Отвык путешествовать, и было столько хлопот с визой, что я уже устал. С удовольствием увижу Варшаву, Краков.

Целую Вашу руку
преданный Вам
Ант. Ладинский

Что Вы перевели из моих стишков? Интересно бы прочесть в переводе.

---

22 июля 34
Париж

Ant. Ladinsky
51, rue de Turbigo
Paris 3

Милая Зинаида Алексеевна.

Это я отвечаю с большим запозданием на Ваше письмо. К сожалению, редакция не согласилась напечатать рецензию о «Дне культ.» [1], потому что Репнинский всех кроме Вас ругал, а ругательные рецензии печатать о «дне» неудобно — всякий «делает, что может».

Как Вы поживаете? Что у Вас нового? Я все хвораю, вожусь со своею печенкой. У нас в Париже жарко, скучно. На Монпарнасе тоска смертная.

Если будет что-нибудь нужно или интересное — напишите.

Жму Вашу руку
Ант. Ладинский

---

26 сент.

Ваше Сиятельство.

Покорнейше Вас благодарим за книгу. Как она отличается от первой! Скоро приедет А-вич, * и у меня с ним будет разговор. Конечно, Вам приятнее было бы, чтобы написал о книге он.

Я был в деревне, отдыхал, поэтому и задержался с ответом на Ваше письмо. За милый и дружеский отзыв спасибо, за память тоже.

Что касается адресов, то я мог собрать только следующие:
«Сегодня» Dzinaver iela 57, Riga Latvija

[1] «День русской культуры в Брюсселе».
* Г. Адамович.

Тур. биб. 6, rue Val de Grâce, Paris 5
Ил. Россия 24, rue Clement Marot, Paris
Ил. Жизнь 5, rue Saulnier, Paris 9
Журнал Содружества Karjalankatu 6, Vupuri, Finlande

В Харбин просто:

Ред. газета «Заря»

других не знаю, Встречи и Меч приказали долго жить

Совр. записки 6, rue Daviel, Paris 13

Во многих странах никаких газет уже нет. Если найду еще полезные адреса — пришлю. Но ведь о стихах не любят писать.

Мое мнение, повторяю,— удивление... Некоторые пьесы мне очень понравились, если А. не напишет, постараюсь написать я. Но лучше пусть он.

Маленькое сожаление: слово «Уход» на обложке надо бы поднять на 4 сантиметра.

Как Вы живете? У меня всякие неприятности. Печенка лучше, но открылась рана. Когда все пройдет, мечтаю приехать в Бельгию. Устроили бы мне чтение в Вашем клубе. Кажется, это оправдывает расходы. А у меня есть римская проза (чуть неприличная).

Жму Вашу руку и целую (руку же)
Преданный Вам
Ант. Ладинский

---

21 ноября

Милая Зинаида Алексеевна.

Не гневайтесь на меня за опоздание. Не было случая хорошо поговорить с Адамовичем. Он обещал, что напишет о Вашей книге в одном из ближайших четверговых номеров. Стихи я передал редактору. М. б., и напечатают. Но со стихами у нас теперь плохо.

Собираетесь ли Вы в Париж? У нас — зима, туманы. По субботам собрания в Napoli. Нового ничего нет.

Целую Вашу руку
Ант. Ладинский

---

25 дек.

Милая Зинаида Алексеевна.

Поздравляю Вас с Новым Годом. Что то он нам сулит, хорошее или плохое? Едва ли что-нибудь хорошее? А вдруг...

Спасибо Вам за Ваше письмо и хлопоты. Едва ли я соберусь в Бельгию, это так сложно с визой и т. д.

Жалею, что Адамович написал так мало и сухо, мог бы и побольше написать. Он отговаривается «недостатком места». Но нельзя же все в кучу сваливать.

У меня ничего нового нет. Живем, скрипим пером. Не собираетесь в Париж?

Целую Вашу руку
Ваш Ант. Ладинский

ПИСЬМА ДОВИДА КНУТА

Париж, 22 июня 932
Полночь.

Милая
Зинаида Алексеевна.

Вы приветствуете мое «желание меняться», «не застывать», но я не «желаю меняться», а меняюсь.

Все же несмотря на это, да на косноязычное замечание о конструктивном творчестве, да на сложные отношения с франц. журналом (обойдусь без него — тем более что и название у него — отпугивающее), да на непонятную заключительную фразу Вашего письма,— оно мне было очень мило и приятно.

Вашему приезду обрадуются многие — уж очень Вы всех «покорили»— добротой, веселостью и нечеловеческой чистотой душевной.

Надеюсь с Вами встретиться.

Жена благодарит Вас за привет и кланяется Вам, а я почтительно целую Вашу руку.

Довид Кнут

Париж, 5 авг. 932

Милая Зинаида Алексеевна.

«Перекресток» выйдет только зимой — поэтому не спешил с ответом.

Были и другие причины, в частности — слишком большая моя «нагрузка»: почти не успеваю жить.

Никуда за это время не уезжал — по самым банальным причинам.

Когда я к Вам еду?

Написал новые стихи, на днях прочтете в газете.

Сердечно приветствую

Ваш

Довид Кнут

Где Ваша французская статья?

19, rue d'Odessa
Paris 14e

Париж, 5 янв. 33

Милая Зинаида Алексеевна.

Не сердитесь на меня: по моем возвращении из Брюсселя тяжело заболел и вскоре умер отец (остались две маленькие девочки — мать умерла два года назад), были еще и другие тяжелые события.

Ваши поручения все вовремя выполнил; но в «Числах» Оцупа тогда не застал, Болдыреву и Варшавскому передал сердечный Ваш привет и т.д. Оба были довольны и тронуты.

Завидую, что так славно попутешествовали. Не можете ли меня научить — как осуществить подобную поездку.

. . . .

Никого не видаю. Служу в качестве велосипедиста в депо немецкой фирмы.

Сердечный привет Вам и мужу.

Д. К.

Книги мои не то «вышли», не то пропали, и не могу выслать подписавшимся на них, ни даже милейшим Марголину и Кулишеру.

Knout
12, Square du Port Royal
Paris 13

Paris, Le 6/1/35

Милая Зинаида Алексеевна.

Вчера случайно узнал, наконец, Ваш адрес (на Montparnasse'е, где давно не был).

Простите меня, что так поздно благодарю Вас за присылку Вашей книги.

Обнаружил у себя принадлежащего Вам Сюпервиеля [1] —

[1] Французский поэт и писатель. Тут дело идет о книге с его автографом.

и собираюсь послать его Вам на той неделе.

Примите же мою благодарность, пожелания добра и счастья на Новый Год и передайте мой привет Вашему мужу, который, быть может, еще помнит о нашем кратком знакомстве.

С товарищеским приветом

Д. Кнут

Knout
12, square du Port Royal
Paris 13

Париж, 10 июля 35

Милая Зинаида Алексеевна.

Простите, что не сразу ответил: все надеялся отыскать автобиогр. заметку, напечатанную в одном журнале. Но, конечно, не нашел и «спешу» послать вновь — сочиненную...

Удивлен и огорчен, что до сих пор не получили Supervielle. Я его оставил — с просьбой доставить Вам — у Кулишера, 9 февраля сего года. Кроме того, просил Штейгера сказать Вам об этом. Очень обидно, что он (Supervielle) еще до Вас не дошел. Не написать ли мне об этом Кулишеру?

Жаль, что Вы не написали, кто переводит и — что именно. Прилагаю несколько строк автобиографии.

Благодарю за честь, и — вообще.

Видел Вашего очаровательного супруга.

С товарищеским приветом.

Д. Кнут

21, rue Gazan
Paris 14e

Родился в Бессарабии. Во Франции с 1920 г. Переменил уйму самых разнообразных профессий. В настоящее время: велосипедист рассыльный. Выпустил три книги стихов, приготовил для печати — четвертую книгу лирики и роман.

Париж, 16/10/35

Милая Зинаида Алексеевна.

Только что вернулся из «Новостей», куда отнес заметку о Вашей второй книге.

К «Возрождению» никакого отношения не имею — обратитесь к Ходасевичу либо непосредственно в редакцию. (Между прочим, думаю, что Вы можете писать и тем, и другим, прямо из Бельгии — предполагаю, что Ваши заметки будут воспроизводиться автоматически.)

Переводы [2] мне, признаться, мало понравились. Особенно меня смутило то обстоятельство, что в стихотворении «Жена» Вы удовлетворились начальными двумя строфами, отрубив следующие четыре-пять строф.

Насчет Supervielle немедленно пишу письмо Кулишеру с просьбой передать Вам злосчастную эту книгу. (Не можете ли Вы ему позвонить?) Не везет нам с нею.

Итак, вскоре прочтем Вашу новую книгу, не оскудевает зарубежная пороховница! В конце месяца в Париже выйдет антология Адамовича. Вечер прошел вполне благополучно.

Кланяйтесь мужу.

С приветом.

Д. Кнут

Четверг, 24-го

Милая Зинаида Алексеевна.

Написал Вам это письмо в среду вечером, а на следующее утро, в четверг, увидел, что Ваша заметка не напечатана. Я отложил отправку письма до выяснения причины этого «воздержания» и вчера отправился снова в «Новости» с заметкой для четвергового номера.

В редакции мне объяснили, что газета с удовольствием известит о *появлении* книги, но отказывается писать о предполагаемом выходе в свет и т.д., и это несмотря на то, что моя заметка начиналась со слов «Печатается и в скором времени и т.д.».

Так что с огорчением извещаю Вас о моей неудаче и остаюсь в Вашем распоряжении на будущее, когда книга выйдет.

Возможно и то, что другому, Ладинскому например, который всегда печатается в «Новостях», не отказали б. Но уверенным в этом быть никогда нельзя.

Кулишеру еще не написал — не нахожу адрес. Обязательно разыщу.

Итак, жду известий о том, что книга уже вышла.

Ваш

Д. К.

[2] Мои переводы в брюссельском «Journal des Poètes» стихов Смоленского, Раевского, Кнута, Червинской, Ладинского (и моих).

45, av. Michel Bizot
Paris 12e
18. 6. 34.

Милая Зина.

Получил Ваше письмо со стихами и статьями. Стихи передал Адамовичу, который напечатает их во Встречах, а статьи передал Алферову.

У нас здесь все по-прежнему, пьянствуем и скучаем. Мечтаю уехать как можно скорее на vacances. Но время совсем не двигается, каждый день — как сто лет.

Толя [1] просил Вам кланяться. Злобин [2] тоже. Ляля и Алеша [3] уехали на полтора месяца в Valence. Так что я сейчас в одиночестве и тишине.

Стихи Ваши мне нравятся, только они чуть-чуть слишком нарядные. Писать теперь, по-моему, нужно проще и точнее. Но несмотря на все это, стихи хорошие,— я их очень Адамовичу расхваливал.

Целую ручку Вам
Ваш Влад. Смоленский

P. S. Толя мне говорил, что он собирается к Вам в гости. Мне кажется, что для него это было бы очень хорошо, слишком уж он отощал в Париже. Вы его немножко подкормите.

В. С.

45, av. Mishel Bizot
Paris 12e
4. 7. 35.

Милая Зина.

К глубокому моему сожалению, я не видел Червинскую и не знаю ее адреса, почему и не мог дать ей знать. Спасибо за перевод моих стихов [4]. Обязательно пришлите мне номер журнала или дайте его адрес, чтобы я мог его выписать оттуда. Биографические мои сведения очень кратки: происхожу из потомственных дворян донской области. Родился 24 июля 1901 года в имении моего отца на Дону. Начиная с 18-ти лет воевал с большевиками в добровольческой армии, с кото-

[1] Штейгер.
[2] Вл. Злобин.
[3] Жена и сын Смоленского.
[4] В Journal des Poètes.

рой и эвакуировался из Крыма в 21-м году. 2 года жил в Африке в Тунисе, где и начал впервые писать стихи, потом приехал во Францию, года два работал на металлургических и автомобильных заводах. Потом получил стипендию, кончил в Париже гимназию, учился в Сорбонне и коммерческой академии. Теперь служу бухгалтером в одном винном деле, или, как говорит Ходасевич,—«считаю чужие бутылки». В 1931 году вышла 1-я книга стихов «Закат». Этой осенью выходит 2-я книга «Наедине». Женат. Имею красивого сына. Вот, кажется, и все.

Собираетесь ли Вы приехать в Париж? Много ли пишете стихов и прозы? Когда будете в Париже, обязательно дайте мне знать, очень хотелось бы встретиться с Вами и поговорить.

Ляля Вас целует.

Искренно Ваш

Влад. Смоленский

45, av. G-al Michel Bizot
Paris 12e
4. 12. 35.

Дорогая Зина.

Большое спасибо за присланную книгу. Стихи очень хорошие,— Вы сделали большие успехи — не только формально (Вас уже можно узнавать по почерку), но и внутренне Ваши стихи стали много цельнее, глубже и значительней, чем раньше. Поздравляю Вас и желаю успехов дальнейших.

Я получил Ваши переводы стихов в Journal des Poètes и написал Вам длиннейшее письмо по поводу, главным образом, Вашей вступительной статьи, с которой я был не совсем согласен. Вы так мне ничего и не ответили... Может быть, Вы его не получили? Почему Вы не приезжаете в Париж проведать нас, бедных Монпарнасцев? Ведь Вы же, кажется, все время разъезжаете по Европам, могли бы заглянуть и в наши трущобы. Кстати, я хочу издать книжку стихов как раз там, где вышла и Ваша книга. Зуров, который был недавно в Прибалтике, наладил там связь с местными поэтами, и оказывается, что там все страшно дешево, так что книжка стихов в 4 листа стоит чуть ли не 150 frs. Напишите мне, сколько стоила Ваша книга?

Ляля и Леша Вас целуют.

Я целую ручки.

Искренно Ваш

Влад. Смоленский.

Дорогая Зиночка,
спасибо за книжку.
Скоро ли будете в Париже? Буду рада Вас повидать.
Целую

Ваша Ляля.

ПИСЬМА ИВАНА ШКОТТА (БОЛДЫРЕВА)

27 мая (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, последнее время я очень занят, поэтому до сих пор не написал Вам, не хотелось писать в суете, но и откладывать не хочу больше. Из наших общих знакомых никого еще не видел, расскажу о них в следующий раз.

Статья Ваша мне нравится, и я очень рад, что Ваша первая статья обращена к природе. Героическому же мореплавателю Alain Gerbault [1] не хочу простить его морального идиотизма, надо быть зловещим дегенератом для того, чтобы не взять с собой в плаванье товарища, хотя бы собаки, большого славного пса-друга.

Ваш рассказ нравится мне меньше. Судьбу Дениса Строева [2] не следовало, пожалуй, брать темой для короткого рассказа, разве только в порядке подготовительной работы. Не должны ли Вы были испытывать чувство, что, рассказывая о Строеве, неспособном вынести малейшее волевое напряжение и поэтому неспособном отстоять свое право на жизнь,— с такими людьми может нечто случиться, может нечто сделаться, сами же они ничего сделать не могут,— что, рассказывая об одном из таких всегда подчиняющихся Строевых, Вы преодолеваете Вашу собственную судьбу? А если это чувство в Вас было, разве Вам не хочется написать о Денисе Строеве «большую» книгу?

Целую Ваши руки

ИШкотт

[1] Жербо — мореплаватель-одиночка — в этом году выпустил свою книгу.

[2] Мой рассказ, помещенный в журнале «Содружество».

3 июня (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, примите нашу благодарность,— мою и Варшавского [1],он с радостью ко мне присоединится, за это я ручаюсь. Ваш приезд нарушил на некоторое время изнурительную монотонность наших парижских пейзажей — психологических, разумеется,— в которые мы с большой готовностью заключаем весь мир. Чувства, вызванные Вами у наших литераторов и пр., вероятно, весьма различны и более или менее сложны, не берусь о них судить; общим же у всех было, конечно, вялое удивление перед Вашей непохожестью ни на что, совместимое с нашим опытом, словно Вы пришли к нам из мира других измерений. Вы живете в тысячу раз интенсивнее, чем полагается на Монпарнасе, а жизнь мало-помалу приобрела с кофейнями Монпарнаса удивительное сходство, всё, что на них не похоже, относится к наваждению. Нелегко, однако, зачислить в призраки человека, который приехал к нам в гости, особенно если его реальность куда несомненнее, чем наша собственная.

Что касается меня, я не в состоянии уследить за своими капризами. Вчера все время тосковал о Вас, все время помня, однако, что нам едва ли было бы вместе хорошо, сегодня вспоминаю о нашей неосуществившейся дружбе с очень хорошим чувством, но так, словно она относится к далекому прошлому. Вспомню о Вас когда-нибудь и с горечью, потому что Вы лишний раз показали мне мою неспособность пользоваться одним из лучших источников человеческой радости — дружбой. Впрочем, я, кажется, сильно преувеличиваю. Обещаю Вам больше не жаловаться.

Письмо, как и мое предыдущее письмо к Вам, вышло какое-то нехорошее, но раз оно написано, пошлю его.

Ваш ИШкотт

15 июня (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, в свое время я познакомился с группой русских инженеров в надежде получить при их содействии работу в Африке. Они меня уговорили поступить в русск. в. тех. институт; обыкновенно я уделяю ему только небольшую часть себя и своего времени, но на днях начинаются экзамены и я очень занят. Не можете ли Вы отложить Вашу поездку в Париж до 10—15июля: я боюсь, что, если Вы приедете, как собираетесь, через неделю, я не буду в состоянии уделить Вам так много времени, как мне хотелось бы. Простите меня, пожалуйста!

[1] Владимир Варшавский.

Хочу еще выяснить недоразумение с дружелюбными животными и мертвыми людьми, возникшее по моей неловкости. Не обращая внимания на ребяческую неловкость выражений, выступаю в защиту неуравновешенного парня. Он мог бы сказать приблизительно следующее: между двухчасовой прогулкой в лесу, в парке, на лодке по реке и по морю, и путешествием, длящимся месяцы, существует огромная разница. В прогулке — особенно в прогулке «созерцательного» типа — совершенно отсутствует элемент *борьбы*; при известной душевной предрасположенности мы легко приводим себя в состояние — и решительного нежелания и полной неспособности к активному вмешательству в окружающую нас действительность, хотя мы и ощущаем в эти минуты окружающую нас действительность, может быть, особенно полно; нам не нужно никаких союзников и никакого дружелюбия, мы благодарим каждое деревцо и ползущую по нему букашку за то, что они наши единокровные братья и сестры. Не забывайте кроме того,— говорит неуравновешенный молодой человек,— что прогулка, этот некий оазис одиночества и всемирности, затянувшись сверх положенного срока, возбуждает в нас сильное желание вернуться домой, особенно если нас ждут дома — жена, муж,— наши друзья, наши союзники.

Теперь о Строеве. Вы меня, очевидно, не поняли,— я хотел сказать, что писатель должен связывать свою судьбу с судьбой своих персонажей, только в том случае писатель и может создать живых людей, к которым мы относимся весьма различно, но судьба которых нам интересна, мимо которых, не заметив их, пройти нельзя,— трудно себе представить, чтобы хорошая книга могла быть написана как-нибудь иначе. Ваш Строев, если бы Вы почувствовали в нем самое себя или, лучше сказать, одного из Ваших собратов, безвольный Строев легко разрушил бы приготовленную для него литературным ремесленничеством схему, и никто не сказал бы про него, что он мертвый, несмотря на его бесславную жизнь и бесславную смерть.

Большое Вам спасибо за предложение перевести какой-нибудь мой рассказ,— у меня ничего нет.

Ваш ИШкотт

Уладили ли Вы все с пересылкой рисунков Алек. Мих.? [2] Кажется, он получил не все рисунки.

---

[2] Ремизов прислал мне для продажи свои рисунки — некоторые удалось продать.

20 июня (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, при желании Вы легко найдете в Париже недорогую комнату в отеле. Жалко, если Вы приедете всего на три, на четыре дня!

Я предлагаю встретиться в Ротонде в семь-восемь часов вечера в понедельник 4-го,— днем я, к сожалению, занят; если же Вам это неудобно, напишите, где я должен ждать Вас в воскресенье 3-го,— лучше всего в Ротонде же, я думаю, время — после обеда. Жду Вашего письма.

На Ремизова не сердитесь.

До свидания.

Ваш ИШкотт

27 декабря (1932)

Милая Зинаида Алексеевна, поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Не знаю, право, какие высказать Вам пожелания: бесстыдные печальные мысли плохо складываются в новогодние поздравления. Вспоминаю с большой грустью о нашей неосуществившейся дружбе.

Целую Ваши руки

Ив. Шкотт

---

24 января (1933)

Милая Зинаида Алексеевна, большое Вам спасибо. В Конго поехал бы охотно: я вполне здоров, но плохо слышу, об этом Вашего брата [3] нужно предупредить. Вместо прошения посылаю чистый лист с моей подписью: не знаю, в какой форме составить прошение, напишите его, пожалуйста, вместо меня.

Я родился в Москве 1-го ноября (старый стиль) 1903 года. В 1920 году окончил 49-ю Сов. Труд. школу 2-й ступ., бывшую Моск. 4-ю гимназию. В 1924 году весной был арестован и по обвинению в антисоветской работе сослан в административном порядке в Нарымский край. Нелегально выехал из Колпашева (админ. центр Нарымского края) в Томск осенью 1925 года; 1-го октября перешел советско-польскую границу. Через три месяца выехал с рабочей партией во Францию. Полгода работал в Bureau d'Etudes Кнютанжского Металл. завода (Лотарингия) в качестве чертежника. С 1926 года живу безвыездно в Париже. Вот мой краткий

[3] Мой двоюр. брат, уже давно служивший в Бельг. Конго.

curriculum vitae *, который, может быть, Вам понадобится при составлении прошения. Сделайте все от Вас зависящее, чтобы моя поездка в Конго состоялась, Вы окажете мне прекрасную услугу.

Сегодня вечером напишу Вам подробнее, сейчас ограничиваюсь самым необходимым, мне надо торопиться на урок.

Спасибо.

Ваш Ив. Шкотт

25 января (1933)

Милая Зинаида Алексеевна, писать о себе сколько-нибудь подробно у меня, правда, нет сил, так я себе надоел, напрасно я обещал Вам это. Будем надеяться, что переговоры о моей кандидатуре в Африку будут успешны, тогда я приеду в Брюссель и мы переговорим обо всем.

Ваш Ив. Шкотт

---

23 февраля (1933)

Милая Зинаида Алексеевна, большое Вам спасибо за Вашу дружескую внимательность. Поездка в Африку не удалась, и Бог с ней! Не огорчайтесь за меня,— зная, как трудно теперь устроиться, я не очень верил в эту поездку с самого начала, обманутые надежды меня не мучают, никакого разочарования не было.

Очень хотел бы повидать Вас, но приехать в Брюссель, к сожалению, не могу. Если соберетесь в Париж, буду Вам очень рад.

Целую Ваши руки

Ив. Шкотт

---

12 мая (1933)

Милая Зинаида Алексеевна, не тужите обо мне слишком, жить я больше не могу. Вы обещали мне Вашу дружбу, и я умоляю Вас помочь маме: нехорошо, если мама узнает о действительной причине моей смерти. Подготовьте ее, Вы можете написать ей, что, приехавши по делам в Брюссель, я заболел, болезнь затянулась...: не забудьте ничего, что могло бы смягчить ее горе, боюсь подумать, что будет с мамой.

Я не могу больше писать, простите меня.

Ив. Шкотт

* Жизнеописание *(лат.)*.

СССР
Москва
М. Кур. ж. д.
Ст. Люблино-дачное
Октябрьская улица
дом 1/15
Валерия Венедиктовна
Шкотт

* * *

В этот день Иван Шкотт принял веронал.

ПИСЬМА А. ШТЕЙГЕРА

A. Steiger c/o Prince Chirinsky
29, rue Barbès, Issy-les-Moulineaux

8 марта 1934 г.

Милая Зиночка, простите, что так начинаю письмо, не зная Вашего отчества, но и Вы ведь меня в Париже вспомнили при встрече в кафе Одеон как «Толю Штейгера», которого Вы знали в Константинополе.

Мне посоветовали обратиться к Вам, потому что, по парижским сведениям, Вы в Брюсселе всемогущи.

Дело вот в чем: я еду в Берлин и в Прагу и буду в Брюсселе проездом приблизительно через десять дней, в субботу или воскресенье на следующей неделе. Не могли бы Вы организовать мне или хотя бы посоветовать, к кому обратиться, литературный вечер? Если это в принципе возможно, не согласились бы Вы сказать небольшое вступительное слово, прежде чем я буду читать свои стихи и рассказы? Я бы очень мечтал об этом вечере, так как без него мне не удастся задержаться в Бельгии и осмотреть Брюссель. В смысле материальном приблизительно на какую сумму я мог бы рассчитывать? Меня бы удовлетворило совсем немногое, juste de quoi payer * гостиницу, еду и мелочи.

Очень прошу Вас извинить меня за причиняемые Вам хлопоты, но, по словам парижан — Кнута, Адамовича,— в Брюсселе все от Вас зависит, и я обращаюсь к Вашей, так сказать, «парижской солидарности».

В случае Вашего согласия, я Вам немедленно вышлю мои стихи и 1—2 рассказа, чтобы Вы могли заблаговременно

* Только чтоб оплатить *(фр.)*.

с ними ознакомиться. Жду с нетерпением от Вас ответа. «Весь Монпарнас» Вам кланяется и Вас не забывает. Целую Ваши ручки.

А. Штейгер.

14 марта 1935 г.

Милая Зика, просто не знаю, как благодарить Вас за Ваше письмо и за Ваше приглашение, которое я принимаю с радостью и буду в Брюсселе в это воскресенье. Я все же очень надеюсь, что удастся что-нибудь устроить с вечером, хотя бы и очень небольшим, так как мне все-таки очень совестно было бы Вас стеснять и доставлять Вам хлопоты.

Сегодня вечер И. Анненского и я увижу Алферова и Кнута и исполню Ваше поручение. Я еще не уверен, с каким поездом мне удастся выехать, но во всяком случае я буду у Вас не позже 4 часов дня.

Очень прошу Вас простить меня за невозможную бумагу, но у меня сейчас ничего нет под руками.

Целую Ваши ручки и еще раз очень благодарю.

Преданный Вам

Толя Штейгер

---

5 июля 1935 г.

Милая Зика, не знаю, какого Вы должны быть обо мне мнения (самого плохого, конечно), потому что моя открытка из Берлина, которую Вы, надеюсь, получили,— всего моего невежества не искупает.

Все оправдания всегда вздор, но на этот раз у меня правда есть искупающее вину обстоятельство: уже по адресу Вы увидите, что это больше не «третий Рейх» и не Прага,— а Швейцария — et ce qui est pis *— швейцарский санаториум.

Моя слабость и усталость на следующий день по приезде в Прагу осложнилась еще и почти малярийной температурой,— уж давно я чувствовал себя плохо, но два французских врача, к которым я обращался перед моим отъездом из Ниццы — один из них знаменитый,— убедили меня в том, что это «неврастения»,— я обрадовался, потому что Fernand Gregh [1] про нее писал, qu'elle est la dixième Muse...[2] Но очень скоро выяснилось, что малярия, от которой меня лечили,

* И еще того хуже *(фр.)*.

[1] Французский поэт, член Франц. академии (1873—1960).

[2] Что она десятая муза.

и неврастения — тут решительно ни при чем и что состояние моих легких почти «скоротечное».

Пришлось бросать все и ехать сразу в Швейцарию, где я уже второй месяц. Положение мое очень серьезное, и большой вопрос, «выкручусь» ли я. Во всяком случае, мне минимум год в постели.

Третий Рейх произвел на меня впечатление сумасшедшего дома — язычество, выводы, делаемые из расизма в науке, законодательстве и быту,— и военного лагеря. У меня были старые связи в очень разных кругах, что помогло мне ориентироваться: немцы — все — войны хотят и пойдут, даже рискуя погибнуть в общей катастрофе. Я видел Хитлера, Геринга, Фрика, Геббельса. Хитлера обожествляют, но я не знаю, в его ли руках реальная власть — или она в действительности у генералов Рейхсвера. Ко всему русскому — культуре, литературе, национализму — отношение оскорбительное: и первый удар, конечно, будет на Восток. Только и речи, что об Украине.

Я несколько раз видался с Сириным и был на его вечере, на котором было человек 100—120 уцелевших в Берлине евреев, типа алдановских Кременецких — среда, от которой у меня делается гусиная кожа, но без которой в эмиграции не вышло бы ни одной строчки по-русски. Сирин читал стихи — мне они просто непонятны,— рассказ, очень средний,— и блестящий отрывок из biographie romancée — шаржа? памфлета против «общественности»? — о Чернышевском. Блестящий.

А что Вы скажете о «Приглашении на казнь»? Знаю, что эс-эры, от которых зависело ее появление в «Совр. записках», дали свое согласие с разрывом сердца... Сирин чрезвычайно к себе располагающ — puis c'est un monsieur *,— что так редко у нас в литературных водах,— но его можно встречать 10 лет каждый день и ничего о нем не узнать решительно. На меня он произвел впечатление почти трагического «неблагополучия», и я ничему от него не удивлюсь... Но после наших встреч мой очень умеренный к нему раньше интерес — необычайно вырос.

Теперь о Праге — ее просто не узнать, я в Праге не был с 1933 года... Солдафонов и полуинтеллигентов в Ските больше не встретишь. Конечно, многое после Парижа странно — иной тон и стиль чуть все-таки московский, но все-таки почти можно было найти общий язык и общую даже тему (кроме Бема,— но Бем и Скит, как мне показалось,

* Это настоящий барин *(фр.)*.

font... deux *). Бем тупица, начетчик и трогательный обскурант.

Обращаюсь к Вам и Беликову и вообще к кому полагается — с жалобой на парижскую редакцию «Полярной звезды» [3]. Я два раза тщетно писал Алферову, потом Мандельштаму, чтобы добиться, что нужно сделать, чтобы получить первый номер, узнать условия подписки и проч., так как в газетах никаких указаний не было дано и немногие оригиналы, подобные мне, просто не знают, что им надо делать.

От Алферова — ни слова, Мандельштам уверяет, что он бы с радостью мне эту Звезду прислал, но что в Париже нет ни одного ее номера, так как «из Брюсселя не высылают», Mes chers amis *,— разве так можно? Неужели нет никого, кто бы занялся, но действительно занялся — технической частью? Мне было бы очень жаль, если бы и «Звезда» погибла, как и все бесчисленные подобные ей эмигрантские журнальчики, потому что, будучи близок с большинством ее сотрудников,— я все-таки кое-что ожидал от этого журнала.

Зика, chère, скажите мне только честно, согласны ли Вы и не очень Вам будет скучно заняться осенью изданием моего сборника? Я все-таки решил его издавать. Только если Вам это не очень скучно... И я бы очень хотел узнать *точно,* сколько возьмет Ваш Гутенберг [4] за книжку точно такую, как мой последний сборник, но с меньшим количеством как и страниц (40-48), так и текста: мои новые стихи почти все четверостишья и восьмистишья. Из-за болезни я сейчас далеко не Крез и не Рокфеллер...

Мне попались Ваши «вокзальные» стихи в «Содружестве» [5], которые просто хороши — конец, и гораздо больше до меня «дошли», чем Ваши стихи в «Совр. записках».

Целую Ваши ручки, Ваш преданный

Толя Штейгер

Мой адрес: A. von Steiger, Sanatorium Heiligen Schwendi ob Thurn. Suisse.

Очень прошу Вас протелефонировать Беликову, чтобы мне сразу же выслал Звезду (месяц, больше, не могу добиться).

---

* Это не одно и то же *(фр.)*.
[3] Литер. журнал,изд. в Брюсселе, вышел только № 1 в мае 1935 г.
* Дорогие друзья *(фр.)*.
[4] Владелец брюссельской типографии.
[5] Журнал, изд. в Выборге.

Heiligen Schwendi

16 сентября 1935 г.

Милая Зика, благодарю Вас очень за письмо, газету, открытку — и за память вообще,— на меня же прошу не сердиться, если отвечаю не сразу: мне то лучше, то хуже, но в общем лучше, и я думаю, что и на этот раз все окончится благополучно. Если благополучно пройдет осень, то к следующей зиме, значит, все пойдет по-старому опять — Монпарнасы, Мережковские, собрания, пустоватая наша парижская сутолока, которую я всему в общем предпочитаю — где-нибудь и с кем-нибудь жить ведь надо.

Благодарю очень за хлопоты о книге. Очень был бы рад, если бы Вы и дальше продолжали ею заниматься, потому что мне своими силами из санаториума во всем просто не разобраться. К тому же я не представляю себе, что значит, например, «печатный лист»...

Если эти «листы» стоят дешевле в Эстонии, то, конечно, было бы лучше печатать там, где дешевле, а не дороже — сентенция à la Monsieur de la Palice,— но не совсем: Поплавский печатал в Эстонии свои «Флаги», и я, признаться, в жизни не видел такого невероятнейшего количества опечаток. Опечатки же в стихах для автора убийственны...

Очень все же прошу в Эстонию написать — я хотел бы 1) книжку по количеству страниц и по *внешности* точно походящую на *Эту жизнь,*— обложка, *шрифт* — качество бумаги менее важно, 2) не больше 150—200 экземпляров, 3) две корректуры. Сколько в Эстонии такая книжка будет стоить — во франц. франках и сколько времени займет ее печатанье? Insistez на малом количестве набора — это почти все четверостишия.

Будете ли и Вы выпускать Вашу книжку осенью? Во всяком случае я буду печататься там, где и Вы, безразлично, в Эстонии или в Брюсселе. Только бы хотелось выпустить книжку не позже середины ноября — в «разгар» зимнего Монпарнасского «сезона»...

Большая новость: Алла [6] переехала из Праги на постоянное жительство в Париж. Для Парижа это приобретение, потому что она очень жива и обладает даром разбудить мертвого. Многое предвижу от этого ее переезда... Для Праги — Скита, может быть, это конец. Она была центром,— я это видел теперь весною и, если говорить честно,— конечно, она

[6] Сестра А. Ш.— Алла Головина.

была единственной в Праге интересной. (Мансветов ничего не пишет, Гессен только что вылупливается из яйца.)

Кстати, читали ли Вы в «Мече» критику Пражанина Андреева на Ваши «Мартовские» стихи? Этот остроумец находит, что в них больше... июня и июля. Я выписал «Меч» и наслаждаюсь его «литературной» страницей — в особенности статьями Бема — raison d'être [7] которого ненависть к Адамовичу исключительно какая-то темпераментная. И от статьи к статье она только возрастает: Адамович дал слово Бему никогда не отвечать. Бем очень провинциален и плосок, но его любовь к литературе и его аберрация — он уверен, что стоит во главе «литературного направления»,— трогательны: ведь его жена (с картинки Дюбу [8]) только что за это не колотит — буквально.

Слов не нахожу, чтобы говорить о позорном конце «Полярной звезды». Без стыда и смеха невозможно теперь перечитывать манифесты бедного Алферова. Между прочим, во всем журнале только и было, что две Ваших отличных строки

Эта беженская грусть
Это беженское «пусть»

и Кельберин — стихи и «критика на предисловие к стихам Голенищева-Кутузова». Зика, что Вы нашли в Голенище? [9] Я развеселился почти пасхальным инициалам В. Х.[10], но они вполне законны и, конечно,— верьте, знаю,— Адамович против Вас ничего не имеет. О Вашей книге он написал, насколько помнится, не отписку. Просто Вам и Алле не повезло — фельетон разделен был между Набоковым и мною, потому что о нас А. давно не писал и нам пришла «очередь». Где и куда мне обращаться за моим рассказом «Ломоносов»— единственный экземпляр которого у меня взял для «2-го» номера «Звезды» Алферов? В «редакцию» (!) парижскую или брюссельскую? Но, вероятно, рассказ уже погиб, несмотря на клятвенные обещания...

На смену «Звезде» затевается что-то в Париже — И. И. Фондаминским-Бунаковым (редактор «Нового Града» и «Совр. записок»),— пока до меня доходят сведения крайне путаные — тут и «пореволюционность», но тут же и Кельбе-

[7] Смысл существования *(фр.)*.
[8] Французский карикатурист.
[9] Илья Голенищев-Кутузов.
[10] Одно из моих стихотворений было посвящено Ходасевичу — В. Х. Ходасевич, поблагодарив меня, пошутил, не Виктору ли Хобину оно посвящено?

рин. Напишу Вам, когда туман прояснится, но, признаться, думаю — зная И. И.,— что даже если что-нибудь из этой новой его авантюры выйдет, то не без тумана (плюс «неисправимый» так называемый «идеализм» и одна капля маниловщины...).

Лучше было бы вместо всех этих комедий —«Звезд», Ильи Исидоровича, Содружества и проч.— помочь Оцупу и чаще издавать «Числа», все равно ведь всё так или иначе идет под их знаком или их пародирует. Люблю «Числа» со всеми их недостатками, и, по-моему, они не уступают ни в чем «Аполлону» и его, в сущности, продолжают.

Получил от «Содружества» приглашение сотрудничать, но не буду, потому что не знаю, кому нужен журнал, издающийся на краю света и в наши «столицы» не проникающий,— но который без «столичных» авторов выходить бы не мог — там одни парижские имена. Посоветовали бы Вы им поддерживать в таком случае наши парижские начинания, или пусть займутся торговлей —«Русское» же «Дело» в этом случае, конечно, ни при чем...

Очень интересно все, что Вы пишете о Выставке, а также о рассказах Замятина. Ахматова сама про себя писала в стихах

Я дурная мать...

Напишите о ней подробнее. Все, что ее касается,— меня крайне волнует. Не говорил ли Замятин о Кузмине? О Мандельштаме? Не нашем, второстепенном, а настоящем. Что за бесстыдство, право, что он для своих каракуль не берет псевдонима — его «критика» книжки Т. в той же «Звезде» достойна фигурировать среди лучших образцов наших эмигрантских потуг на глубокомыслие,— дубина жалкая.

Буду очень рад, если Сирин мне напишет. Или мне написать первому? А от Вас жду длинного письма — видите, я и в санаториуме нашел, чем наполнить 4 страницы, а Вы «действуете» на свободе.

Вижу Ваш берег —«Холодно. Голландия. Грустно».

Очень кланяюсь Вашему мужу — какое у него впечатление от Парижа? И не думайте, что я удовлетворился присланными Вами фотографиями...

Ваш преданный
Толя

Очень кланяйтесь Сирину.

(Открытка)

Sanatorium Heil. Schwendi

6 сентября 1935 г.

Зика, с нетерпением все поджидал от Вас известий, но уже почти два месяца, как Вы замолчали. Получили ли Вы мое большое письмо в августе? Я получил литературную газету [11] и очень Вам за нее благодарен. Переводы хороши все, особенно Смоленского, c'est un coup de maître [12], потому что ничего нет трудней для перевода, чем лирика. Есть ли у Вас известия от Сирина? Меня очень занимает выходящая в этом месяце Антология. Посылали ли Вы Кантору Ваши стихи? Очень надеюсь, что Вы скоро мне напишете обо всем — и о моей книжке. Рукопись уже совсем готова, и хорошо было бы, если бы успела выйти до Рождества.

Привет Вашему мужу.

Искренно Ваш

Толя Штейгер

Какое несчастье с Вашей королевой...[13]

Heil. Schwendi.

5 ноября 1935 г.

Дорогая Зика, благодарю Вас за письмо и поздравляю с выходом новой Вашей книжки, о каковом событии узнал из газет,— это немного как появление на свет новорожденного: те же тревоги, опасения, надежды — во всяком случае у меня... Очень надеюсь, что Вы меня при рассылке не обидите, мне очень интересно, как далеко Вы с прошлого года «ушли» [14]. По разрозненным стихам, что появляются в журналах, цельного впечатления не составишь.

Мне приходится все время Вас за что-нибудь благодарить. На этот раз — за Иртеля [15]. Он очень любезен со мною, и книжка моя уже печатается под его надзором. Стоит она действительно неправдоподобно дешево — около 150 франков, но, chère amie, должен Вам заметить, что в области

[11] «Le Journal des Poètes» (Брюссель), где я дала свои переводы стихов Штейгера, Кнута, Раевского, Ладинского, Червинской, Смоленского и моих — август 1935, № 7.

[12] Это мастерски сделано *(фр.)*.

[13] Королева Астрид была убита в автомобильной катастрофе в Швейцарии.

[14] Первый мой сборник стихов (1934) назывался «Уход», второй, о котором идет речь,— «Дорога», 1935.

[15] Председатель «Цеха поэтов» в Эстонии, редактор «Нови».

типографской Вы ушли недалеко от меня: в ней не «около листа», а целых четыре.

Конечно, я ничего не имею против, что наши книжки будут похожи друг на друга, как близнецы. Между прочим, этот формат для меня выбирал Георгий Иванов, он напоминает довольно близко его «Розы». Георгий Иванов и в типографию со мною ездил, в ту самую, где печатал свои безумства... Горгулов [16] — как раз в это самое время. Я с ним там и познакомился у директора в кабинете.

Что Вы скажете о смерти Поплавского? У меня руки опускаются, и мне трудно об этом говорить, хотя Ходасевич прав и удивляться тут нечему. Только думаю, что и без «Монпарнаса» в специфическом смысле, какой Ходасевич придает Монпарнасу,— повсюду,— дело кончилось бы с Поплавским точно так же. Отчаянная нищета, одиночество здесь не главное. То же самое было бы, будь Поплавский миллионером. Вы его видели, знаете — он был насквозь «неблагополучен»— для меня эта смерть удар. Мы были близки одно время.

Ваших бельгийских поэтов и эстетов за большевизм и не думаю осуждать. Слишком ужасна капиталистическая европейская действительность, которую оправдать нельзя ничем. Все же думаю, что коммунизм, которым охвачено все почти лучшее европейское литературное молодое поколение и некоторые старые большие писатели,— либо предельная усталость и пессимизм (Андре Жид), либо просто идеалистическое недомыслие и юношеская, мальчишеская вернее, вера в perfectibilité de l'homme * и «правду жизни». Все это очень серьезно и грустно, конечно.

Из газет вижу, что кроме бельгийцев Вы еще возитесь с Кириллом Набоковым, которого я очень ценю за любовь к Рильке и изумительный цвет лица. Очень кланяйтесь от меня Кириллу.

А дальше, конечно, просьбы: chère, что Вы делаете, чтобы распространить Вашу книгу? Кому поручить распространение? Дому Книги? Кому там писать? Какой адрес? Ответьте, пожалуйста, на все эти вопросы точно и если можно поскорее. Буду Вам также очень благодарен, если Вы при помощи подписки что-нибудь распространите мне в Бельгии, если Вам это не очень скучно. Цену назначьте сами, соответствующую Вашей, с позволения сказать, валюте.

Вы мне ничего не написали, что рассказывал Замятин об

[16] Сумасшедший русский, убийца президента Думера.

* Способность человека к совершенствованию *(фр.)*.

Ахматовой и маленьком Гумилеве. Обязательно напишите об этом.

Алла мне ничего не пишет, но знаю, что она не уходит из Наполи и, как следовало ожидать,— отлично спелась с Ириной Одоевцевой.

Целую Ваши ручки. Привет мужу. Неужели и на этот раз Вы заставите меня ожидать Вашего ответа целую вечность?

Ваш Толя Штейгер.

Никакого Thyrse [17] (sic) я не получил.

Heil. Schwendi

9 декабря 1935 г.

Дорогая Зика, очень благодарю Вас за Вашу прелестную книжку, которая совершенно явно — большой шаг вперед (по «дороге»). Мне очень трудно говорить о ней тоном критика — «вот это удачно», «ça c'est raté *» и объяснить, почему raté, почему удачно. Очень приятен какой-то негородской ее дух — Вы видите и дым по полю, и белые пятна между зеленью, и все эти запахи — лесные, весенние и полевые. Хорошо: Муза, на корму! — Здесь уже и запах соленого ветра, и само слово корма тоже хорошее, и это «обманувшее сердце руками сжимая». И о молодости:

Ведь это молодость и дар ее последний...

Но Вы, конечно, будете протестовать и со мною не согласитесь, что самое удачное стихотворение в книжке о Дафнисе. В других, в первом в особенности, голос поднимается, может быть, и выше, и «намерения» их «серьезнее», но Дафнис *законченнее* и цельнее всех Ваших стихов и тверже «держится на ногах». Может быть, я пристрастен к этому стихотворению, как ко всему акмеистическому, но мне кажется, что акмеисты *тогда* и *так* не смогли бы написать — нужно было всё «последующее». И, конечно, это шаг по дороге, но по дороге «из и от» (von und zu, как у немецких аристократов) акмеизма.

Как Вы пристрастны к А.[18], может быть, потому, что Вы недостаточно знаете этого очаровательнейшего, тонкого и умного человека,— все эти прилагательные неудачны, но Вы знаете, о чем я говорю,— и... и к «Монпарнасу». Да,

[17] «Thyrse» — ежемесячный журнал, выходящий в Брюсселе, где я помещала заметки о русской литературе.

* Это неудачно *(фр.)*.

[18] Адамовичу.

О. жеманится, да — И. ведет себя под правоведа выпуска 1910 года, или как он правоведов и лицеистов понимает. И Ч.— декадентка, и К. тоже из Бродячей собаки декадент... Но что же с того? Что касается меня, то я больше с настоящими правоведами и лицеистами сидеть не в состоянии и предпочитаю Селект и Наполи «чашке чая русских дворян» и Галлиполийскому собранию: деклассированная, разночинская, полуеврейская, безнадежная и чуть сумасшедшая наша монпарнасская среда — на которой все же тень от Петербурга, от Петербургского периода русской литературы,— мне чрезвычайно мила. И поэтому я безропотно сношу потуги на философию Т., разных Я. и уродства. Много, быть может, значит и то, что в Париже я обыкновенно бываю проездом, хотя мне случается просиживать на Монпарнасе и целую зиму. И просиживал, и ничего. Больше всего с Адамовичем, с Поплавским, Ивановым...

. . . .

Очень прошу Вас прислать мне Вашу статью о Поплавском [19] и, если Вы ее вырезали, статью о нем из «Nouvelles littéraires», я не получил ее и очень бы хотел узнать, что о нем пишут.

Из Ревеля «гробовое молчанье», по Вашему выражению. На мои пять открыток с разными им вопросами — никакого ответа. Даже не знаю, печатается ли книга. Очень Вам благодарен за разрешение прислать несколько экземпляров для распространения в Брюсселе.

Еще просьба:

Адреса Литературных объединений и кому адресовать a) в Варшаве, b) в Риге и адрес «Сегодня», c) на Балканах — никого там не знаю, d) в Америке — если знаете адрес «Нов. русск. слова», e) на Дальнем Востоке. Потом, как отчество Алданова, Марк... а дальше? Стоит ли вообще путаться с Домом Книги? Как Вы думаете? Очень Вам буду благодарен за ответ на эти бесконечные вопросы, но я решил распространять свою книгу самостоятельно,— как и Вы.

Привет Вашему мужу. Мое здоровье много лучше.

Ваш от души

А. Штейгер

Вы очень хорошо «оканчиваете» стихи —

Полдень ласковый, подай душе беззлобной
Легкий путь по радостной земле...

[19] О смерти Ю. Поплавского.

(Но только чтобы это не обратилось в прием?)

— А помнишь, ты была счастливой,— это волнует, все это стихотворение очень хорошо, но эта строчка выделяется, и мне кажется, что к ней сходятся все Ваши «возможности».

(Открытка с нарисованным Штейгером в медальоне швейцарским пейзажем)

5 марта 1936 г.

Дорогая Зика, простите, что пишу на открытке, да еще на открытке с «пробой пера», изображающей мой санаториум, но у меня сейчас ничего другого нет под руками, а написать мне Вам очень хочется, чтобы Вы меня перестали считать за свинью и невежу.

Мое оправдание — 1) книжка моя не вышла, иначе Вы бы ее давно имели. Критика в «Нови» сделана, подозреваю, по рукописи. Иртель пятый месяц мусолит эти несчастные 40 страничек, напечатать которые в Париже можно было бы в неделю. С его стороны это просто... умолчу. Все ждал выхода книжки, чтобы Вам написать. 2) У меня опять шла кровь горлом, что означает еще Н-ое количество месяцев ссылки и поэтому у меня кофар. Кажется, уже Вам писал, что на Рождество был в Берне, куда приезжала Алла [20]. Мы с ней провели два дня вместе, она привезла массу анекдотов, сплетен и литературных историй, до которых я смертельный охотник.

Думаю, что Вы не очень сердитесь на Адамовича за его рецензию. А М. совсем не «мой», как Вы пишете. И вряд ли найдется на него охотник. Очень прошу меня не забывать.

Ваш Толя Штейгер.

Где Сирин, дайте его адрес, чтобы я ему мог послать книжку, когда она наконец выйдет.

Heil. Schwendi

26 июня 1936 г.

Дорогая Зика, что можно требовать с узника, сидящего на веревочке — имею право писать «второй год», потому что на днях был год, как я попал на эту несчастную гору... И кому? — Вам, после того как Вы только что побывали в Париже. Поэтому не прошу извинения за мое недолгое молчанье

[20] Алла Головина, сестра А. Штейгера.

и вместе с тем нагло требую, чтобы Вы мне немедленно ответили на это письмо.

Париж. Всё о Париже. Решительно всё, начиная со сплетен... и кончая сплетнями,— потому что это самое интересное и все равно ничего другого нет. Кто, как, где, почему, с кем, кого и каким образом — ведь Вы вращались именно в том, с позволения сказать, кругу,— не смешивать — с Фондаминским Кругом [21], которого я еще не получил. Не думайте, что я удовлетворен Вашей открыткой. Она только разожгла мое любопытство.

Парижские письма, которых я получаю в общем довольно много,— отвратны. Каждый и каждая элегантно жалуются на серость и скуку жизни и окружающей среды, дают понять в изысканных выражениях о своей избранности и своей отчужденности от окружающей среды — все это не длиннее моего стишка с таким же количеством скобок... Вы же, я знаю, открещиваетесь от декадентства — даже эпистолярного,— и потому я знаю, что при желании — пожелайте — Вы вполне в состоянии написать письмо по «старой орфографии» — т. е. со смыслом, с чувством и с расстановкой.

Кстати, не знаете ли Вы, что такое с Адамовичем? Три четверга нет его статей и Сизифа [22], три понедельника нет Пэнгса [22].Запрашивал в Париже, но в ответ всякие бредни о непонятых душах и о том, что на Монпарнасе закрыты кафе. Закрытие кафе на Монпарнасе — совершенно серьезно — есть предвестие конца света. Что бы я дал, чтобы выйти из метро Vavin и дойти хотя бы до цветочного магазина Bauman (via Dome, Coupole, Select, Napoli, разумеется).

Мне в общем гораздо лучше, и я думаю выйти на свободу через три-четыре месяца. Скучно, что доктора меня предупредили, что вполне здоровым я уже никогда не буду и что мне, в сущности, ничего нельзя. К ноябрю я надеюсь быть в Париже и приняться за половину старого, я буду все-таки осторожен и потом — зимою, если Вы меня пригласите и еще будут действовать железные дороги и не будет войны, я приеду к Вам в гости... надолго. Вообще я решил больше не притворяться и честно нигде не жить, а путешествовать. До сих пор я делал это под благовидными предлогами, но они, кажется, уже все исчерпаны, и потом мне их лень искать.

Вы бы пришли в ужас — как я и сам прихожу,— до какой степени я не по дням, а по часам —«левею». Объяснение

[21] Лит. сборник «Круг».
[22] Псевдонимы Адамовича.

этому простое: я пришел к мысли, что всему объяснение в том, что «мы» (т. е. руководящие классы) величайшее сокровище человечества — Христианство — не только не попытались передать «малым сим» (народу, пролетариату), но обезвредили, засахарили и употребили и пытаемся еще употребить на защиту наших материальных мерзостей. А если так, то ни удивляться, ни возмущаться — нечего. На смену нам, культурным, лощеным и «благородным» антихристианам — приходят, вернее врываются, антихристиане — варвары, огромные, варварские толщи народов, которые мы до сих пор сдерживали при помощи силы и церквей. «Мы»— это даже, и по счастью, не совсем верно,— нас давно уже смела буржуазия и разночинцы, час которых наступает теперь. «Мы» же на это зрелище можем смотреть даже и не без злорадства: «наш» главный враг — буржуазия, и к тому же она повторила все наши ошибки и преступления. В этой схватке все мои симпатии на стороне варварского пролетариата, хотя я уверен, что он тоже сделает себе из жизни ад, и так до скончания века...

О Пушкине [23] не может быть и речи. Несмотря на кликушество подъюбилейное в эмиграции и в России, где воскресший квартальный отбирает подписку в любви к нему, я слишком знаю, что такое Пушкин, и никогда не посмею его коверкать. Помните, Адамович как-то написал: «поклонник Пушкина, но человек не глупый...»— и как это верно! Ханжество кругом имени Пушкина подчас прямо невыносимо.

Ваш преданный

Толя Штейгер.

Вы писали, что мои книжки отдаете для распространения Беляеву. Очень прошу Вас отобрать у него и переслать мне что осталось, так как книжка разошлась вся и у меня нет ни одного экземпляра, а ее все требуют... Кто бы подумал! Очень прошу совершенно честно написать, что Вы слышали о «Неблагодарности» [24] в Париже. В особенности все пакости. Будьте мне другом.

Зика, нет ли у Вас Блока? Если есть, пришлите сразу, просто умоляю, я очень скоро и в сохранности Вам его верну.

---

[23] По случаю Пушкинского юбилея, в 1937 году, я выпустила в «Журналь дэ Поэт» маленькую пушкинскую антологию с участием М. Л. Гофмана, Г. П. Струве, В. В. Вейдле, Вл. Набокова-Сирина и ряда бельгийских поэтов.

[24] Сборник стихов Штейгера.

26, av. Chilpèric, Noisy-le-Grand, Seine

8 декабря 1936 г.

Дорогая Зика, целую вечность Вам не писал, не потому, что стал изменником и забыл старую дружбу, а просто не было необходимого спокойствия — все были какие-либо faits divers *, выводящие из равновесия: операция, усталость после нее, приведение в порядок матерьяльных дел, дела сердечные, приготовление к отъезду и наконец — Париж.

Сейчас я живу под Парижем в Нуази — в Доме отдыха, в совершенной деревне, продолжая санаторский режим и вообще мало чем изменив образ жизни, который я вел в Швейцарии.

Здесь даже еще мертвее и тише, но я на это не жалуюсь, так как несколько дней, проведенных в Париже, показали, что «старое» (Coupole, Napoli, Select, обед в 4 часа, сон в 9 утра, разговоры о поэзии Мандельштама [25] в последнем метро) — уже мне просто не под силу, и я к ним до конца утратил всяческий вкус.

Впрочем, все на Монпарнасе очень милые и симпатичные и прекрасно меня встретили. Сразу же оказалось, что все вечера расписаны — вечер Ходасевича о Горьком, доказующий, что Ходасевич — джентльмен и не забыл гостеприимства на Капри; вечер Зурова у Рахманиновых; доклад Адамовича о Жиде, где была страшная толчея и Адамович говорил умно и тонко, а остальные нет, но о чем он говорил, Вы уже знаете из его двух статей в «Посл. новостях». Меня избрали в Круг — философский клуб Фондаминского, но я пока туда не езжу и предпочитаю философии митинги Народного фронта, где грозная, грязная, искренняя и отчаявшаяся толпа верит в то, что у всех будет бифштекс и рента и что жизнь завтра будет честной и веселой, стоит только вырезать аббатов и посадить де ля Рока [26] на фонарь, сжечь Нотр-Дам и 16-й и 17-й аррондисманы. Я всей душой с пролетариатом против буржуазии, но боюсь, что приехал под самый занавес и chambardement général * — не за горами.

20 декабря будет мой вечер. Обращаюсь к Вам с большой и очень спешной просьбой: соберите и пришлите все непроданные в Брюсселе мои книжки, чтобы я получил их *не позд-*

* Обстоятельства *(фр.)*.

[25] Юрия Мандельштама.

[26] Полковник де ля Рок, французский правый политический деятель перед войной.

* Великий переворот *(фр.)*.

нее 18-го, так как, конечно, на вечере их можно будет распродать. Очень, очень прошу Вас об этом.

Не собираетесь ли Вы в Париж? Очень был бы рад с Вами увидеться и поговорить. У меня остались самые лучшие воспоминания о Брюсселе. Целую Ваши ручки.

Ваш преданный Толя
Штейгер.

(Открытка)
3, av. de la Princesse, Le Vesinet (S-et-O)

4 января 1938 г.

Дорогая Зика, от души поздравляю Вас с праздниками. Что случилось с нашей перепиской? Умерла она не по моей вине. У меня к Вам неизменные самые лучшие чувства.

Весь прошлый год я провел в путешествиях — Париж — Берн — Базель — Италия — Ницца — Милан — Венеция Триест — Любляна — Сараево, опять Италия, опять Швейцария — и сейчас до весны прочно сижу под Парижем. Пишу и печатаюсь. Очень бы хотелось знать, что Вы делаете и в какой Вы сейчас «фазе». Буду очень рад, если напишете. По моим расчетам, у Вас есть еще моих 4—5 книжек, если они не проданы и если я не ошибаюсь, очень прошу вернуть, здесь они разошлись.

Сердечный привет Вашему мужу.
От души Ваш Толя
Штейгер.

(Открытка)

Истамбул, 19/3—1939

Дорогая Зика, только что ходил по рю де Брусс около Маяка и с нежностью вспоминал старые хорошие времена. Все время думаю о Вас, в Эюбе, на Принцевых Островах, повсюду, где мы бывали вместе.

Осень я провел в Рагузе и Албании, а всю зиму в Афинах. Сейчас пережидаю грозу в Истамбуле — двум смертям не бывать, а одной не миновать. Неужели опять начинается светопреставление?

Обнимаю Вас, если не будет катастрофы, еще увидимся.

Ваш друг Толя Штейгер.

ИЗ ПИСЕМ А. А.

Париж, 18 июня 1934 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

сию минуту (12 ч. дня) получил Ваше второе письмо.

Мне очень неловко.

У меня почти нет оправдания — *почти*.

Прежде, чем писать, мне хотелось всего лишь привести себя в порядок — помните? — тот самый, о котором в свое время шла речь. Так вот, порядок еще не наведен...

Простите.

Ваше письмо — первое (о втором лучше пока не говорить) — меня очень тронуло (это — правда), я испытал как раз то, чему Вы не доверяете, в чем несправедливо мне отказываете, т. е.— радость и благодарность; радость — из-за того, что в мире вообще существуете Вы, что где-то там в Вас живу я и что где-то здесь во мне продолжаете жить Вы... и благодарность — за то, что это так, а не иначе. Но эта благодарность — как бы в пустоту, в космос — благодарность «вообще», Вам же лично — за думы обо мне и за *все*. Испытываю я ее и теперь — спасибо.

А «друзьями» моими не обольщайтесь, не обольщайте ими и меня: я думаю, можно умереть у них на глазах,— и они не пикнут. Это, конечно, не мешает оставаться им приятными и весьма уважаемыми мною людьми — уважаемыми без всяких кавычек: ведь не на мне же, в самом деле, свет клином сошелся.

Так что,— пожалуйста,— не сетуйте на моих «друзей» и не считайте меня «избалованным»: если бы Вы знали, как странно во мне звучит это слово!

Очень часто о Вас вспоминаю — и без всякой оскомины, разве только с некоторой болью да с досадой на судьбу. А судьба, кажется, пока еще не веселая, пока еще трудновато жить. Ну, да, авось,— образуется: все в конце концов образовывается...

После Вашего отъезда ничего не случилось — так-таки ровно ничего. Одна тоска.

Тем не менее предлагаю Вашему вниманию следующие «новости».

Главное, это — жара, жизнь здесь начинается лишь с заходом солнца,— да и что это за жизнь, когда ото всех стен пышет, как от горячего пирога (извините за это чересчур уж «аппетитное» сравнение), и под каждым кустиком (если б

можно было здесь действительно найти настоящий кустик!) - не «рай», а тихий ад с банановыми очистками, бумажками и ватным воздухом, словом —«гроб с музыкой» (последние впечатления от Булонского леса). Моя же комната как бы уже вообще выбыла из строя, это уже не «... с музыкой», а без оной; я забираюсь в нее лишь к часам 3—4 утра,— чтобы, с одной стороны, не «изныть» там окончательно от жары, с другой — чтобы ускользнуть от недремлющего ока консьержки. Но — довольно о погоде,— тем более (или тем менее), что в настоящую минуту небо передо мной, как на зло, заволоклось подозрительными облачками, и ни о какой жаре, собственно говоря, уже и речи не может быть.

Перехожу к более веселым вещам.

Вышли «Числа». Я бы этому, конечно, никогда не поверил, если бы не увидел «их», как говорится, собственными глазами и не ощупал собственными пальцами. Так что —«не нужно себя обольщать: «Числа» вышли». Но гуляют по свету пока только два экземпляра, остальные где-то под семью печатями — где и почему, не указывается, но фантазировать на этот счет не возбраняется. Будем ждать газетных сообщений.

Появились в продаже еще два номера «Меча», но об этом, я думаю, можно было бы Вам и не говорить, разве что напечатать петитом где-нибудь на оборотной стороне листа. В связи с этим, как водится,— разговоры: «Меч» позорит «седины Мережковского»... «Меч» нужно «поднять» и т.д. И вот кто-то уже «поднимает», и чем это кончится, никто не знает и — главное — почти никого уже не интересует: «Меч» «заржавел» прежде, чем его успели показать.

Да это и понятно: все здесь понемногу ржавеет и подгнивает, в самом воздухе, которым мы все здесь дышим,— отрава.

Ходят слухи (поддерживаемые такими солидными людьми, как Мережковский, Фондаминский, Адамович и. т. п.), что

«Современные записки»— умирают (еще одна книга),
«Числа»—................»
«Встречи»—....................» (еще 1—2 книги),
«Меч»—...................»-ет

Из этого, конечно, не следует, что они так-таки все и умрут — авось, выживут. Говорят, парижский воздух вырабатывает в организме громадную сопротивляемость: гибнут только пришельцы, а постоянные жители, раз выжив, живут уже до глубокой старости в здравии и благоденствии. Будем

надеяться — почему бы нам в самом деле не надеяться? — и не в таких «переплетах» бывали.

На Монпарнасе, как Вы сами, вероятно, догадываетесь,— все по-старому: мне кажется, что если бы даже какое-нибудь там моровое поветрие скосило всех парижан, то, придя вечерком в Наполи, Вы все же застали бы там Адамовича, Ладинского, Иванова, Варшавского и еще кой-кого, мирно обсуждающих достоинства нового романа. Монпарнас переживет всё, это как притушенный костер — он будет тлеть до бесконечности. Несколько недавних неудачных (теперь всегда неудачных) посещений Монпарнаса ничего не изменили в моем отношении к нему:

Все то же, то же... только нет
Убитых сил прожитых лет...

Между прочим, в одно из таких посещений я видел, как Володя Смоленский передавал Ваши стихи Адамовичу для «Встреч»— передавал очень сериозно и «благородно» без возможной в таких случаях грязноватой иронии, как будто свои собственные,— молодец.

Само собой разумеется, в свое время передал Ваши стихи и я (на этот раз уже для «Меча»); судьба их пока еще не известна.

В ближайшем будущем появится в вышепоименованном журнале мой рассказ («По ту сторону»), конечно, перешлю Вам его без промедления. Мережковские встретили его довольно кисло, но обратно не отдали. З. Н. говорит, что я «не прорвался в реальность» и что «не поймешь, не то это реализм, не то символизм...»; Д. С.— тот более решителен и определенен: «Много хороших мест... сон — плох... и зачем вы превратили его в конце в сверхчеловека!»... В общем — вполне удовлетворительно, по многим причинам я ожидал худшего.

Через Смоленского получил две Ваши статьи. Вы так всех ругаете, что прямо страшно за Вас становится, а за «ультрамолодых»— обидно. Посмотрите на Фельзена, на Варшавского, на Шаршуна — неужто они такие уж «крикуны»? И никогда не было у «Чисел» такого лозунга (ни тайного, ни явного) — «Даешь что-нибудь новое!»— там совсем другой тон, другие слова; «подлинное», «нужное», «главное», «человеческое»— человеческое в каких угодно формах, какою угодно ценой,— вот материал для лозунга «Чисел»... Но «Числа», конечно, не исчерпывают Ваших статей, именно в остальном я вижу много правильного и даже близкого мне. Но обо всем не переговоришь.

Кажется, «новости» мои исчерпаны.

И вот теперь, не считая себя вправе дольше задерживать Ваше внимание, я с болью в сердце обнаруживаю, что, в сущности, почти ничего Вам не сказал даже из задуманного. Вероятно, очень близкое к этому должны испытывать и «Числа»: судьба моего письма — судьба «Чисел».

Говоря откровенно, мне еще хотелось кой о чем порасспросить Вас и рассказать еще кое-что о себе...— ну, да уж ничего не поделаешь — до следующего письма.

Не вздумайте на меня сердиться!

Желаю Вам счастья.

Ваш

А.

Пока еще не нашел возможности ускорить получение паспорта.

. . . .

Ежели Вы помните места из произведений главных русских классиков, где было бы видно отношение их к России вообще, то черкните мне, буду очень благодарен (это — для одной предполагаемой статьи).

Господи! — вот Вы меня, вероятно, ругаете! Все пять страниц об одной литературе! И ни одного ласкового слова! — Тут уже не «холодок», а холодище!

Я сейчас так близко вижу Вас перед собой, и такое особенное у меня чувство, что, думаю, Вы не должны сердиться.

А.

Париж, 28 ноября 1934 г.

Милая Зинаида Алексеевна,

Ваше последнее письмо в Етамп очень меня успокоило, из него видно, что наши с Вами отношения лучше и глубже, чем можно было думать. Вся эта грустная история подтверждает лишь мою слабость — неспособность в нужном случае сдержать себя, неумение различить правду сквозь свое или чужое случайное настроение. Еще раз прошу у Вас прощения.

Написать из Етампа не было никакой возможности: с работы возвращались мы поздно, промерзшие до костей, до ужина отогревались в бистро у керосиновой печки, а потом уже в нетопленой комнате без стола и даже без намека хоть на захудалый какой-нибудь уют — не хватало просто духа взяться за стило. Здесь сейчас свободнее. Работа начнется, не разберешь когда,— не то в конце этой недели, не то на

будущей. Остается лишь поканителиться еще день-два, чтобы разделаться с некоторыми не очень важными, но неизбежными визитами. За свою «писательскую» работу я возьмусь сейчас же после вот этого письма к Вам, но получится ли что-нибудь путное — не знаю. Денежное мое положение, как всегда, неважное, но отнюдь не катастрофическое, смущает меня лишь положение отца (Вы спрашивали), который без регулярной с моей стороны помощи существовать не может. При теперешней безработице именно регулярность эта страшна.

Вы читали, конечно, о смерти Николая Гронского [1], о ней сейчас много говорят, это самое большое событие за последнее время. Ужасно смотреть на Павла Павловича [2], он все силится преоборотъ себя и не может, и не знаешь, что делать. Уже четвертый раз за последние годы я на похоронах, и все хоронят молодых. Как-то нелепо всегда, досадно и больно. Главное — совсем вдруг становится непонятным спокойствие верующего, каким-то пошлым оно кажется и нестоящим перед лицом вот такого Павла Павловича. Помню, когда я подходил к нему в веренице других людей, чтобы из его рук бросить в могилу горсть земли, он вдруг шепотом, почти одним движением губ стал напоминать, как они с Николаем когда-то зашли ко мне слушать рассказ, и потом быстро-быстро со страстью и болью зашептал пожелания — успеха везде и во всем,— и как-то непереносимо было,— какое-то непереносимое, светлое горе. Теперь думаю, что если пожелание — вообще действенно, то такое, как у Павла Павловича, должно гору сдвинуть. Потом Цветаева произнесла слово — твердо, толково и умно,— точно на диспуте, и все понемногу разошлись, оставив у могилы лишь П. П. и его жену (бывшую).

Зачем я об этом пишу — не знаю.

Писать о парижском писательском мире, признаться, немного надоело. Все осудительные слова давно исчерпаны, а публики на Монпарнасе с каждой субботой собирается все больше и больше. Б. Поплавский недавно сказал, что мы, по его мнению, «пересидели большевиков»,— так же, вероятно, и «Париж» пересидит все мнения о нем.

Частности.

1. Мережковские уехали на две-три недели в Италию, где (кроме всего прочего) будут говорить с Муссолини.

[1] Молодой поэт, друг М. Цветаевой, покончивший самоубийством.
[2] Проф. Гронский.

2. В ближайшем будущем (?) выходит будто бы новая «третья» газета под редакцией А. Рысса по инициативе «Сегодня» и продаваться будет по 25 с. за экземпляр.

3. 15 дек. устраивается писательский бал (как в прошлом году). Устроители — те же: Одоевцева, Ольга Львовна, Фельзен и т. д.

4. Предстоит много всяких вечеров, между прочим и — «Вечер прозы», устраиваемый нашим объединением, при участии Газданова, Фельзена, Шаршуна, Одоевцевой, еще кого-то и, кажется, меня.

5. 12-го — подписной обед «Кочевья» (жив Курилка!).

6. Адамович ходит тихий и мирный, отвечает на все вопросы и разговаривает (у него, кажется, денежные затруднения).

7. Иванов, как всегда, отыгрывается на мелочах, острит — и, по общему мнению, удачнее (даже), чем в прошлом году.

8. Одоевцева уговаривает всех не обижаться друг на друга из-за пустяков и очень обижается, если ее не слушают.

9. В., как всегда, ласков и флегматичен и больше, чем когда бы то ни было, подвергается нападкам со стороны Мережковских («Ах, этот слюнявый буддизм!»).

10. Смоленский пьянствует («Мы последние в нашей касте!»).

11. К., раздобыв откуда-то небольшую сумму денег и оставив на произвол судьбы как Ч., так и долги, тайно «смылся» на Юг к О. Б.

12. Ф. больше уже не опасается появляться на Монпарнасе в обществе В.

13. З. царапается с Ч. и не без неприятных для нее последствий.

14. Ч. в оппозиции всему, живет с грехом пополам, нервничает и «разлагается».

15. М. поссорился с Софиевым — очень неудачно.

16. Ладинский простужен.

17. Шаршун — «А вы не знаете, за что меня невзлюбила Шаховская? Она читала что-нибудь мое?» — Нет, кажется, не могла прочесть.— «А, ну тогда ничего... ха, ха!»

18. Ходасевич на обсуждении идеологии «Перекрестка» предлагал знание грамматики стихосложения положить в ее основу. О Вас: «Да, да, у нее хороший вкус».

Я пишу Вам об этих пустячках, надеясь, что издалека они покажутся Вам более любопытными, чем они есть на самом деле. Пытаться объединить их в какой-нибудь общей

идее было бы, пожалуй, еще скучнее. Что может быть вообще скучнее общей идеи?

Очень часто я «вижу» себя у Вас в Бельгии, и как это Вам покажется ни странно (!), но Бельгия совсем не ушла от меня и все время живет где-то во мне и со мной. Я очень ярко представляю себе Вас в особенности в утренние и послеобеденные часы, когда Вы остаетесь в одиночестве, причем из сложной гаммы Ваших (известных мне) настроений жульнически беру то, которое мне больше нравится... Вижу и фыркающего скачущего Аттика [3] и слышу веселый и требовательный, призывающий Вас голос Святослава Святославовича...

От Беликова [4] давно уже — ни слуху ни духу. Что с ним? Не иначе, как что-нибудь «сорвалось», и ему, бедняге, неловко меня об этом оповещать. Напишите о нем, пожалуйста, если узнаете.

Искренний привет Вашей маме, Святославу Святославовичу, Святославу Андреевичу и всем.

Желаю Вам всего наилучшего, и, пожалуйста, не сердитесь.

И напишите побольше о себе (но только в том случае, если Вы эти слова принимаете без обиды).

Ваш А.

Меня избрали секретарем Объединения. Пришлите мне свою фотографию, чтобы изменить карточку. И вообще — если у Вас есть какие-нибудь дела к Объединению, то сообщите, потому что мне теперь все это легко очень обделывать.

[3] Явайский котенок.

[4] Кратковременного редактора «Русского вестника» и «Полярной звезды» в Брюсселе.

Частые упоминания о возможностях отдыха в Бельгии объясняются тем, что бельгийцы чрезвычайно тепло встречали первую русскую эмиграцию, к которой также благосклонно относились король Альберт, королева Елизавета и кардинал Мерсье.

Ввиду того, что молодым русским писателям-парижанам отдыхать было негде — главное не на что,— по нашей с мужем просьбе о. Климент Лялин, русский католик, устраивал желающих в Бенедиктинский Скит в Амей сюр Мез, и монахи монастыря Сент-Андре ле Брюж (около Брюгге) в летнее время тоже давали им приют. Это следует вспомнить с благодарностью.

Суббота

Милая Зинаида — простите, не знаю Вашего отчества.

Получил Ваше письмо 14-го, отвечаю 16-го: эти два дня всех встречных расспрашивал о «прогаре» Поволоцкого [1], а встречные говорили, что он и не думал прогорать. Я им поверил. Если Вам книги нужны и без «прогара» — скажите. Цены могу узнать в «Москве» (с пересылкой). Если хотите, сразу скажу им послать наложенным платежом.

Стихотворенье Ваше «Напрасно синими туманами» давно уже вернул Ремизову и слышал, что оно передано кому-то в «Россию и Славян». У меня есть только Ваше «По заповедной лестнице». Если хотите, чтобы Ваши стихи для сборника лежали в специальной папке — в ожидании первого заседания «редак. коллегии»,— то пришлите их мне. А я буду рад их внимательно прочитать.

Дела Объединения? — Писал ли Вам Юрий Борисович [2] о «книжной полке»? — на вечерах Объединения продаются книги и рисунки (писателей и художников). С каждой проданной книги Об-ние берет себе с членов Об-ния 40 %, не членов —50 %. Проценты за проданные рисунки по соглашению. Может быть, Вы возьметесь за это дело в Бельгии; чтобы оттуда присылали нам книги и, может быть, рисунки (не картины: нет места)? Присылать надо на мой адрес, на мое имя. Никак не наложенным платежом — наоборот, оплатить посылку сполна, а на всякий ответ — марку. Гарантии — что будет продано и в такой-то срок — не даем. Перевод денег автору — на его счет. Если автор жертвует все или часть присланного Объединению — очень его благодарим (через Вас). Не надо забывать указывать продажную цену.— Вот.

Сегодня, в субботу,— вечер чтения и разбора стихов и прозы. В след. субботу — платный вечер: читают Кутузов, Былов, я, Софиев и Поплавский. Через неделю — доклад кн. Щербатова (?) — «Кризис искусства» с «прениями». Еще через две недели — литерат. вечер, на котором — надеемся — выступите и Вы. Начиная с доклада Щербатова, вечера (каждые 2 недели) будут идти на Denfert Rochereau. А раз в месяц — где-нибудь — чтение и разбор. Накопим денег — издадим сборник.

[1] Книжный магазин.
[2] Ю. Софиев.

«Числа» выходить будут, но когда? Оцуп говорит, что вот-вот наберет денег достаточно для целого года «Чисел» и сейчас же выпустит очередной номер, а потом и следующие номера — с законными интервалами. Пока все набирает матерьял, даже меня «набрал», хотя я никаких «шагов» для этого не делал (уж очень я скромен и нет у меня этого вашего писательского зуда — печататься!).

На последней «Зеленой лампе» не был (читал там Кутузов); слышал, что Мережковский неистово возглашал, что гнев, ненависть — и есть христианство, а Кутузов, не менее истово, заявлял, что антропософия — это — христианство. При этом оба обменивались колкостями. Публика, вероятно, покрикивала с мест. Там всегда довольно оживленно. «Кочевье», кажется, давно уже ничего не устраивает.— Единственный способ дать хоть немного помолчать С.

«Перекресток» устроил пустынный вечер, посвященный «Закату» Смоленского. Предстоит вечер Мандельштама — памяти его выходящей книги «Верность», где есть стихотворение о «гневных ногах», а в другом стихотвореньи — строчки:

«...предстанешь ты, со всей любовью
и во всей надежде...» (не: одежде)

1-го был писательский бал. Смоленскому очень идет фрак, а вот, например, Рощин и в смокинге — Рощин. Как выглядел я — не заметил. На мне был распорядит. бантик, главная специальность — лотерея: с двумя балеринами — набрали —700 фр. с хвостиками — с одной 300 и хвостик, с другой 400— и хвостик, а билет — 2 франка [3]. Подвыпил (бантик меня поил), заблаготворительствовался (-25 букв) и только перед самым концом спохватился начать танцевать и даже (подвыпил, а то ведь не умею!) ухаживать, да сразу, в разных залах — за 6-ю очаровательными дамами и барышнями. Теперь немного совестно.

Вот Вам последние события в столице. Если бы найти хоть какой-нибудь способ подработать хоть немного! — Не надо ли в Бельгии столичных рекламных рисунков (моя специальность), столичного корреспондента («собственный корреспондент»), еще чего-нибудь? Я бы постарался, если бы что-нибудь да платили.

Извините мне это лирическое отступление.

Всего Вам лучшего. Пишите, пожалуйста.

Борис.

[3] Этим хочу сказать: что значит женское очарованье!

P. S. Да! — о «культурной жизни». Стараюсь от нее не отставать (да и как отстанешь, живя в столице?). На докладе Эйснера я не был (и вообще его не видел, почему и Вашу просьбу все не могу исполнить). В минувшую субботу был вечер «чтения и разбора». Народа было много. Возник новый писатель — Анатолий Алферов (мы, в минувший тоже вторник, приняли его в Объединение). Читали, после прозы Алферова, стихи. Говорили. Свои стихи промяукала и Ася Берлин. Заговорили о манере читать. Я поспешил (председательствовал) их прекратить: манера вести разговоры, надо отдать справедливость, у многих довольно бойкая. Снова читали стихи; говорили; вечер кончился.

С той же самой субботы началась и иная сторона культурной жизни столицы, только началась она не вечером, а еще днем: я изволил присутствовать на последней репетиции балетной труппы Арцыбушевой. В воскресенье был на 1-м спектакле (зал Иена), в понедельник на 2-м, во вторник — на 3-м. Сегодня перерыв (нет спектакля). Завтра, в пятницу и в субботу днем — буду опять. Программа все та же. Хожу бесплатно. Есть номера более чем скучные. Всего 26 номеров. Тянется 2 1/2 часа. К сожалению, в субботу — последний спектакль. Уже вечером — снова вечер Объединения. Завтра (в четверг) вечер «Кочевья» (о Короленко), но я уже сказал, что завтра — балет. Конечно, пойду не в «Кочевье». Но не следует думать, что я влюблен в балерину. Просто: надо жить культурной жизнью. Обязательно. Из балерин нельзя не отметить, нельзя не посоветовать — всем — посмотреть Ирину (Люсю) Арцыбушеву — характерная танцовщица, особенно en valse triste *, муз. Сибелиуса и танец куклы. Но и все остальные ее номера заслуживают особого внимания. Не меньшего внимания заслуживает Ольга Кедрова — «классичка». Ее природная грация, прекрасные пуанты, классическая точность па — все заслуживает самого большого внимания и вызывает справедливый восторг. Отметим и «кокетку» (в костюме времен Директории), русскую (на пуантах) и египетский танец. Очаровательна и г-жа Красовская.

Вот и все. Читаю книги. Последним «Совр. запискам» радоваться не приходится.

Б. О.

Еще P. S. Кажется, предстоит ряд репетиций балета О. А. Васильева. Похожу.— Все.

Б. О.

* В грустном вальсе *(фр.)*.

ЕДИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГАЗДАНОВА

15/IX/70. Мюнхен

Дорогая Зинаида Алексеевна, Вы так быстро промелькнули в Мюнхене, что я не успел даже как следует поблагодарить Вас за книжку [1]. Теперь я ее прочел — и после этого моя благодарность перестает быть просто долгом вежливости. Я сначала прочел стихи, потом предисловие Адамовича — и с тем, что он пишет, я совершенно согласен. Для меня это было сюрпризом— я, к своему стыду, не знал, что Вы пишете по-русски стихи. Я нахожу, что в них найден очень правильный и очень личный тон, который их делает не похожими ни на чьи другие, кроме того, в них нет того досадного «новаторства», которое чаще всего объясняется каким-то психологическим или творческим ущербом: самые лучшие стихи написаны просто, будь это Пушкин, Блок или Мандельштам. Видите, в каком обществе Вы находитесь.

Я очень отрицательно отношусь к большинству критиков и так называемых литературоведов. Ничего, мне кажется, не может быть менее убедительно, чем какой-нибудь «семантический ряд» или последовательность тех или иных согласных. Главный — единственный, я думаю,— критерий для оценки поэзии, это ее звук. «De la musique avant toute chose» [2] — это всегда будет верно. И прежде всего по отношению к Вашим стихам.

Единственное стихотворение в книге, которое у меня не вызвало никакой положительной реакции, кроме того, что j'admire votre courage [3] (как это сказать по-русски?), это перевод из Alexis Leger, который, как Вы знаете, такой же поэт, как я балерина. Но, может быть, Вы это сделали умышленно, чтобы показать, как не нужно писать высокопарный вздор?

Во всяком случае, еще раз искреннее спасибо за книжку.

Желаю Вам всего хорошего.

Ваш Г. Газданов.

[1] Сборник моих стихов — «Перед сном».
[2] Музыка прежде всего *(фр.)*.
[3] Восхищаюсь вашей храбростью *(фр.)*.

БУНИН

На своей книге «Воспоминания», изданной «Возрождением», Иван Алексеевич Бунин сделал мне в 1950 году такую надпись: «Дорогая Зинаида Алексеевна, когда Ваше Сиятельство будете писать свои Воспоминания, не браните меня так, как я тут бранюсь». Но, конечно, и без такой надписи мне бы в голову не пришло бранить Ивана Алексеевича — не только потому, что я многому научилась, читая его книги, не только потому, что нечастые встречи мои с ним были мне дороги, но и просто из благодарности. Ко мне и мужу моему Иван Алексеевич выказывал неизменно-сердечное расположение, особенно ценное именно потому, что не так уж легко он сближался с людьми. Человек Бунин был сложный и в какой-то мере трудный, но, конечно, по калибру своему он совсем не нуждается в слащавых «агиографических» воспоминаниях о нем. Любил он уважение, но не терпел лести и остался в моей памяти умным, талантливым, беспредельной честности писателем, работавшим, несомненно, безо всякой оглядки на читателя, хотя славу и почет ценил очень, а в деньгах нуждался почти всю жизнь.

Первая встреча наша произошла не то в 1934, не то в 1935 году. Жили мы тогда в Брюсселе. Русская колония, памятуя нашу, и особенно моего мужа, евразийскую молодость и не считаясь с тем, что в 1932 году мой муж ушел из совета Евразийства (он предупредил А. Н. Савицкого, что, по его сведениям, Н. Клепинина-Сеземан, Н. Клепинин, члены совета Е. А., так же как А. Перфильев и В. Яновский, находятся на агентурной службе СССР), относилась к нам враждебно. Был в Брюсселе «Русский клуб», выражавший настроения большинства русской колонии, и члены его предавались вполне безобидным развлечениям толщи эмиграции — играли в карты, устраивали балы, попивали водочку под отечественные закуски и патриотические тосты. Членами Клуба мы, конечно, не были, работы у нас было много, да и захоти мы, нас бы, наверное, забаллотировали. Я начинала писать на французском языке в бельгийских газетах и журналах и, когда Бунин получил Нобелевскую премию, дала о нем статью в «Indépendance Belge».

И вот, совершенно неожиданно, приходит нам письмо от правления Клуба — не угодно ли нам присутствовать на банкете в честь русского нобелевского лауреата. Удивлению нашему не было границ. Но мне так хотелось видеть Бунина, что я уговорила мужа не отказываться.

На банкете новое удивление: посадили меня, несмотря на мою молодость, рядом с Иваном Алексеевичем. Позднее узнала от одного из участников банкета о причине нашего приглашения. Устроители никогда Бунина не читали, не знали его книг (хотя по возрасту своему могли бы прочесть кое-что еще в России) и, боясь, что вдруг писатель заговорит о своих произведениях, озаботились приглашением лиц, могущих дать ему реплику.

Опасения были напрасны, Бунин, который все прекрасно понимал, о литературе в «Русском клубе» говорить не собирался.

Не могу сказать, чтобы мой знаменитый сосед мне очень понравился. В таких случаях Бунин особой ласковостью не отличался. Хотя, как я сказала, чествования любил, но считал, что всюду надо соблюдать свое достоинство, и выражал он это мастерским невниманием к присутствующим, по-актерски высокомерничая, с прекрасно дозированными мгновениями «шармантности». Все же какие-то отношения установились, и Иван Алексеевич начал присылать мне свои книги с надписями и для отзыва, а иногда и письма, всегда по поводу его дел. Одно из них, третье приводимое, без даты (но знаю, что это было в 1936 году), относится к такому инциденту: Бунин возвращался из Праги, и вот гитлеровские таможенники подвергли лауреата самому унизительному осмотру, раздели его догола. Иван Алексеевич был в самом неистовом негодовании, на которое был способен. А заметку о злодеянии я поместила сразу же в «Soir».

Случайно найденное письмо мне от Михайлова напомнило, что зимой 1935 года, по просьбе Михаила Туровца, который устраивал приезд в Брюссель Бунина, я смогла познакомить И. А. с бельгийскими писателями. От лекции на французском языке И. А., по моему совету, отказался, сказал несколько слов (не без сильного русского акцента) о встрече своей с Толстым. Михайлов настаивал на «трапезе», он и сам любил поесть и попить,— но ни бельгийский ПЕН-клуб, ни «Мэзон д'Ар» на это уговорить не удалось. Знакомые Бунина на прием, конечно, были приглашены. Состоялось собрание в помещении ПЕНа, обильном зеркалами и позолотой, в стиле девяностых годов. Слово И. А. я тоже перевела; к несчастью, оно у меня не сохранилось.

Я и посейчас удивлена тем, что в 1925—26 годах, живя в Париже, я с Буниным не встречалась: вероятно, его там не было. Но после той первой встречи в Брюсселе каждый раз, что я приезжала в Париж, я Бунина частенько видала. Иногда он приходил ко мне в ПЕН-клуб, где я останавлива-

лась (на рю Пьер Шаррон, 66. Там было несколько комнат для приезжих членов), потом мы выходили — в кафе, бары, рестораны. Не обладая поразительной памятью многих мемуаристов, я не могу восстановить в точности все наши встречи, ни всё, что Бунин мне говорил; все же кое-что было записано, кое-что и запомнено.

Каким умным, талантливым собеседником был Бунин, и как убеждалась я, слушая его, что никакое образование не может заменить ум, безо всякой ученой подготовки способный к восприятию всего, что существует в мире. Как быстро, как точно понимал И. А. то, что он слышал, да и всю таинственность человеческой природы. Регистр его был широк — и академизм прекрасно уживался в нем с самой простонародной зоркостью, как и высокий стиль — с крепким черноземным словом.

Все в тех же тридцатых годах как-то приехала я из Брюсселя; И. А. встретил меня на вокзале. Комната мне была задержана в гостинице Руаяль (уже не существующей), на бульваре Распай. Мы сели в такси, и по дороге Иван Алексеевич, с обычной своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в русском литературном Париже, выражаясь крепко и по-русски, о своих и моих собратьях. Жаль, не было тогда еще кассет, чтобы сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым лицом, шофер сказал: «Приятно было покатать гордость нашей эмиграции. Я прямо заслушался — ох, и хорошо же Вы знаете русский язык!» — и отказался взять на чай.

В те же годы он пригласил меня обедать к Прюнье на авеню Виктор Гюго. Как всегда в непривычной для него обстановке, да и вообще на людях, входя, принял несколько подчеркнуто барский вид. Комплексов у него было много, а уверенности в себе, кроме как в писателе, не много.

Проведший детство и юность в захолустном мелкопоместном быту, молодость и зрелость — среди интеллигенции все же разночинной, Скитальца и Горького, И. А. сохранил ностальгию по дворянскому миру, к которому, он помнил крепко, он принадлежал по своему роду и от которого был оторван. Б. К. Зайцев, в одной из своих статей, удивлялся, что дворянство уживалось в Бунине с простонародьем, но это неудивительно — помещикам «мужицкое» ближе «интеллигентского». Барство и род уважал он и в себе и в других как что-то имеющее некую и нравственную ценность. Стоит прочесть его воспоминания, где, например, на стр. 159 пишет он о Семеновых и Буниных, или о встрече его с принцем

Ольденбургским, да и страницы из «Жизни Арсеньева», чтобы убедиться в этой ностальгии. В. П. Семенов-Тянь-Шанский рассказал Бунину о Достоевском: «Лучше многих из них (из литераторов того времени) он знал русский народ, деревню... что, кстати сказать, не мешало ему чувствовать себя дворянином, каковым он и был в самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки». То же самое относится к Бунину, и вот эти излишние «барские замашки» он зачастую себе позволял, предполагая почему-то, что надменность или капризность — одна из них.

В ресторане, не успели подать ему первое блюдо, И. А., брезгливо поморщившись, потребовал, чтобы его заменили. Я не впервые присутствовала на такой комедии и сразу ему сказала: «Будете капризничать, я уйду, придется вам обедать в одиночестве, вы ведь это просто так!» И тут, совсем не рассердившись, Бунин заметил: «Ишь, какая строгая, нобелевского лауреата ругаете» и сразу, развеселившись, принялся за еду.

Дальше было хуже, я позволила себе напасть на обожаемого им «самого Толстого».

— Гениальный писатель, когда он не думает, гениальный, конечно, но, боюсь, не очень умный человек,— сказала я.

Отодвинув тарелку, Бунин сурово взглянул на меня:

— На кого лапу изволите поднимать, на самого великого писателя. Н-да! Ну, а что дальше скажете по его поводу?

— Как только перестает он писать то, что видит и чувствует, и начинает философствовать, куда-то девается его художественное чутье. Вот вы гораздо умнее его.

Бунин махнул рукой: «Тоже скажете», а потом, с любопытством: «В чем это вы изволили заметить?»

— Да вот хотя бы в том, что вы за учителя жизни себя не выставляете.

— Да, это правда, учить я никого не хочу. А еще что?

— А еще вот, что вы всякую свою мысль подчиняете всегда художественному чутью. Вот, скажем, если бы вы были против церковных обрядов, не верили бы в церковные таинства, то вы все же никогда бы не написали тех кощунственных слов, которые написал ваш Толстой и которые более присущи какому-нибудь Демьяну Бедному, чем великому писателю.

— Не написал бы,— твердо сказал Бунин.

Если перед Толстым как писателем Бунин преклонялся, то просто как личность, а не только как писателя Бунин любил, пожалуй, одного Чехова. Чехов, по его рассказам,

принимал, вероятно, настоящий свой облик — совсем не тоскующего интеллигента, а деловитого, веселого и, главное, очень доброго человека.

Смолоду бранили меня поклонники Чехова за то, что я не любила его театра, но вот неожиданно нашла я поддержку у Ивана Алексеевича.

— А почему не нравится? — спросил Бунин.

— Да просто потому, что по ранним детским воспоминаниям о помещичьей жизни не верю я в существование Раневской, с пафосом декламирующей свою любовь к старому шкапу.

— Так, так! И еще: какой же купец будет рубить с такой поспешностью вишневый сад, да еще в цвету? Небось сперва соберет урожай и продаст его,— заметил Бунин.— А какой рассказ вы больше всего любите?

— «Степь».

— Умница! И «Архиерей», и «Палата № 6», и «Черный монах». Все это замечательно.

Репутацию свою Дон Жуана Бунин всячески поддерживал, и нет сомнения, что женщин он любил со всей страстностью своей натуры (но Дон Жуан женщин-то не любил). Мне почему-то в донжуанство его не верилось, и легкое его «притрепыванье», типично русское, принималось мною за некую игру, дань вежливости. Все это было скромно, несколько провинциально и даже юношески — так молодость пробует свои силы, а старость хочет показать, что в ней задержалась юность. Думаю, что всерьез принимали ухаживания Ивана Алексеевича только милые, доверчивые и не очень искушенные вниманием знаменитости (иностранных увлечений у него как будто не было). У нас установились самые простые, очень добрые отношения. Бунин со мною, по-видимому, не скучал, а я не могла скучать, слушая его. И поэтому, когда однажды мы сидели в баре Мариньян, неподалеку от Елисейских Полей, и Бунин, только что говоривший о чем-то совсем постороннем, вдруг ошарашил меня: «А вы были когда-нибудь в Венеции? Нет? Ну вот поехали бы со мною туда, увидали бы, как там прелестно — лагуны, гондолы...» Я от неожиданности рассмеялась: «Ну что вы, что вы! Может, там и прелестно, я пока там еще не была, но уж если ехать в романтическое путешествие, то надо быть влюбленным — а для этого годится скорее не так нобелевский лауреат, как молодой человек». Это, конечно, было очень неучтиво с моей стороны, и любой мужчина средних лет на меня бы навсегда обиделся, но Бунин, лишь притворно нахмурившись и так же притворно вздохнув, веско заметил:

«Зато я знаменитый писатель — а вы вот как изволите со мной обращаться» и сразу перешел на другую тему. Предполагаю, что про себя почувствовал облегчение: и репутация была поддержана, и никаких осложнений не последовало.

Эпизод этот нисколько не повлиял на наши отношения, разве что еще улучшил их.

Говорили мы в тот вечер, как часто случалось, о русских парижских писателях. Как и другим писателям его поколения, Бунину не нравился ни один из «молодых». И правда, племя молодое не собиралось стать учениками, продолжателями или подражателями никого из писателей старшего поколения, что им казалось обидным.

— А Сирин? — спросила я.

— Этот-то? Чудовище! Но настоящий писатель,— сразу отозвался Бунин. Я написала об этом отзыве Сирину, и, когда на юге он встретился с Буниным, Сирин сообщил мне, что он «Лексеевичу нобелевскому» припомнил это «чудовище».

Помню прогулку по Елисейским Полям. Шли какие-то очередные выборы. Над зданием «Фигаро» мелькали световые результаты голосования, били фонтаны по светящимся голубкам Лалика. На тротуарах густая толпа. Перед нами парочка. Чужая молодость угнетала И. А. С ненавистью глядя на молодого, атлетического типа человека, обнимавшего свою девушку, Бунин проворчал:

— Вот ведь сукин сын, бедрами так и вертит, что с девушкой-то выделывать будет ночью.

— Право, Иван Алексеевич, что вам ему завидовать, у вас перед ним такое преимущество — талант. Ну, согласились бы вы вернуть себе молодость, перестав быть писателем?

— Это уже глупо,— сказал И. А. с возмущением.— Я не могу отказаться от себя самого.

Мы пошли дальше, в Елисейские Сады, где играл мальчиком Пруст. Над деревьями всходила луна и, не смешиваясь с отблесками фонарей, белила небо. Бунин остановился.

— Да, вот и луна. Молодые писатели все говорят — о чем писать? Обо всем, мол, уже давно написано. Не знают, дурачье, что вот о луне ничего еще никогда не было написано,— и задумчивое, чуть грустное лицо моего спутника отразило самое детское восхищение луной, о которой он сам писал немало.— И о любви, и о смерти никогда ничего еще не было написано,— прибавил он с твердой уверенностью.

Меня как-то трогало и поражало, что такой умный человек, как Бунин, был чрезвычайно уязвим и страдал от давних и все еще не изжитых комплексов. Самый молодой русский

академик, первый русский писатель, получивший Нобелевскую премию, гордость эмиграции — до признанья внутри СССР он не дожил,— даже дальнее прошлое Бунин тяжело переживал. И. А. не принадлежал к людям, у которых душа нараспашку, и вряд ли был человек, которому он до конца раскрылся. По его собственному, данному и мне, завету, «надо всегда перед собою свечу держать», конечно, он и мне не исповедовался. Но говорил со мною прямо и откровенно. А так как я была к нему внимательна, то кое-что, вероятно, все же поняла и из недосказанного.

Кроме своего отщепенства от «подобающей» ему среды, Бунин также тяжело переживал, несмотря на всю свою славу, что он был самоучкой, что не окончил гимназии, что не имел университетского образования... Самое же главное и неизлечимое была рана, нанесенная ему судьбой, историей, революцией: изгнанье. Типично русский человек в своем неистовстве, вне России — несмотря на все свои скитанья, вольные и невольные,— себя не мыслящий, писавший для русского народа, Бунин был оторван и от России, и от читателей, для которых писал. Он ненавидел коммунизм за его хамскую тупоголовость, за разрушение прошлого, без которого нет и будущего, за погашенье духа и творчества, за убийство России, потому что без преемственности нет и культуры,— а цепь культуры была прервана насилием и, может быть, навсегда...

Беспокойный был человек Иван Алексеевич и о смерти думал много и тяжело. В 1941 году записывал в дневнике: «Лежал в страхе, что могу умереть» [1]. Он хотел бы жить в сиянии пантеистической вселенной, в ярких видениях дня, в преизбытке чувств, но вот эта пресловутая «русская душа» — за границей довольно нам надоевшая из-за бездарного ее использования бездарными иностранными, да и русскими писателями и журналистами — не давала ему покоя. Слишком он был одаренным человеком, чтобы быть «веселым безбожником» (Сирин). Было у него и проникновение, и озарение другого мира, как свидетельствуют многие его страницы, но, вероятно, Бунин боялся покинуть земное для духовного, отказаться от чувственной радости, питавшей его искусство.

Много раз говорилось и писалось, что Достоевского Бунин не любил. Но я никогда не слыхала его ругающим Достоевского. Морщился, но не бранился. Сама я, хоть

[1] Все выписки из дневника взяты из «Нового журнала». (Нью-Йорк), где отрывки дневника печатались Милицей Грин.

и сознавая, что персонажи Достоевского — больше души человеческие, чем люди, перебарывала в себе их русские одеянья, их исступленность, истеричность поступков и речи, оголение нутра перед другими почти садистское, стараясь завоевать для себя некую трезвенность ума, дисциплину эмоций, короче говоря, признавая, что следует иметь горячее сердце, но холодный ум.

— Вы заметили, Иван Алексеевич, что все герои Достоевского — праздные люди? — спросила как-то я. Ни праздность, ни неистовство их Бунина не волновали. Он ведь и сам впадал в неистовство — пример тому «Окаянные дни». Но Достоевский ставил вопросы, которые не то что были чужды Бунину, но как-то его пугали. Да и писательский «почерк» Достоевского, в понятии Бунина — небрежный, не мог нравиться мастеру художественной прозы. И еще: Бунин, как и Толстой, был человеком деревни, природы — талого снега, антоновских яблок, запахов вспаханной земли. А Достоевский — человек города, камня, тусклых фонарей, трущоб. Все же Вера Николаевна мне говорила, что за два года до смерти И. А. снова читал Достоевского

Война 1939 года оторвала меня от литературы. Я никогда не чувствовала права писателей на «башню из слоновой кости» или на плот искусства, спасающий их во время всеобщего потопа. Мне казалось и кажется, что в событиях следует быть не только свидетелем, но и участником. А события были тогда немалые. Подготавливая мою «переброску» в Англию, где муж находился после Дюнкерка и работал с одной из групп Резистанса, я из Парижа перебралась в феврале 41-го года в Экс-ан-Прованс. До Грасс было рукой подать, но я не поехала — были другие занятия.

О разных периодах жизни Буниных на юге Франции я смогла составить себе представление уже позже — по рассказам людей, там бывавших, по некоторым замечаниям Веры Николаевны и Зурова, по благородному по своей скромности грасскому дневнику Галины Кузнецовой, с которой я, к сожалению, ни разу не встретилась, да еще по отрывкам из дневника И. А., печатавшимся в «Новом журнале» Милицей Грин, душеприказчицей Зурова (хотя писательские дневники чаще всего о многом умалчивают).

По всем этим свидетельствам видно, что не рай был в Грассе, а некий замкнутый и драматический мирок. Роль грасских событий не была изжита Буниным, Верой Николаевной и Зуровым еще и тогда, когда муж и я в 1948 году встретились с ними снова в Париже. Об этом грасском периоде не принято сейчас писать. Но время идет и настанет

день, когда из тех, кто знал Бунина, в живых никого не останется,— а этот период все же сильно отразился на всех трех обитателях ул. Оффенбах.

Так, издали кажется чем-то противоестественным — это вне личных взаимоотношений тех, кто жил на вилле Жаннетт,— существование некоего писательского общежития. Профессиональные союзы и организации для защиты писательских прав — дело одно: мы одного цеха, хоть и разных пород. Но писательские коммуны — уже нечто вроде гетто. А в Грассе по крайней мере три писателя, под взглядами мемуаристов — среди которых первая Вера Николаевна — были связаны не только личной жизнью, но и профессиональной. Если принять во внимание, что все писатели, от гения до графомана, все же люди особенные — сам позыв к писанию вещь необъяснимая и ненормальная,— то их близкое сосуществование уже представляет тяжесть и трудность, неизвестные, скажем, в летних лагерях отпускников, думающих только о солнце и о купании.

А тут еще прибавилась и тяжесть личных отношений. Всем было трудно в Грассе, но последствия особенно драматически отразились на Леониде Зурове. После первого удовлетворения — обрести наконец ученика, писателя, хотящего идти по его стопам, у Бунина отношение к Зурову переменилось. Во-первых, опять-таки, по виду здоровая молодость Зурова его раздражала. А Зуров, тщательно и трудно писавший (это стоило ему невероятного напряжения), мучился не только творческим бессилием, но и своим положением — уже не любимого ученика и приемного сына, а подсознательного орудия реванша Веры Николаевны, в некоторых случаях проявлявшей исключительное упорство. Уйти же было некуда, и Зуров, у которого были и другие причины душевного неравновесия, не выдержал — и последствия травмы были и для него и для Веры Николаевны драматичны до конца их жизни. Все четыре участника грасского периода были люди хорошие, и поэтому-то все и мучились, каждый по-своему.

Как будто с 1939 года по 1948-й прошло не так уж много времени — нам оно показалось молниеносным из-за множества событий,— но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова вошли в квартиру на ул. Оффенбах. Чувство это было — жалость, и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький, хилый старичок стоял перед нами,

и я почувствовала, что ему стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся так хорошо нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чудесная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем. Он рассказал нам о своем посещении советского посла — кто тогда не надеялся, что победа принесет и перемену в России? — но категорически заявил, что в СССР он не вернется, «там мне делать нечего». А для него выбор между бедностью и смертью на чужбине — и обеспеченностью и славой на родине должен был быть тяжел. Все так же оставалась в ослабевшем теле непоколебимость совести.

Не только бедность и постаренье И. А. вызывали жалость. В нем в ту пору остро чувствовался непреодолимый страх смерти — и если был на свете человек, томящийся о бессмертии, то это был Бунин. Все естество его противилось тлену и исчезновению. С такой же яростью, с которой он ощущал жизнь, земные радости и цветенье, предчувствовал и понимал он и тленье. Не было в Бунине мудрости и пресыщенности Соломона, но жила в нем память о конце всего существующего, память Экклезиаста.

Вера Николаевна тоже, конечно, постарела, но оставалась все такой же «ясной». Хорошей домоправительницей она никогда не была, да и авторитетным характером не отличалась, хотя было в ней упорство. Изменился и Зуров. Несмотря на обычное для него видимое спокойствие и медлительность, глаза его были странно встревожены. И, как будто чувствуя теперь ответственность, данную ей Богом, за две близкие ей и теперь всецело зависящие от нее души, Вера Николаевна особенно приободрилась.

Бедность Буниных была удивительна. При умении и малой доле практичности денег Нобелевской премии должно было хватить им до конца. Но во времена «жирных коров» Бунины не купили ни квартиры, ни виллы, а советники по денежным делам, видимо, позаботились больше о себе, чем о них. Все письма Бунина в эту эпоху вопиют о бедности и нужде, об обмане издателей, о нерадивых адвокатах. Впрочем, уже в 1936 году запись в дневнике Бунина от 10/5 такова:

«Да, что я наделал за эти два года... Агенты, которые вечно будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки доходу... И впереди старость. Выход в тираж».

В те годы, когда не уплыли еще необъяснимым способом деньги Нобелевской премии, Бунин имел репутацию скупо-

ватого человека — я сказала бы скорее, что у него были попытки к бережливости, все из того же страха оказаться снова нищим. Все же немалую сумму отдал он собратьям, а тут налетела туча новых почитателей, появились опекуны. В денежных делах Бунины были беззащитны, а опекуны — легкомысленны или вероломны. Как-то, вопреки своей воле, И. А. в ту пору, в тридцатых годах, деньги все-таки тратил: одной из молодых писательниц вставил зубы, другой купил платье, еще кого-то чем-то одарил за то, что поплясали перед ним,— и дом Буниных остался пустодомом. Так внезапно после эмигрантской нищеты разбогатевший, Бунин из круга эмиграции не вышел, новых связей не завязал и на Западе читателей не обрел.

Что книги Бунина на иностранных языках продавались плохо — это участь многих лауреатов. Сама тематика Бунина, его художественная, но не соответственная новым веяниям проза в чужом мире оказались не прибыльными. Издатели же — не филантропы, они поддерживают книги (и писателя) только тогда, когда с самого начала видят, что те могут стать бестселлерами.

В 1949 году вышел мой первый роман по-французски «Европа и Валериус», который получил премию Парижа и благоприятные отзывы критиков. По этому случаю я возобновила заброшенные связи с французскими литераторами, и, кажется, это вечная попечительница русских зарубежных писателей, Софья Прегель, надоумила меня обратиться во французский ПЕН-клуб и через его посредство собрать немного денег для Буниных.

Председателем в то время был, после Жюля Ромэна, насколько мне помнится, Жан Шлюмберже, уже старый человек, а генеральным секретарем все тот же милейший и отзывчивый Анри Мембре. Если я к русским судьбам и их превратностям привыкла (мы сами с мужем уже хорошо знали русские горки «то на коне, то под конем»), то Анри Мембре русское чудо — бедность писателя, получившего Нобелевскую премию,— так изумило, что он мне с трудом поверил. Поверя, принялся за сбор. Надо сказать, что многие писатели откликнулись на призыв, в том числе и Мориак. Собрано, кажется, было около 30 000 старых франков, сумма тогда немалая. Сам Мембре понес ее Буниным.

Потом мне рассказывал: «Знаете, я даже растерялся. Обстановка самая убогая. Но у Буниных сидела толпа людей, кто на чем мог, и все что-то пили и закусывали. Я подумал — ведь на такое количество людей денег этих хватит

не надолго, а второй раз собирать нельзя». И правда — это была капля в океане нужды.

Но и в старости, в болезни и нужде, Иван Алексеевич писал все с той же строгостью к себе и с такой же тщательностью. Совсем несправедливо было принято не говорить о Бунине как о поэте. У него есть прекрасные стихи, нисколько не уступающие по своей художественности и талантливости его прозе. Явно к парижской «школе» он не принадлежал и все же был хоть и старшим, но ее современником — так, между новым поколением поэтов и Буниным не было того промежутка времени, который делал им близким, скажем, Тютчева и Фета. Бунин свое неприятие как поэта переживал болезненно. Знаю это хотя бы по тому, с какой радостью и благодарностью он на меня смотрел, когда я что-либо цитировала из одного или другого его стихотворения — «И тихо как вода в сосуде стояла жизнь ее во сне» или «Но миг один — и в темноту, в забвенье / Уже текут алмазы крупных слез / И медленно их тихое паденье». Торжественность и простота, не только настроение,— которое главным образом и отмечали в своих стихах молодые поэты,— но и мысль, и природа, уже почти забытая многими пленниками каменных городов.

Из уцелевших моих записей этих лет нашла две.

— Бунин о Жиде: «Вот переписываются два нобелевских лауреата. Весь мир ждет-не дождется, когда все это будет опубликовано. А письма вот о чем. Жид мне: «От астмы дали мне очень хорошее средство, удушье по ночам почти исчезло», а Бунин ему: «От кашля очень помогают сюпозитуары из эвкалипта, что же касается геомороев, то их надо лечить так...» Вот тебе и слава!»

Другая запись от 27 апреля 1950 года.

— Бунина стрижет парикмахерша. Он сидит перед зеркалом: «Как же это так, мне неудобно, что перед вами. Вот и говорить не могу, такая астма». Вера Николаевна совсем измученная и с глушинкой. И. А. ее теребит: «Где моя пипка? Где мой платок?» Сердится: «Ах, ты всегда глупость скажешь, не говори глупостей». Приходит Зуров. И. А. сразу как-то угасает, сдерживается, чтобы не раздражаться. Зуров что-то бубнит спокойным тоном. Вера Николаевна говорит: «Ян мне такое диктует, такие вещи про Маяковского, Есенина, Горького, что они ему с того света мстить будут». И. А.: «Не могу переносить всех этих, которые то с Георгием Победоносцем или как Брюсов... А потом в другую сторону спинку гнут. Есенин, у него даже особая черта была — ухаживая, приглашал «посмотреть», как пытают в Чека».

Я: «Да ведь не выдержал же. Сам себя наказал».

— А что вы обо мне пишете?

Я писала статью к его 80-летию. Я что-то говорю о классиках и романтиках, о художественном реализме.

Бунин: «Так, так. Только чтобы не спутали с академичностью, классику-то!»

Я: «А внешностью, я пишу, вы похожи на Вольтера».

Бунин, недовольно: «На Суворова. А в молодости, поверьте мне, я был широкоплеч».

Я: «Да, правда, у вас что-то общее с Суворовым, а глаза острые, злые».

Бунин: «Ну вот, злые. Чем же я виноват, что кругом себя свиней вижу».

Я: «Это как у Гоголя, свиные рыла, только это же искушенье и наважденье».

Было за что Бунину на меня сердиться — а почему-то не сердился. Ведь, случалось, и за меньшее выходил из себя. Вероятно, прекрасно понимал, что откровенность моя была основана на большом уважении к нему и на сердечной привязанности, в которой, согласно моему характеру, отсутствовал «культ личности». И к мужу моему относился он также дружественно.

Впрочем, Иван Алексеевич был порядком недоволен мною за то, что я не восхищалась «Темными аллеями», появившимися в 1946 году, когда муж был в бельгийском посольстве, а я журналисткой летала по «темным аллеям» послевоенных лет; поэтому он сделал мне на этой книге объяснительную надпись (см. письма).

Трудно точно сказать, что мне не понравилось в «Темных аллеях». Порнографии нет в ней и помина, у Бунина эротика всегда трагическая. Смерть и в «Легком дыхании», одном из лучших бунинских рассказов, и «Солнечном ударе», и в «Деле корнета Елагина». Любовь страшна, импульс страсти — импульс самоуничтожения. Как и все большие русские писатели, Бунин был целомудрен, о половых извращениях как-то даже как будто и не подозревал. Не было в нем ни сладострастного сюсюканья плохих писателей, ни незадумчивой веселости французских галантных авторов, ни полнокровной жизнерадостности Рабле, ни извращенности современников.

Но вот в «Аллеях» все же привкус натурализма, какой-то, что ли, провинциальности. Да к тому же русский язык таков, что в делах любви больше ему подходят намеки, многоточия, умолчания. Что-то выговаривала я ему и по поводу «воспоминаний».

— Повезло вам, И. А., что они ответить не могут.

И на то тоже ответил он надписью, приведенной в начале этих воспоминаний.

Перед нашим отъездом в Марокко, в конце 50-го года, мы несколько месяцев жили в Пасси, совсем уже в близком соседстве с Буниными, и видались часто. Бунин полеживал у себя в спальне, к нам выходил шаркающими, плохо отрывающимися от пола ногами, с тюбетейкой на голове, и старательно молодцеватым голосом спрашивал: «Небось противно на меня смотреть?», и тонкое, породистое его лицо оживлялось и молодело.

Народу у Буниных бывало много. Напротив жили его друзья, Нилусы, вдова и дочь художника. Приходили бывшие молодые писатели, любимица его Олечка. Приходили и люди, стоящие далеко от литературы. Вера Николаевна хлопотала, ей помогали, откупоривались бутылки с вином, появлялись печенья, иногда и бутерброды, собирались какие-то остатки пищи и все разговаривали о том и о сем. И. А., устав, удалялся в спальню, но гости не уходили. Вера Николаевна вытаскивала очередной подписной лист — на помощь кому-нибудь, на издание книги, на продолжение учения, а то и просто на оплату кому-то квартиры. Явное неблагополучие было во всей этой кутерьме, и денежное положение всегда катастрофично, но ни личные, ни денежные трудности не могли погасить сияние доброго лица Веры Николаевны. Забота об Иване Алексеевиче, забота о Зурове, забота попутная о десятках других лиц была ее уделом, и сознание своей необходимости удвояло ее силы.

Как часто встречается, к самому близкому существу и Иван Николаевич, и Зуров чувствовали больше всего раздражения. Иногда мне казалось, что если бы — не только в конце сороковых годов, но и раньше — Вера Николаевна в припадке настоящего или мнимого гнева и возмущения хлопнула бы по столу, разбила чашку и закричала, то всем домашним стало бы легче жить, и что тихая ее покорность и облик мученицы, все переносящей, не разряжали, а сгущали атмосферу.

Как-то раз случилось, что я не выдержала очередного резкого выпада И. А.— я с ними была одна — и, встав, сказала: «Не могу я слушать, как вы говорите с Верой Николаевной! Я уведу ее с собою попить кофе». Мы ушли, сели в кафе на площади Пасси. Там, с обычной своей улыбкой на бледном лице, Вера Николаевна сказала: «Вы совсем напрасно, Зиночка, за меня обижаетесь. Ведь я сильная, куда сильнее Яна. Вот он, бедный, всего боится: бедности — все

не может забыть, как его семья какую-то зиму пробавлялась только яблоками,— и болезни боится, и смерти, а я ничего не боюсь». И правда, в слабости своей Вера Николаевна обладала духовной силой, помогающей ей даже и не замечать того, что замечали другие. Там, в кафе на Пасси, никогда не жалуясь, а просто радуясь возможности поделиться, Вера Николаевна говорила то о проблемах Зурова, то объясняла Ивана Алексеевича. Рассказывала, часто называя имена (а иногда о них умалчивая) кое-кого из тех, кто, пользуясь слабостью И. А., «уведут его в кафе, там угостят коньяком, ему запрещенным», попросят дать им на прочтенье письма Жида или Мориака и забудут эти письма вернуть, как и книги с автографами. Не осуждала, нет, но хотела, чтобы я поняла, что и продавать-то будет нечего.

О грасских днях говорила мало, все больше намеками, и опять-таки злобы ни на кого не затаила. Вообще, удивительная была она женщина — и если вдуматься, то она была права, Иван Алексеевич был человеком слабым, а она очень сильным, несмотря на то, что казалась бесцветной и затушеванной. «Напрасно, Зиночка, вы за меня волнуетесь».

Вера Николаевна была права. В неверном опасном мире единым якорем спасения для Бунина была верная душа его жены. Вероятно, после смерти его Вера Николаевна смогла прочесть скупые, редкие, но такие всеобъясняющие записи, как те, которые привела Милица Грин, публикуя выдержки из дневника И. А. в «Новом журнале».

От 15.7.35.

«Вчера был у Веры Манн (доктор). Ужасные мысли о ней. Если буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире».

От 25.5.42.

«Тоска, страх за Веру. Какая трогательная. Завтра едет в Ниццу к доктору, собирает свой чемоданчик... Мучительная нежность к ней до слез».

Была ли В. Н. умна? Право, я об этом не задумывалась. Она была все же необычайным человеком, и замечалась в ней не так житейская мудрость, как мудрость сердца, а главное — почти нечеловеческое терпение. Любила она пошутить и часто улыбалась. Вероятно, чтобы не остаться в долгу перед успехами Ивана Алексеевича, иногда, говоря о молодости, намекала, что и с ней «всякое бывало», и тогда по ее целомудренному лицу скользило совершенно чудесное и неубедительное кокетливое выражение.

Жалости к себе она никогда не чувствовала. И из одного служенья Бунину сразу приняла на себя и больного Зурова, несмотря на опасность, с этим связанную. Для Зурова по-

смела ослушаться Бунина — продала после его смерти часть его архивов в СССР, чтобы после ее смерти хоть какая-то ничтожная пенсия обеспечивала бы жизнь «Лени».

Последний выход Ивана Алексеевича был в ПЕН-клуб. Кажется, по почину Водова, тогда одного из редакторов «Р. М.», меня попросили устроить в ПЕН-клубе, иностранным членом которого Бунин состоял, торжественное собрание по случаю его 80-летия. Оно состоялось 30 июня 1950 года.

Приглашений разослали много. Председателем ПЕНа был тогда уже Андре Шамсон, бывший в Резистансе «полковником Берже». Присутствовали французские писатели и русские друзья Буниных. И. А. сидел в первом ряду, торжественный и подтянутый. К сожалению, после переезда ПЕН-клуба в новое помещение, а также из-за разных событий, в нем произошедших (смена правления и секретарш), мне не смогли отыскать бюллетень, в котором подробно описывалось это последнее (при его жизни) бунинское торжество. Я, помнится, прочла несколько слов о Бунине, а затем мой перевод о его первой встрече с Толстым. Андре Шамсон мне потом сказал, что он навсегда запомнил то, что Толстой сказал молодому Бунину о счастье. Самолюбивый же Бунин, хотя много читал по-французски и изъяснялся довольно свободно, от благодарственной речи отказался и только, встав, с непередаваемым достоинством три раза сказал: «Мерси! Мерси! Мерси!»

Незадолго до нашего отъезда из Парижа я зашла к В. Н. попрощаться. Она была одна. Иван Алексеевич лежал тогда в католической клинике на ул. Удино (на той самой, на которой советские агенты похитили Кутепова). Вера Николаевна настойчиво просила меня поехать с ней его навестить. Я отнекивалась, догадываясь, что И. А. будет скорее неприятен мой приход. В. Н. настаивала. Может быть, не отдавая себе в этом отчета, она хотела мне показать Бунина в его слабости. И. А. лежал один в комнате, после операции простата. Как я и ожидала, увидев меня, он пришел прямо в панику: «Ах зачем, ах зачем, что на меня смотреть? Ведь противно на старика смотреть! Хорошо еще, что меня только что брат побрил» (клиника обслуживалась монахами). Стыдливо прикрывая худую шею, затем окутывая ее шарфиком, он, несколько приосанясь на подушках, скоро забыл о своем «унижении» и бодро заговорил о постороннем.

Мы были в Северной Африке в год смерти Бунина и не присутствовали на его похоронах. Когда мы вернулись, В. Н. очень просто и безо всякой жалости к себе нам рас-

сказала о его последних минутах — все же умер он на ее руках.

После смерти Бунина, в мое отсутствие из Парижа, в ПЕН-клубе состоялось собрание, посвященное его памяти (февраль 1954 года). На нем прочли и присланный мною текст. Перед этим в театре Вье Коломбье состоялся артистический вечер, устроенный небезызвестным в те времена антрепренером Рогнедовым, возглавлявшим Комитет чествования памяти Бунина. В «Нувелль литтерер» появилась моя статья «Иван Бунин, Нобель и свобода».

И в прочтенном моем тексте, и в моей статье в «Н. Л.» я упомянула о том, что в русской дореволюционной, и в нашей эмигрантской литературе Бунин стоял особняком. Современник и Толстого и Набокова, он всю жизнь оставался вне всяких течений и создал свою, особую, бунинскую «рапсодию». Массового читателя у него здесь не могло быть. После премии все его хвалили и им гордились, но читали его не так уж много. Иностранцам же остался, после первых недель нобелевской славы, неизвестным. В Россию-СССР он пробился только посмертно — вначале под строгой цензурой, за которую я упрекала Паустовского, когда он был в Париже,— но ведь он был не виноват... Зато, как только открылся к нему доступ, Бунина полюбили на его родине. В шестидесятых годах я вела в русской секции ОРТФ культурные передачи. И на ту, в которой я говорила о Бунине, было множество откликов советских слушателей. Называли они меня, знавшую писателей старшего поколения, «живой связью времен». Один из них, рабочий, прислал нам в ОРТФ семена русских цветов, прося их вырастить и, когда расцветут,— отнести на могилу Бунина (что и было сделано).

Выше всего ценил в себе Бунин свое призвание писателя. Как-то с усмешкой и гордостью он обратил мое внимание на то, что несет на себе «стигматы» писательства: правое плечо несколько выше левого, второй и средний палец правой руки деформированы пером... Таланта своего в землю Бунин не зарыл и со словом обращался честно.

---

3 апреля 1961 года, узнав о кончине Веры Николаевны, я пришла на первую панихиду. На этой панихиде царствовала не скорбь, а какое-то особое, светлое чувство, как будто мы провожали очень хорошего человека, который наконец возвращался к себе — домой.

Если перечтем мы бунинский рассказ «Бернар», написанный им в 1930 году на юге Франции и посвященный только что скончавшемуся французскому матросу, с которым Мопассан выходил в море на «Бель Ами», то увидим мы то, что так восхищенно ценил И. А. во всех людях и что уважал в самом себе. Умирая, Бернар сказал: «Думаю, что я был неплохой моряк».

«А что хотел он выразить этими словами? — пишет Бунин.— Радость сознания, что он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет, но то, что Бог всякому из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю... Бернар это знал и чувствовал, он всю жизнь усердно, достойно, верно исполнял скромный долг, возложенный на него Богом, служил ему не за страх, а за совесть. И как же было ему не сказать того, что он сказал в последнюю минуту своей службы? «Ныне отпущаеши, Владыко, раба Твоего, и вот я осмеливаюсь сказать Тебе и людям: думаю, что я был неплохой моряк»... Каждый, каждый из нас должен заслужить себе право в некий час сказать так, как сказал, умирая, Бернар».

Вот что написал Бунин о Бернаре. И сам он всю жизнь, по завету Гоголя, обращавшийся со словом честно, не написавший ни одной строчки в угоду людям или из-за соображений выгоды, мог сказать, умирая: «Мне кажется, я был неплохой писатель».

Напечатано, без писем, в
«Континенте» № 3, 1975 г.

ПИСЬМА БУНИНА

В моем архиве имеется 19 писем Ивана Алексеевича Бунина, собственноручный его список его книг на голландском языке и его возмущенные примечания на полях перепечатанной статьи о нем из Советской Энциклопедии.

Просьба Бунина не печатать его писем не может обязывать адресатов. Всякое полученное письмо делается собственностью лица, его получившего; как и дневники писателя, они — часть литературного его наследства. Вероятно, помня, как часто он писал в состоянии запальчивости и раздражения, что частенько выливалось в формы нецензурные, Бунин и просил их гласности не предавать. Дело такта адресатов выбрать из ими полученных те, которые пригодны для печати. Я публикую мои, так как они показывают очень красноречиво, как трудно жилось первому русскому лауреату Нобелевской премии.

Вторник

Милая Зинаида Алексеевна.

К сожалению, завтра не увидимся: завтра уезжаю — или утром или в 7 вечера. До свиданья, всего доброго и всяческих успехов!

Ив. Бунин

2/4—36

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Получил Ваше письмецо. Я на Пасхе или тотчас после Пасхи тоже надеюсь быть в Париже (1, rue Jacqes Offenbach. Тел. AUT. 17—88). Если встретимся, буду очень рад. Позвоните.

Ив. Бунин

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Окажите услугу: устройте как можно скорее перевод [1] этой истории в «Le Soir» (или куда-нибудь).

Привет Вам и супругу.

Ваш Ив. Бунин

10/4—38

Очень благодарю, дорогая Зинаида Алексеевна, за «Soir». Русский текст «Жизни А.» распорядился выслать Вам — 1-й том только, ибо второго (начало которого есть в «Elle») по-русски еще нет в отд. издании.

Целую Вашу руку, кланяйтесь Вашему мужу.

Ваш Ив. Бунин

25/6—39

Милое Ваше Сиятельство.

Оч. благодарю за «Enfance» [2], кланяюсь Вам и супругу (как его роман?) [3]. Я теперь в Грассе Villa Belvédère, Grasse, A. M.

Ваш Ив. Бунин

---

[1] Заметки об унизительном обыске, которому Бунин был подвергнут германскими таможенниками.

[2] Моя книга, выпущенная в Париже летом 1939 г.

[3] Муж писал тогда роман «Мнимые числа».

(После войны, дата не установлена)

Воскресенье.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

очень нужно повидаться. Будьте добры навестить меня возможно поскорее (от 4 часов дня).

Ваш Ив. Бунин

15 Апр. 1948

Дорогая Зинаида Алексеевна, очень благодарю за все Ваши заботы обо мне! Насчет письма к этому Henri...? [4] *ни фамилии ни адреса которого не могу разобрать,* решаюсь беспокоить Вас просьбой вложить это письмо (здесь прилагаемое) в конверт, надписать на нем имя и фамилию и адрес адресата и бросить в ящик на прогулке (надеюсь, что дойдет и не заказное). Вошел ли я в члены французского PEN-Club'а и *когда,* не помню.

С Галлимаром поступите, как найдете лучше. Верно, что издательство (действительно, очень скупое) уже может дать теперь ответ, берет оно «Темн. А.» или нет — и на каких условиях. Что за издательство Corré [5] (?), не знаю. Копии французск. перевода «Аллей» у меня, к сожалению, нет. В Англии и в Америке «Аллеи» выйдут, вероятно, не раньше осени.

Сердечно целую Вашу руку, дорогой друг.

Вашего Сиятельства
при всех обстоятельствах

покорный слуга Ив. Бунин.

Как только приедем в Париж (билеты уже взяты — на 23 апреля), тотчас позвоню Вам.

Надеюсь, что получили «Летописные заметки» со статьями Вашего братца и статьей Степуна обо мне? Послал заказной бандеролью.

1, rue Jacques Offenbach, Paris 16e
AUT. 33—22

9 июля 1948

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Вы уезжаете — и, конечно надолго. Беспокоюсь: где злосчастная рукопись перевода моих «Темных Аллей»? У какого-нибудь издателя или у Вас? Думаю, что лучше

[4] Henri Membré, ген. секретарь фр. ПЕН-клуба.
[5] Изд. Correa.

было бы, если бы она возвратилась ко мне до лучших времен, и потому сделайте одолжение написать мне словечко, не могу ли я взять ее у Вас, если она у Вас, или у какого-нибудь издателя, если она не у Вас? Если да, то как это сделать?

Целую Вашу руку и прошу передать мой сердечнейший привет Вашему мужу.

Ваш Ив. Бунин

Если мне придется беспокоить Вас каким-нибудь вопросом в связи с моим голландским делом, то к Вам обратится от моего имени хороший знакомый, адвокат Евгений Адамович Фальковский (E. Falkovsky, 7, rue de Musset, tél. AUT. 57—27), которому я поручил это дело — т. е., точнее сказать, сношение по этому делу с голландским адвокатом: сам я вполне идиот в подобных делах.

А куда именно Вы едете? Каков будет Ваш летний адрес?

(1949)

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Еще летом был у меня адвокат из Голландии, взявшийся вести мое дело с мошенниками-издателями голландскими, наговорил много слов, из коих следовало, что дело пошло отлично, а затем как в воду канул — до сих пор ни слуху ни духу о нем! А я никогда не мог прочесть ни его фамилии, ни города, где он живет. Помогите, дорогая, если можете! Вы его фамилию и город знаете,— Ваш милый, добрый муж во всяком случае знает, он мне диктовал письмо к этому адвокату еще прошлой весной,— так напишите ему, пожалуйста, узнайте, что значит его молчание.

Целую Вас, кланяюсь супругу.

Ваш Ив. Бунин

29/3—1949

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Я уже давно нашел адрес моего голландского адвоката:

G. C. A. Oskam
Roadyhur in Net
Bynacrodir Gerechtshof
Sonsbeckcory 26. Aruhem

и давно написал ему, спросил, почему нет от него ни слуху ни духу уже больше полгода и что сталось с моим злосчастным делом, и не получил от него ни словечка в ответ. Что

же мне делать? Где Святослав Святославович? Не будет ли он опять добр узнать что-нибудь в голландском посольстве в Париже? Кланяйтесь ему.

Простите, что беспокою, и позвольте поцеловать Вас.

Ваш Ив. Бунин

Среда, 17 ноября.

Дорогая Зинаида Алексеевна, простите, пожалуйста, опять беспокою Вас: затерял Ваше письмо с адресом того, у кого перевод моих «Темных Аллей»! Ужасно боюсь, что рукопись эта пропадет, нужно взять ее у этого господина — сделайте одолжение, черкните словечко: где он и кто он и когда его можно видеть? И еще просьба: отчаявшись *продать* «Темные Аллеи», хочу предложить некоторые рассказы из этой книги — напр. «Натали», «Чистый понедельник» — в какой-нибудь ежемесячный журнал, в revue: посоветуете, в какой именно обратиться?

Целую Вашу руку, поклон Вашему мужу.

Ив. Бунин

Воскресенье.

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Кланяюсь в ножки Вашего Сиятельства и покорнейше прошу сообщить: где Вы и где те книги (две), что я дал Вам для Бельгии? Если они у Вас, я буду спокойно ждать, когда представится случай взять их назад.

Вы говорили Вере Николаевне что-то вроде того, что я еще связан с издательством «Le Pavois» насчет издания моих «Темных Аллей»: это не так; «Le Pavois» дало мне письменное удостоверение, что я вполне свободен от контракта с ним — вообще от всего и в частности от издания у него этих несчастных «Аллей».

Сердечный привет Вашему мужу, которого я очень полюбил.

Ваш Ив. Бунин

---

6 мая

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Очень, очень тронут Вашей добротой ко мне, очень благодарю Вас! Прошу простить столь поздний ответ на Ваше письмо от 30 апр.— приехав, тотчас сильно простудился, ле-

жал в постели. Пожалуйста, передайте мою сердечную благодарность Вашему мужу за его разговор обо мне в голландск. посольстве и с Бр.-Парэном [6]. Рукопись перевода «Темных Аллей» взять у этого Парэна обещал мне Адамович. Как возьмет, тотчас Вас извещу.

Главное — очень хотелось бы повидаться с Вами, как приедете. Может быть, Вы уже приехали, вернулись? И может быть, будете добры позвонить мне по телефону нашей соседки, м-м Нилус — AUT. 33—32? Звонить можно до 12 (т. е. до полдня), а затем — после 2-х до 3-х и от 6 до 8 вечера.

Целую Вашу милую, энергичную руку.

Ваш Ив. Бунин.

От Пепчи-Тетьче (?) получил очень любезное письмо.

---

16 мая

Дорогая Зинаида Алексеевна, я получил французский перевод «Темных Аллей». Угодно ли Вам попытаться пристроить их где-нибудь? Если да, когда прикажете доставить Вам рукопись?

Позволяю себе ждать, что Вы известите меня запиской или по телефону (AUT. 33—32, у м-м Нилус), и целую Вашу руку.

Ваш Ив. Бунин.

---

23 сент.

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Так как уже ясно, что из Ваших добрых забот устроить мои злосчастные «Sombres Allées» у французов ничего не вышло, как бы мне получить обратно рукопись перевода их? Где эта рукопись? Если у какого-нибудь издателя, попросите его вернуть ее Вам, чтобы Вера Николаевна могла заехать к Вам за ней. Черкните словечко в ответ. Целую Вашу руку и шлю сердечный поклон Вашему мужу.

Ваш Ив. Бунин

---

22 июля 1949 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Я опять был очень болен — простите, пожалуйста, по этой причине, что не тотчас же поблагодарил Вас за Ваш

[6] Brice-Parrain — из изд. Галлимар.

подарок, за Ваш роман [7]. Прочел его с интересом и с удовольствием и надеюсь, что скоро будет следующий — с большим движением и действием.

Целую Вас и желаю успеха и всяческих благ. Поклон милому С. С.

Ваш Ив. Бунин.

1, rue Jacques Offenbach
Paris 16[e]

6 авг. 49 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Сделайте одолжение, напишите мне, где Вы? Куда Вам писать? И до какого времени? *И когда надеетесь вернуться в Париж?* Не утруждайте себя — напишите только несколько слов, на открытке. Я хочу с Вами посоветоваться — только посоветоваться — насчет одного дела, письменно или устно.

Заранее благодарю Вас и целую Вашу руку. Сердечный поклон С. С.

Ваш Ив. Бунин

„Maison Russe", villa Le Tourrel
Juan-les-Pins, A. M.

(Записка)
3 мая 1950 г.

Как не вижу Шаховскую
Сам не свой хожу! Тоскую!

И. Бунин

Кланяюсь в ножки!

---

22 июня 1950 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

уж не помню твердо, что именно Вы говорили мне насчет собрания PEN-Club'a.

Кажется, оно будет 30 июня. Если да, то когда, т. е. в *каком* часу, и где?

И *что* будет на нем? И *кто*?

[7] Мой первый франц. роман «Europe et Valerius» («Европа и Валериус»), получивший в 1949 г. премию Парижа.

И можно ли мне пригласить туда некоторых своих друзей и знакомых?

Вообще хотелось бы поговорить с Вами — устно или письменно — по этому делу подробно. Будьте милостивы и ласковы как-нибудь снестись со мной.

Заранее благодарю и целую Вашу энергичную руку.

Передайте, пожалуйста, мой поклон Вашему мужу.

Ваш Ив. Бунин

Телефон (на всякий случай): AUT. 33—32 (у м-м Нилус) от 11 до 12 и от 4 до 7—8.

Приложение

67, rue de Passy, Paris 16ᵉ
tél. Auteuil 7143.

Ce Vendredi, le 8 Novembre 1935

Многоуважаемая
Зинаида Алексеевна,

Иван Алексеевич и я премного благодарны Вам за Ваши хлопоты. Как хорошо, что Вы так живо откликнулись на просьбу М. X. Туровца и нашу общую.

Ив. Ал. просит меня передать Вам, что он благодарит Вас за внимание и принимает Ваше приглашение встретиться более интимно с писателями и поэтами по Вашему приглашению.

И я, и он вместе согласны с тем, что от лекции на франц. языке лучше совсем отказаться. Довольно, если И. А. на устроенной ему «встрече» скажет несколько более пространное *слово* с упоминаниями в нем о своих встречах с Толстым (25-летие со дня кончины). И 18, 19 числа равно подходят. Выберите дату сами.— Очень удачна идея совместного чествования — PEN-Club la Maison d'Art. Применительно к нашим русским вкусам лучше — трапеза́ — завтрак или обед. Это предпочтительнее, чем более скудный «чай» или более официальный «раут». Не находите ли Вы, что в чествовании могли бы принять участие не только члены PEN-Club'a или La Maison d'Art, но и другие лица, которые были бы согласны внести нужную плату. В частности, я просил бы принять во внимание мое желание видеть на этом чествовании инициаторов и устроителей русской лекции, 3—4 личных знакомых Ив. Алекс. Но если бы мое желание встретило возражение, я не стал бы на нем настаивать.

Карточки: Ив. Ал. и Толстого (с автограф. на заглавн. странице «Круги чтения») я передал Mr. Gerard Dupierreux в тот же вечер, когда видел Вас. Он взял у меня Ваш адрес

и телеф. и обещал вручить Вам и то и другое. Отберите их у него, пожалуйста, и используйте, но, ради Бога, без порчи. Вещи мои, и я ими очень дорожу. Вот Вам адрес Dupierreux: 2, Av. du Congo. 480524, или Редакции „Le Soir" 177750.

Конечно, было бы очень желательно, чтоб и о русской лекции — и вообще о его приезде в Брюссель были своевременно напечатаны заметки в распространенных среди русских бельгийск. газетах. Заметки о русской лекции в «Последн. новост.» и «Возрождении» появятся в воскресном номере (от 10.XI.).

Не откажетесь ли быть столь доброй и перевести на франц. язык (если понадобится) то небольшое *Слово*, что Ив. Ал. собирается сказать на встрече?

Возможно, что Ив. Ал. напишет статью о Толстом (вернее, о встречах и впечатлениях) для «Le Soir» — Dupierreux хотел поместить ее 20-го (годовщина).

Еще раз большое Вам спасибо.

Приедем мы в субботу 16-го. Сообщу на днях (м. б., завтра), с каким именно поездом. М. б., было бы лучше, чтоб Вы сами выбрали применительно к обстоятельствам. Можно иметь в виду три поезда: 1 тот, что отходит из Парижа в 14 ч. 15, прибытие в Брюссель в 17 ч. 32, II — из Парижа в 18.00 — прибытие в Бр. в 21.10 и наконец отъезд в 20.00 — приезд в 23.17.

Сердечно желаю Вам и нам удачи в начатом нами деле.

С искренним и почтительным
приветом Вам
покорный слуга

Павел Михайлов

P. S. Пожалуйста, сноситесь почаще с Dupierreux, а его попросите поставить в известность о принятом решении Mr. Pierre Bautier. Laurens произвел на меня впечатление человека, готового помочь делу.

ПМ.

Письмо это относится к приезду И. А. в Брюссель, где ему готовилась торжественная встреча.

П. Михайлов был одно время «фактотумом» Бунина. Человек образованный, прекрасно говорящий по-французски, предприимчивый, любитель хорошей еды и добрых вин. Чем он профессионально занимался — я не знаю. Вера Николаевна упрекала его за потворство слабостям Бунина.

Михаил X. Туровец — бывший доброволец, закончивший Лувенский университет, был в то время деятельным председателем Союза русских студентов.

Gerard Dupierreux — журналист газеты «Le Soir».

IX том собр. соч. Петрополис.

Милой Зинаиде Алексеевне

от Ив. Б.

18.XI.35, Брюссель.

Храм Солнца. Петрополис. 1936

Дорогой Зинаиде Алексеевне

Ив. Б.

Вилла Бельведер,

Грасс, А. М.

20.III.36

Дорогая Зинаида Алексеевна, дайте, пожалуйста, об этой книжке заметку в «Soir».

Иван Бунин

3.III—38, Париж

«Elle» — Ed. Stock, Paris.

«Лика». Петрополис. Брюссель, 1937

Дорогая Зинаида Алексеевна, Вы сами писатель и потому хорошо знаете, как трудно без фальши и без пошлости надписать книгу или написать что-нибудь в альбом. Однажды некая княгиня Кочубей пристала ко мне со своим альбомом, и я написал ей откровенно:

В Ваш альбом, шер princesse Кочубей,
Не придумаю что написать, хоть убей.

Но Вам надписываю с легкостью: чем больше узнаю Вас, тем больше люблю Вашу доброту, Ваш прелестный смех, чудесные искры в живых, умных глазах...

Целую Вашу энергичную талантливую руку — и остаюсь

Ваш верный друг

Иван Бунин

29.3.1950 г. Париж

«Темные Аллеи»

На левой странице:

«Декамерон» написан был во время чумы. «Темные Аллеи» в годы Гитлера и Сталина — когда они старались пожирать один другого.

Ив. Бунин.

Эту книгу (самую лучшую из всех моих прочих) я переплел бы для Вас, Зинаида Алексеевна, в кожу моего сердца.

Ив. Бунин

P. S. Впрочем, извините меня: я украл эту надпись — это Горький так надписал одну из своих книг актрисе Книппер-Чеховой.

29.3.1950 г. Париж

Избр. стихи. Париж 1929. Изд. Совр. записки

Дорогая Зинаида Алексеевна,
я Вас обожаю.

Ив. Бунин
7 марта 1950 г.

Воспоминания. Париж. Возрождение, 1950

Дорогая З. Ал., когда Ваше Сиятельство будете писать свои «Воспоминания», не браните нас, как я тут бранюсь.

Ив. Бунин
27.X.1950

Жизнь Арсеньева. Петрополис. 1935

Не думайте, милая Зинаида Алексеевна, что это один из портретов моей молодости: честное слово, я был такой всего лет 20 тому назад.

Ив. Бунин
29.III.50

(И на фотографии была надпись: «не правда ли кокет»)

Митина любовь.

Дорогой Зике Шаховской
С любовью и дружески.

В. Бунина
24/11—58

Жизнь Бунина.

Милым нашим друзьям Малевским-Малевич на память о Бунине, которого они любили

сердечно В. Муромцева
Париж 25/X—58

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ И. А. БУНИНА

Весьма прошу редакцию «Русских новостей» дать место моему заявлению, что появившееся в некоторых французских газетах сообщение о моем отъезде в Россию лишено основания.

«Русские новости» № 88
декабрь 1948 г.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Тише, тише, тише, век мой громкий!
За меня потоки и потомки...

Сидя как-то у меня в Брюсселе, Марина Цветаева взяла в руки «Якорь» — антологию зарубежной поэзии и, найдя в ней свои стихи, сперва поставила знак ударенья в последней строфе своего стихотворения «Заочность» на слове «для», на полях отметив «НВ! от длить», а затем приписала под стихотворение «Роландов рог» это двустишие:

Тише, тише, тише, век мой громкий!
За меня потоки и потомки...—

и подписалась *Марина Цветаева*. И нет, пожалуй, лучшего эпиграфа для моих воспоминаний о ней.

Узнала я имя Марины Цветаевой, прочтя в 1923 году (было мне 16 лет) ее юношеское стихотворение «К вам всем, что мне, ни в чем не знавшей меры, чужие и свои». Не лучшее, конечно, из цветаевских, но очень мне понравившееся. Затем в 1926 году в журнале «Благонамеренный», издававшемся моим братом в Брюсселе, были напечатаны ее стихотворение «Марина» и ее статья «О благодарности», и опять все понравилось. А во втором и последнем номере «Благонамеренного» Марина Цветаева в статье «Поэт о критике» высказывала горькую обиду на Георгия Адамовича, не оценившего присланного на конкурс «Звена» ее стихотворения. В сущности, по молодости лет мне трудно было разобраться, кто из них прав: поэт или критик, но на Марину Цветаеву обрушились такие потоки брани в зарубежных газетах, что инстинктивно обиделась я за поэта. Как-то выжили у меня среди прочих вырезок того времени две статьи,

одна из «Возрождения» (№ 338) и называется «О пустоутробии и озорстве». Автора не знаю. Цитирую только одну фразу: «Но уныние вызывает у меня и то, что пишет г-жа Цветаева. И то, и другое огорчительно не потому, что бездарно, а потому что совсем не нужно». Еще хуже фельетон Александра Яблоновского «В халате», где Марина Цветаева приравнена к Вербицкой: «Она приходит в литературу в папильотках и в купальном халате, как будто в ванную комнату вошла» и т. д. И все это мне вспомнилось, когда в 1938 году, уезжая навстречу смерти в СССР, Марина Цветаева в последний раз посетила нас в Брюсселе и сказала со вздохом: «Некуда податься — выпихивает меня эмиграция».

Но об этом потом. Двойственность моей литературной жизни, с перевесом на Францию, и подвижность моего существования вносили в мои встречи с русскими писателями элемент не постоянства, а случайности. И не так уже много раз встречалась я с Мариной Цветаевой. Думаю, впервые видела я ее в начале тридцатых годов. Она была не намного старше меня, всего на 15 лет, но казалась мне отдаленной во времени и вообще совсем особой, ни на кого не похожей. Скажу даже, ни один из самых знаменитых писателей, русских или иностранных, в личном обращении не вызывал во мне такого трепета, а иногда и священного ужаса... Как будто она жила совсем в другом плане, чем все, парила на каких-то высотах, ходила по каким-то вершинам, совершенно не замечая «плена земли», тяжести быта. Стихи Пушкина

...Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы мелочного света
Он малодушно погружен —

никак не подходили Марине Цветаевой. Я никогда не видала ее погруженной «в заботы мелочного света», только нагруженной ими, как она сама пишет в одном из своих писем. Руки ее штопали, чистили, мыли, душа же оставалась свободной, а ум парил в высотах. И душа ее никогда не вкушала «сладкий сон».

Поэтому и дружбы настоящей между нами не было — но было какое-то внутреннее доверие, которое ее заменяло.

В юности настолько я была взволнована, поражена стихами Цветаевой, что даже, в Брюсселе, пыталась писать *под* нее, пока не поняла, что всякое «под» — дело фальшивомонетчиков, иногда талантливых, но никогда не подлинных.

По странной случайности я никогда не видела Марину Цветаеву вместе с каким-нибудь членом ее семьи. Я встречала Сергея Эфрона без нее, а Марину Цветаеву всегда видела одну, без мужа, без сына, без дочери, поэтому она мне и предстоит всегда в предельном одиночестве и явной безземельности.

В Марине Цветаевой чувствовалась обреченность, рок тяготел над ней несомненно, но в ней ощущалась также и удивительная жизнеспособность, не в материальных вещах, конечно, но как воля, стремление к жизни, крепкие земляные корни, любовь к существованию — т. е. в ее случае, к творчеству на «земле живых». В противовес Поплавскому она, вопреки страшной своей кончине, самоуничтоженья не искала. Рок раздавил ее, лишив возможности жить — творить.

Вижу Марину Цветаеву в ее нищенской квартире в предместье Парижа, Ванв. Стоим на кухне. Марина Цветаева почему-то варит яйца в маленькой кастрюльке и говорит мне о Райнер-Марии Рильке. Я зачарованно слушаю неповторимый ритм и неповторимое содержание ее речи, но вот ничего не помню о Рильке. Помню только лицо Марины Цветаевой и эти самые высоты, на которые она меня влекла с такой неудержимой силой, не зная, что следовать за ней я не могла. И обыденность, конечно, сразу отомстила за презренье к ней: вода в кастрюлечке выкипела до дна, яйца не сварились, а спеклись и лопнули, алюминий же прогорел...

Меня, конечно, удивляло, как водопадная Марина Цветаева могла любить и ценить ручейкового автора «Орленка» и «Шантеклера», Ростана, или Анри де Ренье. (Менее удивительна была любовь Замятина к Анатолю Франсу, писателю стиля изящного и совсем не серапионовского, но ирониста, атеиста и скептика, как сам Замятин.)

Думаю, что, хоть о вкусах не спорят, все же отчасти разница оценок объясняется не так разницей поколений, как эпох, в которые мы выросли.

Помню, стоял и сундук какой-то, напоминающий и Россию, и беженскую судьбу. А за окном томительно-грустный пейзаж пригорода, серость, сырость, дождь. Я замечала это, замечала ли Марина Цветаева?

Помню выступления Марины Цветаевой то в Париже, то в Брюсселе, на улице Конкорд. Зал никогда не ломился от публики, народной любовью Марина Цветаева не пользовалась — но приходили. Она в скромном, затрапезном платье, с жидковатой челкой на лбу, волосы неопределенного цвета, блондинистые, пепельные с проседью, бледное лицо, слегка

желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках. Глаза зеленые, но не таинственно-зеленые, не поражающие красотой, смотрят вперед, как глаза ночной птицы, ослепленной светом. Так, явно не видящая тех, кто пришел на нее посмотреть или ее послушать, Марина Цветаева читает свои стихи, громко, скандируя слова, подчеркивая ударенья, как бы бросая вызов кому-то, и нисколько не заботясь о том впечатлении, которое она производит. Я не встречала никого, из выступающих перед публикой, более свободного от желания понравиться. Так, утесом стояла Марина Цветаева на своем возвышении, бросая свои заклинания, шла напролом, рубила сплеча, а потом как-то по-мужски кланялась тем, кого продолжала не видеть, погруженная

В себя, в единоличье чувств
Камчатским медведем без льдины...

Как странны упреки, высказываемые при жизни Марины Цветаевой, в неестественности ее стиля, ее подбора слов. Она и говорила, как писала, как жила, тем же ритмом, ей принадлежащим, т. е. для нее предельно естественным. Высокое косноязычие было ей отпущено, как и Мандельштаму. Я знала заумных поэтов, и русских, и иностранных, но деловые или частные письма они писали вполне понятно, обычным, бытовым языком — а вот каждое письмо Цветаевой, даже наспех набросанное, всегда «цветаевское», никогда не обычное.

В частной жизни тоже было у Марины Цветаевой полное отсутствие женского шарма, несмотря на то, что с любовью была знакома, была подвержена ее закону, способна на молниеносные ее радости и трагедии, в которые бросалась опять напролом, не разглядев объекта; в любви или дружбе наделяя простых смертных тем, что хотела видеть в них, то есть собственной сутью. А кто мог, кто смел жить на ее крутизнах? Может быть, одно из самых ярких тому примеров — ее стихотворение «Попытка ревности». С каким, вероятно, облегчением тот, думая о ком она его написала, обратился от вдохновенной Лилит к самой обыкновенной женщине... Позднее ей казалось, что нашла она родственную ей душу в молодом поэте Николае Гронском, трагическая смерть которого была для нее, увы, последним тяжелым ударом.

В ее сношениях с другими трагическим было то, что и в зрелом возрасте она на всякого другого прожектировала свой собственный свет, как влюбленная девушка в стихах у Алексея Толстого:

То жизни луч из сердца ярко бьет
И золотит лаская без разбора
Все, что к нему случайно подойдет...

И вот всегда предлагала, даже навязывала свою дружбу, свою любовь.

Да, как жадно искала она в других (может быть,и во мне) того верного, а главное, созвучного друга, своего alter ego и, ясно, не находила.

За князем род, за серафимом сонм,
За каждым тысячи таких, как он...

И продолжала трубить, одновременно в безнадежности и в надежде, в Роландов рог:

Одна за всех — из всех — противу всех
Стою и шлю, закаменев от взлету,
Сей громкий зов в небесные пустоты.

И сей пожар в груди — тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!
И услыхали Карлы, но посмертно...

Что помню еще о Марине Цветаевой? Того, что можно назвать «бабьим», в ней не было ни крошки. Ни хитрости, ни лукавства — и сплетничать не умела (это «бабье» присуще и многим мужчинам). Бороться и восставать, это она умела, но предавать физически не могла. Верность ее была верностью дамасской стали. Я видела ее в 1937-м, когда в связи с делом об убийстве троцкиста Игнатия Рейса в швейцарской санатории Сергей Эфрон, давно уже замешанный в советской организации «Союз возвращения на родину» и приложивший руку к советизации газеты «Евразия», был разыскиваем полицией. Эфрон скрылся — Марину Цветаеву допрашивали. Она рассказывала мне о допросе. Запомнился мне ее, чисто цветаевский, ответ следователю, когда тот привел ей доказательство о причастности Эфрона к преступлению: «Sa bonne foi a pu être surprise, la mienne en lui reste intacte» *. И *так* было это, вероятно, сказано, что несмотря на бесправность ее беженского положения, Марину Цветаеву оставили сразу же в покое, очистили от подозрения в каком-либо сообщничестве.

В другом плане, но все о том же врожденном, «подкожном» ее благородстве. Марина Цветаева была вольнолюбица

* «Его доверие могло быть обманутым, мое доверие к нему непоколебимо» *(фр.)*.

и по существу демократка. Помню, в Брюсселе, идя с ней в зал, где было ее выступление, мы столкнулись с двумя рабочими, несшими какие-то ящики, и сейчас же, сторонясь и отстраняя меня, уступая дорогу, Марина Цветаева громко, несколько нарочито-программно сказала: «Дорогу труду!» Но несмотря на народность свою, а может быть, именно из-за нее, Марина Цветаева никогда не попыталась лягнуть демократическим копытом поверженных мира сего, на падших не наступала — уважая их несчастье и то, что в истории с ними связано, пример этому — ее статья «Открытие музея».

О чем бы она ни писала, ко всему относилась серьезно, юмора не знала, собственно, и я не помню, чтобы я когда-нибудь смеялась вместе с нею. О религии или вере в Бога мне не пришлось с ней говорить, но я была ей благодарна за то, что никогда не прочла у нее ни одной строчки, которая показалась бы мне оскорблением моей веры. Для нее Поэт — «никогда не атеист, всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего... Большинство же и этого не знает и слепо чередуют Христа с Дионисом, не понимая, что уже сопоставление этих имен — кощунство и святотатство».

И вот этого-то святотатства Марина Цветаева никогда не совершала, инстинктивно зная сравнительность ценностей.

1938 год. Начало конца Марины Цветаевой. Много событий в Западной Европе, свидетельницей, а иногда и участницей которых я была, с тех пор заслонили от меня предвоенное время, но, если не ошибаюсь, путь Марины Цветаевой на родину, в ту самую Россию, которая пожирает, как «глупая чушка, своих детей», шел через Брюссель и Варшаву.

Воспоминания, повторяю, смутные, но без каких-то оснований они бы не существовали. Мне кажется, что именно Брюссель был последней остановкой Марины перед ее возвращением в СССР.

Я сказала ей (это помню твердо) в ответ на ее слова: «Ничего не поделаешь! Выпихивает меня эмиграция!» — «Марина Ивановна, подумайте, живя за границей, вы можете еще мечтать, что где-то в России вам будет хорошо,— а приехав туда и мечтать будет больше не о чем, и не на что надеяться. Ну, как вы с вашим характером, с вашей непреклонностью можете *там* ужиться?»

На это Марина Цветаева ответила: «Знайте одно, что и там буду с преследуемыми, а не с преследователями, с жертвами, а не с палачами». Этого она могла бы и не говорить. Я твердо знала, что на компромиссы пойти ей было физически невозможно. Гордость защищала ее от двуязычья, и даже под ножом не сказала бы она похвального слова Сталину.

С каким чувством покидала Марина Цветаева Францию? В 1950 году поэтесса Алла Головина, видевшая ее в Париже перед отъездом, сказала мне, что спросила ее, не будет ли она жалеть о Франции и о Париже. Марина Цветаева ответила экспромтом:

Мне Франции нету милее страны
И мне на прощание слезы даны.
Как перлы они на ресницах висят.
Дано мне прощанье Марии Стюарт.

А дальше, что было дальше! Едва уехала Марина, как кто-то сообщил мне о гибели Сергея Эфрона, о том, что его будто бы расстреляли, ликвидировали, как обычно всех тех, кто принимает участие в преступлениях режима. И вот тут-то, видимо, был у меня какой-то адрес друзей в Варшаве, у которых Марина Цветаева должна была остановиться. Может быть, телеграмму я послала Льву Гомолицкому, с которым была в переписке, но Марину Цветаеву в Варшаве ни эта весть, ни моя телеграмма не застали. Повторяю, эти данные я проверить не могу, нет возможности, но мне помнится, что было именно так.

Тише, тише, тише, век мой громкий!
За меня потоки и потомки...

Так и остался, и живет во мне образ русского большого поэта, Марины Цветаевой, поэта, обреченного, как и многие другие русские поэты, на тяжелую судьбу, на мученический конец. И карарский мрамор перемалывают жернова истории...

Напечатано в «Новом журнале» № 7
июнь 1967 г., Нью-Йорк

ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

В письмах Марины Цветаевой, печатающихся здесь, речь идет о ее французских рукописях. Они так до меня никогда и не дошли, кроме ее пушкинских переводов, любезно присланных мне в 1966 году О.Н. Вольтерс. Желание найти заработок своим ремеслом, хотя бы и на чуждом языке, вероятно, побудило М.И. к этому, и, насколько мне помнится, сперва она предложила «Лэтр» издательству Галлимар в Париже, но в этом издательстве об этом не помнят.

Переводы ею Пушкина лучше многих появившихся во Франции, но, конечно, и в них отсутствует то неповторимое, цветаевское, что присуще ее русским произведениям. Думаю, что немецкая литература и поэзия были ей более сродни, чем французская, да и сама она в этом признается: «У нас с Францией никогда не было родства. Мы разные...»

Vanves (Seine), 65, Rue J.-B. Potin
18 мая 1936 г., понедельник.

Милая Зинаида Шаховская, очень рада буду встрече в «Журналь дэ Поэт» [1] — облагодарите Вивье [2],— но визы нынче, 18-го, у меня еще нет. Все же надеюсь не позже пятницы быть в Брюсселе и выехав ранним поездом к поэтам поспею. Виза может быть и завтра, тогда поеду в среду, 20-го.

Очень глупо — сидеть и ждать и знать, что ничего не попишешь,— закон, а он, если захочет, меня вдребезги.

До свиданья, сердечное спасибо за память.

М. Ц.

Открытка (два медведя в Зоологич. парке Венсен, в Париже).

Ванв, 28 мая 1936 г.

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Дошло ли кольцо и как пришлось? [3] Ждала с ним до последней минуты — хотелось с пальца на палец. Мои «Лэтр» через неделю — десять дней попросите у О. Н. Воль-

[1] Бельгийское изд-во и периодический журнал (директор Поль-Луи Флукэ), в котором я сотрудничала.
[2] Роберт Вивье, бельг. поэт.
[3] Присланное мне М. Ц. кольцо, серебряный перстень с кораллом, подаренный мною впоследствии Владимиру Смоленскому.

терс, а если их еще нет, попросите, чтобы она напомнила вернуть. (Они у господина, которого зовут Люсьен, дальше не знаю.) И потом *непременно* напишите впечатления [4].

Сердечный привет от нас с Муром.

М.Ц.

(Открытка — два льва, прижавшись друг к другу.)

5 июня 1936 г., пятница.

Милая Зинаида Алексеевна,— а вот Вам другая пара, и, верьте мне на слово: они страшно похожи — по благородству и сиротству — на Бальмонта с Еленой: на Елену с Бальмонтом («О, Елена! Елена! Елена! — Ты красивая пена морей» — 35 лет назад сказано, а *живо* в нем — и посейчас).

О рукописи, хотя она на машинке,— дайте ее прочесть, по собственному прочтению, кому нужно из «Журналь де Поэт». Мне очень хочется издать ее отдельной книжкой, но так как на книжку — мало, у меня есть еще другая однородная, физически меньшая. Та и эта дали бы томик, вроде «Проз д'Анфан» [5]. Ту вышлю.

Можно Вас попросить передать при случае прилагаемую открытку Ольге Влад. Орловой? [6] Спасибо заранее!

М.Ц.

(Вторая открытка, вложенная в тот же конверт, изображающая двух белых медведей: «а вот Вам еще другая пара».)

Вам, когда Ваша редакция отчитает «Лэтр» и как-то выскажется... Словом, буду ждать Вашего ответа. И *личного* отзыва — независимо от возможностей издания о «Лэтр» как Вам «пришлось»? На 50-летнем юбилее Ходасевича видела весь Монпарнас,— и *милее, живее* всего — женщины: очевидно, по живучести в них души. Подарила Ходасе-

[4] Ни одна из рукописей М. Ц. ко мне не попала. Неизвестный Люсьен не откликнулся. В 1966 г. О. Н. Вольтерс любезно прислала мне машинопись переводов Пушкина. К несчастью, я не получила их в эпоху составления небольшой юбилейной пушкинской антологии, выпущенной мною в изд-ве «Журналь дэ Поэт» в 1937 г. при участии проф. М. Л. Гофмана, В. Вейдле, Г. Струве, с неизданными переводами ряда бельг. поэтов, В. Набокова и моих.

[5] «Детская проза», сборник изд. «Журналь дэ Поэт», понравившийся М. Ц.

[6] Русская художница, жившая в Брюсселе, умерла после второй мировой войны.

вичу хорошую тетрадку «для последних стихов» — может быть — запишет, т. е. сызнова начнет писать, а то годы — ничего, а — жаль.

Один из пишущих, узнав, что я из Брюсселя, сказал: «А Шаховская там в роли Рекамье?» Я: «Не заметила. Она просто очень любит литературу — и очень серьезно работает». Тогда тот — перестал.

До свидания! Жду весточки. Вашим поэтам — привет.

М.Ц.

Привет Петру в овраге [7].

Ванв, 22 июня 1936 г., понедельник, жара.

Милая Зинаида Алексеевна.

Оба перевода давно готовы, сейчас они на рассмотрении у Поля Буайе [8] — моя мечта, чтобы он дал мне *весь* Пир во время Чумы,— что значит «дал»? А то, чтобы потом — *взял,* ибо *переводить* себе в тетрадку — окончательный люкс... и глупость.

Переводы *хороши,* и таковыми останутся, если даже Поль Буайе *не* одобрит. Нет ли еще чего-нибудь — для того же сборника, или для «Журналь дэ Поэт», м. б. они захотят (по прочтении Песни и Пророка) чего-нибудь пушкинского — в моей транскрипции? Отзывайтесь скорее — тогда сразу вышлю — мне всегда в фактическом осуществлении сделанного нужен стимул. Кроме того, я *скоро* уезжаю — и оттуда (пока что неизвестно откуда, все ближайшие дни буду смотреть по окрестностям) труднее будет: деревня, почты нет, почтальон потеряет и т. д.

Запросите О. Н. о моей рукописи. Дело в том, что я тому господину, который так хорошо меня слушал, которому я потом «на перемене» рассказала моего «Молодца» и которому, в конце (очень быстрых) концов, дала свои «Лэтр», он *не* пишущий, но *чудно* читающий, дело в том, что я этому господину (его зовут Люсьен, это приятель О.Н.) написала — и он мне (как столько господинов и так мало господ! в моей жизни) *не* ответил — и я больше писать не могу. Почти всегда писала *первая* и *НИКОГДА* — вторично.

[7] Все русские поэты и писатели, побывавшие у нас в Брюсселе, приводились в заброшенный овраг Королевского парка, где почему-то находится бюст Петра Великого. Неподалеку от него — каменное изваяние лежащей в гроте женщины.
[8] Поль Буайе, профессор, известный славист.

Хорошо бы эти «Лэтр» — выручить, ибо человек, который может не ответить на письмо, может и потерять рукопись,— кроме того, мне очень хочется, чтобы Вы и Ваше окружение их прочли. Я мечтаю, если они понравятся, набрать денег и напечатать их, с еще одной небольшой вещью как раз выйдет томик, в Вашем издательстве, а то все это *на мне лежит*.

Но той вещи не могу Вам послать раньше Вашего и общего отзыва на «Лэтр», ибо — если они не подойдут, то и она не подойдет: *вся я* не подошла. Бывает.

Спасибо за стихотворную открыточку: чувство — близко, и вид (по-иному) — тоже.

О.Н. не пишет, на ней бремя *дома*.

На мне тоже — и может быть пущее — ибо *все* — моими руками! Я — целые дни стираю и штопаю — но это во мне немецкая механика долга, а душа — свободна и ни о чем этом не знает: еще не пришила ни одной пуговицы!

Обнимаю Вас и жду отзыва.

М.Ц.

Как только напишете, перепишу и вышлю обоих Пушкиных.

Moret-sur-Loing (S.-et-M.), 18, rue de la Tannerie,
chez Mme Vve Thierry

9 июля 1936, четверг.

Милая Зинаида Алексеевна, как видите — я уже на воле, а именно: в чудном старинном городке под Фонтенбло. Быт устроен, т. е. по возможности устранен, а для души — непосредственно над головой — две химеры: Мурина и моя (поделили) — ибо живем непосредственно за церковной *спиной*. Я сюда приехала, чтобы беспрепятственно работать, т. е. переводить Пушкина — лучшие стихи, невзирая — переведены ли уже или нет, ибо я *ни одного* перевода не знаю, да и знала бы — не слушала бы.

Хотите — чтобы я *с этим* осенью приехала в Бельгию, т. е. с вечером моих переводов — предисловие. Я *серьезно* запрашиваю. Давать заочно мои стихи мне бы не хотелось — и вот почему: у меня много вариантов, и Ваши поэты из «Журналь дэ Поэт» мне м. б. помогли бы утвердить *лучший* (беда, что один другого лучше: один — подражательно ближе, другой французски — или образно — лучше, вообще хорошо бы посоветоваться — *устно*, по горячему следу первого впечатления).

Пока сделаны: Когда могучая зима — Пророк — Для берегов отчизны дальней — К няне — и сейчас идет, именно волнами идет! Свободная стихия (К морю). Но я хочу — целый сборник: *все*, что есть лучшего. Посмотрим, что успею за лето.

Как вы думаете, есть ли надежда приехать с этим в Брюссель, т. е. с рядом стихов и *с словом о Пушкине*. Т. е. наработаю ли я на поездку (паспорт у меня есть).

Что будет с самой книжкой — не знаю: я могу дать бесплатно несколько стихов, я вообще бы с радостью работала бесплатно — если бы государство — или к.-н. меценат мне бы оплачивал мое *скромное* существование, но пока — это мой единственный источник существования, а напечатай я пушкинский сборник в Из-ве «Журналь дэ Поэт», не только ничего не дадут, а еще приплачивать нужно,— за много месяцев непрерывного труда... Но обещанное в Ваш сборник — дам.

Дальше: всего Пира переводить *не* буду: там *лучшее* — обе песни, а остальное — для перевода мало увлекательно, ибо беспрепятственно. Я не люблю стиха без рифмы — и этого размера не люблю: скучаю.

Подумайте, пожалуйста, и ответьте — хотя бы предположительно.

Получили ли мою франц. рукопись (NB. машинную). Вот ее бы другую маленькую в из-ве издать — хотела, т.к. *продать* мне ее (при моем характере) навряд ли удастся,— у меня у французов *нет имени*, а в кредит — ничего не хочу. Я бы хотела, чтобы из-во «Журналь дэ Поэт» ее до моего приезда прочло и как-нибудь отозвалось. Тогда бы привезла ту другую — тоже *письма* (если бы Вы знали — кому и о чем!) — и получилась бы небольшая книжка, к-ую бы и предложила из-ву — на *его* условиях (кажется 600 бельг. фр. доплаты?).

Ответьте мне, пожалуйста, дорогая Зинаида Алексеевна, по обоим пунктам, если можно *не* открыткой, п. ч. в открытки я как-то не верю, слова на ветер.

Я здесь буду до середины сентября, но ответ хотела бы поскорей. Мне бы *очень* хотелось съездить в Бельгию, у Вас хороший дух, поскольку я могла почувствовать и что я безусловно увидела в факте издания «Проз д'Анфан». Так вот, та моя проза — той же породы, оттого у меня есть надежда. (Неужели тот Люсьен — ее потерял?? Запросите О.Н.— она мне ни слова больше не пишет. И Люсьен — тоже не ответил.)

Итак — до письма!

Сердечный привет и пожелания хорошего — всячески — (неразборчиво. *З. Ш.*).

Напишите о себе и своих планах.

Выросла *ли* собака [9] и как на нее смотрят кондуктора? М. б. уже — снизу??

М.Ц.

Ванв, 21 сентября 1936 г.

Милая Зинаида Алексеевна.

Все это — недоразумение: спешно уезжая в Савойю, забыла закрепить в своей памяти — или, что лучше: на бумаге — Ваш адрес, который совершенно — канул.

На днях вернувшись — разыскала: 4, рю Вашингтон, и одновременно получила Вашу недоуменную открытку — и вот — пишу: спешу снять и тень в могущей — *не* могущей! — быть у меня на Вас обиде — за что?

Я, наоборот, сохранила о нашей встрече — Петре в саду, рытье в книжках, псе, лесе — самую хорошую память, ничем не омраченную. И Ваш черный идол [10] до сих пор мне благоприятствует.

Желаю Вам успеха с Вашим сборником и шлю самый сердечный из приветов.

М.Ц.

ЗАМЯТИН

Начало моего знакомства с Евгением Ивановичем, в конце 1933 года или начале 34-го, было довольно удивительно. Сразу после приезда на Запад Замятин очень активно занялся литературной, театральной и кинематографической деятельностью. С эмигрантами встречаться избегал и продолжал жить по советскому паспорту. Как-то в брюссельских газетах было сообщено, что французский актер и постановщик Поль Оётли ставит пьесу советского писателя Замятина «Блоха» и что первые ее представления будут даны в Брюсселе (довольно часто парижские пьесы «пробуют» в Брюсселе). «Ле Руж э ле Нуар», левоватая газета, где я вела

[9] «Тай», мой щенок, волкодав.

[10] Идол из черного дерева, привезенный мной из Африки.

рубрику русской литературы [1], попросила меня быть на генеральной репетиции. Театр был неважный, в улице около площади Моннэ. В сохранившемся у меня черновике моего письма к Павлу Михайловичу Иртель-Бренндорф, руководителю Цеха Поэтов в Таллинне, я писала:

«Было у меня два приятных гостя. Первый — Евгений Замятин. Я познакомилась с ним на премьере его пьесы «Блоха» по Лескову. «Блоха» провалилась — тут, в Брюсселе, по крайней мере. Актеры играли отчаянно. В переводе текст стал полной чепухой, совершенно непонятной для местных жителей, да и мне, не знай я лесковской «Блохи». Замятин же оказался очень мил и умен и рассказал много интересного про Россию. Сперва он к нам не очень-то хотел приходить, боялся сношений с белогвардейцами...»

Провал «Блохи» был таков, что ее и не пытались поставить на парижской сцене. В зале было всего несколько человек, и совсем случайно, по своему знакомству с актерами, был в театре двоюродный брат моего мужа, Игорь М.-М., парижанин, уже сильно офранцузившийся и с русской литературой не знакомый.

Подобно стилю «Серапионовых братьев» декорации и костюмы «Блохи» были «орнаментальны с завитушками», перед ничего не понимающей кучкой зрителей, среди всеобщей конфузии на деревянной лошадке гарцевал ген. Платов. Я пересела к Игорю к концу спектакля. Он, обернувшись к друзьям, громко сказал по-французски: «Это не пьеса, а...» — и в эту же минуту, выйдя из-за кулис, в зале показался мрачный автор. Не знаю, понял ли его Замятин, к которому я подошла и попыталась сказать что-то утешительное,— что утешить его, конечно, не могло.

Передо мною был сухой, прямо держащийся человек, кажущийся моложе своих 49 лет, на русского как будто и не так похожий; но все же, если всмотреться,— несмотря на прямой пробор и некоторую неподвижность лица,— определенно русский. Таких я уже видела с довольно высокими скулами и узким, почти азиатским прорезом глаз.

Вероятно, более эмоциональный человек и не захотел бы впоследствии встречаться со свидетелем неприятного для него события, но Замятин был умен и, несмотря на свою уклончивость от сношений с эмигрантами, как-то очень быстро к нам приручился. В следующие свои приезды он уже останавливался у нас, на мансарде нашего дома, где останавли-

[1] Тогда я стыдливо пряталась под псевдонимом Зинаида Сарана: Сарана — название бывшего нашего имения в Пермской губернии.

вались и Владимир Сирин, и Анатолий Алферов, и А. Штейгер, а бывали и многие русские странствующие писатели — Марина Цветаева, Марк Слоним, Дон Аминадо, Тэффи.

Такую энергию и трудоспособность я мало у кого встречала, так же как редко встречала среди русских такого всесторонне образованного человека. Он брался за сценарий об Аттиле в то время — и, по странному совпадению, я как раз тогда почему-то над Аттилой работала в Королевской библиотеке. Ни у него, ни у меня ничего из Аттилы, впрочем, не вышло — денег не принесло.

Попыхивая трубочкой, Замятин читал нам свои повести, восхищая своим языком, а иногда и раздражая нарочитостью своего стиля.

Человек он был добрый и всегда заботился об участи друзей, оставшихся в России, в частности об Анне Ахматовой. Но не было в нем легкости, присущей добрым людям. Как будто какая-то тяжесть его давила и не юмор у него был, а сарказм, выращенный на скептицизме, а может быть, и на отчаянии. Совсем не от Гоголя, как утверждают иногда, идет его родословная — в своей пошлости герои «Мертвых душ» все же смешны. Генерал Азанчеев и Ефим Барыба не смешны. Взгляд, который Замятин бросал на мир, был взглядом Салтыкова-Щедрина, писателя, которого я никогда не любила, вероятно, и знать бы его (Салтыкова) лично не захотела,— а вот Замятина было за что и любить.

Человек неверующий, далекий от метафизики — даже вымолив чудо, Инок его бросается в озеро под «пустым и страшным небом» (Знаменье),— Замятин внушал уважение не только глубокой своей порядочностью, но и очень старательно скрываемой добротой. Может быть, скрывал доброту потому, что не мог рационализировать этого чувства и верил в технику, в прогресс, в науку, в творчество, строго контролируемое и подверженное известным законам, а жизнь и собственные эмоции никаким законам, ему понятным, не повиновались, ускользали от анализа и точных определений.

В 1956 году мне передала Ир. Ал. Лабинская, что его вдова, Людмила, очень хотела бы меня почему-то повидать. Но я не успела, уезжала в Москву — а потом, потом — так мы и не увиделись...

Бывая на кладбище Сент-Женевьев, грущу о том, что прах Шаляпина, Ходасевича, Замятина, Бальмонта не покоится в этой, почти русской, земле — в некрополе русской эмиграции.

11 — XII — 1933
14, rue Raffet, Paris 16ᵉ

Милая Зинаида Алексеевна,

чтобы мне в парижской суете не забыть об Ахматовой — и чтобы Вы тоже не забыли об этом — пишу Вам сейчас же по приезде.

Ахматовой удобнее всего послать посылку по след. адресу:

Ленинград. Жуковская 29 кв. 16.
Аграфене Павловне Гроздовой.

Помимо всего прочего, это удобней для Ахматовой потому, что она больна, идти самой ей на таможню за посылкой — трудно, а тут — все за нее сделают и доставят ей. Так уже ей посылали кое-что раза два. Хорошо, если бы Вы были добры известить меня, что именно пошлете, чтобы потом проверить, все ли получено [1].

Очень бы хотелось, чтобы это было получено в Ленинграде к празднику, а потому — не откладывайте, будьте милым рождественским St. Nicolas!

Да, еще одна мелочь: лучше (для адресата), если посылка будет отправлена от моего имени.

Второй адрес, который Вас интересовал,— адрес Цветаевой: M-me Efron-Tzvetaieva, 10 rue Lazar Carnot, Clamart (Seine).

Передайте привет Вашему мужу. Надеюсь — à bientôt.*

Е. Замятин

Париж, 16 — V — 1934

Дорогая Зинаида Алексеевна,

где Вы? В Брюсселе, в Египте, в Индии? И почему до сих пор нет Вас в Париже, куда Вы тоже как будто собирались? По-

[1] В 1956 году, когда я с мужем была в Москве, я поручила одному верному советскому человеку повидать Анну Ахматову и сказать, что я хотела бы с ней встретиться, упомянув, что я знала Замятина. Ахматова ответила, что не может; ее сын только что вернулся «с Севера» и она боится за него.

* До скорого *(фр.)*.

лучили ли мою (еще зимнюю) открытку, где я извещал Вас, что Ахматова получила посланные Вами франки?

В Париже месяца два гостил Федин — мой большой приятель. Эти месяцы, натурально, вышли увеселительными — тем более, что было много развлечений на парижских улицах, вплоть до пальбы [2]. Март — апрель был в плену у кинематографа. Только сейчас стало несколько свободных дней — и вот вспоминаю о разных далеких и близких друзьях, пишу письма.

Театральными делами заниматься было некогда. «Блоха» в Париже до следующего сезона — в состоянии анабиоза. Вероятно, будет сделан новый французский перевод — вернее, adaptation. У Вас в Брюсселе делается фламандский перевод — уже должен бы быть готов, но от переводчика я что-то давно не получал известий?

Я думаю, Вас не затруднит позвонить этому милому фламандцу, узнать у него, как обстоят дела, и о результатах Вашего разговора написать мне несколько строк? Зовут его Mr Theo Bogaerts, его телеф. 26. 09. 29 и 17. 07. 42. Адрес — 36, Stevens-Delanoy straat.

А затем — напишите о себе, о Брюсселе. Не встречаете ли там юную и полную энергии парижанку Даманскую? Непременно передайте привет Вашему мужу.

Mes amitiés.

14, rue Raffet
Paris (16^e)

Е. Замятин

---

30 — V — 1934
14, rue Raffet, Paris 16^e

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Очень рад, что Вы, наконец, в Париже. В четверг между 4 1/2—5 буду ждать Вас у себя на rue Raffet.

В вестибюле дома садитесь в лифт, который справа, и путешествуйте до III этажа. Там — направо — моя дверь, кв. № 54.

Если бы обстоятельства изменились и что-нибудь Вам помешало, дайте знать.

Привет

Е. Замятин

---

[2] Происходили очередные уличные манифестации.

Милая Зинаида Алексеевна.

Весна, солнце — вызывают во мне рейзефиберный зуд, и я вспоминаю о Вашем прошлогоднем приглашении — приехать к Вам в Брюссель. Я бы мог сейчас выкроить несколько дней для такого путешествия, тем более, что у меня как будто наклевывается возможность соединить это с поездкой в Амстердам, где я думаю устроить conférence (по-французски или английски) о советском театре.

Для реализации всей этой затеи мне нужно было бы организовать вечер в Брюсселе (чтение моих вещей — новых — по-русски). Такой вечер, заказной, был устроен недавно в Париже, результатами я доволен. Не возьмете ли Вы на себя — выяснить с брюссельцами, как и когда можно там устроить вечер — вероятно в Клубе русских [3]. В Антверпене на это предприятие идут очень охотно — это уже выяснил там Марк Львович [4]. Если бы удалось соединить Брюссель, Антверпен и Роттердам, это было бы хорошее путешествие — и некоторая заплата на Тришкин кафтан бюджета.

Будьте другом, произведите разведку на этот счет и поскорее напишите мне о результатах.

Сердечный привет Вам и Вашему мужу

Е. Замятин

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Я в Амстердаме, как видите: читаю здесь сегодня лекцию (для голландцев — по-французски!) о русском театре.

На обратном пути я бы очень хотел остановиться дня на 3 в Брюсселе — кстати, в Брюсселе мне предлагают сделать небольшой доклад о русском театре для конгресса, заседающего при Брюссельской выставке.

Кроме того, у меня идут переговоры с Кулишером [5] об устройстве вечера чтения моих рассказов 15-го в воскресенье. Но вечер — за мой страх и риск, с тем, что предварительные на организацию (120 бельг. фр.) — на мой счет.

Прежде всего, я хочу спросить Вашего совета на этот предмет: стоит устраивать сейчас в Брюсселе такой вечер? Если Вы считаете, что стоит, то не согласитесь ли Вы помочь в распространении билетов — энергии ведь у Вас кладезь!

[3] Пропущено: евреев.
[4] Слоним.
[5] Из Клуба русских евреев.

И, наконец: когда-то Вы говорили, что у Вас летом будет комната «для гостей». Лето, правда, сомнительное, льет осенний дождь, но может быть такая комната все же у Вас существует и я мог бы найти в ней abri * на 2—3 дня? Только пожалуйста ответьте мне без церемоний, по-дружески.

Может быть — à bientôt **!

Ваш Евг. Замятин.

P.S. Жду Вашего ответа — елико возможно скорого, чтобы немедленно по получении ответа перевести нужную сумму. Если для начала понадобится Кулишеру несколько десятков франков — может быть, Вы будете добры дать ему их? Je les rembourserai immediatement ***. Хорошо, если бы Вы повидались завтра с Кулишером (6, rue Leon Juret).

Париж, 30 — IX — 1935

Милая Зинаида Алексеевна,

как видите — лето окончилось и Арденнские мои планы пошли прахом... Мне удалось выбраться (как и в прошлом году) только в Belle-Vue под Парижем, т. к. я был связан с Парижем одной кинематографической работой. В Bellevue прожил 1 1/2 месяца, из которого «дачным» была только неделя.

Сейчас — на старой квартире в Париже. Если не свяжусь с новыми кинематогр. работами — может случиться, что сбегу отсюда куда-ниб. на юг: засесть там в какой-нибудь средиземной дыре и писать.

А Вы — все время в Брюсселе? По-прежнему — эпидемия бриджа? Как князь Святослав и Ваш папа? Мой им привет.

Е. Замятин

---

1 — X — 1935

Mr. E. Zamiatine
14, rue Paffet, Paris (16[e])

Уезжая, я оставил в Ваших верхних appartements мой русско-франц. словарь, в темно-красн. переплете — изд. «Знание» — Red. Mossc. Если найдете — будьте милы, пошлите его мне.

Евг. Замятин

* Приют *(фр.)*.
** До скорого *(фр.)*.
*** Я их сразу возмещу *(фр.)*.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

Отношения мои с Владиславом Ходасевичем начались с плохих отношений. В 1932 году, в еженедельной бельгийской газете «Ле Руж э ле Нуар», газете скорее левой, чем правой, я давала рецензии о русских книгах (тексты у меня, к несчастью, не сохранились). В вводной статье я, конечно, с уважением отозвалась, говоря об эмигрантской литературе, о Сирине (Набокове) и непочтительно о некоторых других, в частности о Нине Берберовой. За что немедленно и получила ядовитый нагоняй от Ходасевича (в «Возрождении»). Он негодовал, что, «снисходительно похлопав по плечу Берберову», я похвалила Л. Леонова (тоже не сохранилось).

Как и почему тот инцидент был забыт — не знаю. Может быть потому, что Ходасевич хорошо относился к Сирину, Цветаевой и Смоленскому, с которыми я была в дружбе в то время, особенно с Сириным. Во всяком случае, впоследствии как-то само собой случилось, что я бывала у Владислава Фелициановича и у его жены Ольги Борисовны (племянницы Алданова) то одна, то с мужем, то с Сириным, не часто, правда, но всегда с удовольствием. Иногда встречались и в кафе на бульваре Мюра, в 16 аррондисмане, где собирались те, кто постарше.

Тщедушный, болезненный, желчный человек (Дон Аминадо говорил, что его в России прозвали «муравьиный спирт»), пользовавшийся в молодости большим успехом у женщин (первая жена его была красавица Рындина, вышедшая впоследствии замуж за Сергея Маковского), Ходасевич был проникновенный критик и прекрасный поэт, строгий мастер безо всяких там жеманностей и лепных ненужных выражений.

Что может быть проще такого четверостишия?

Пробочка

Пробочка над крепким иодом,
Как ты скоро перетлела,
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело.

1921 г. «Тяжелая лира»

Как-то, остановившись в ПЕН-клубе в Париже, встретила я там Саула Черниховского и прочла ему переводы Ходасевича (он, может, их и знал, но забыл) еврейских поэтов, сделанные по подстрочникам, между 1915 и 1918 годами.

Черниховский, прослушав свою поэму «Завет Авраама», вскричал: «Это же совсем замечательно!»

По происхождению поляк, католик — он и похоронен был в Париже по католическому обряду — Ходасевич, по собственному признанию, был усыновлен Россией молоком тульской своей кормилицы.

...И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,—
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

. . . .

В том честном подвиге,
в том счастьи песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений
И поприще — волшебный твой язык.

Родившийся в Москве, окончивший в Москве гимназию и университет, Владислав Ходасевич в Париже звучал более «петербургской нотой», чем все поэты Монпарнаса. Современник еще блестящего, но временного Серебряного века, предчувствующего крушение русской культуры, он был верен классической эпохе нашей литературы, наиболее длящейся в веках:

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Очень симптоматично было для Ходасевича выбрать Державина объектом биографии. Блестящая и умная эта книга написана с таким пониманием Державина, его эпохи и России, что, кажется, никто не мог бы лучше о них написать.

Судьба Ходасевича была не легче других эмигрантских судеб, но он хорошо запомнил державинскую оду, напоминающую о распределении счастья:

О! тщетно Счастия рука
Против естественного чина
Безумца рядит в господина
Или в шутиху дурака.

Знал он, что тщетно и что из успеха таланта и ума не вырастишь, но знал также, что «счастия рука» часто и надолго награждает недостойных — и несчастьем оскорблен не был.

Гроза «желторотых поэтов», большой любитель кошек

(и карт) был в общении остроумнейшим собеседником и на самом деле очень внимательно следил за новыми талантами.

В сборнике «Дорога» я посвятила Ходасевичу короткое стихотворение под инициалами В. Х., на что он откликнулся письмом: «...я не знал, мне ли это или Виктору Ховину?»

Сознаться, я снабжала иногда Владислава Фелициановича стихами, которые попадали в его особые критические статьи в газете «Возрождение» под названием «Ниже Нуля». С одним из таких поэтов-графоманов, но уже на гениально низком уровне, я познакомилась в Брюсселе. Сборник его назывался «Клуб Четырех», четыре сущности в нем сосуществовали: «корнет, поэт, эстет и аббат». Из стихов помню — увы — мало, но и этого достаточно:

Повис Иуда на осине
Сперва весь красный, после синий...

или

В аду стоит ужасный чад,
В тазу кипит маркиз де Сад...

Имя его запомнила — но оно ведь не для потомства...

Среди случайных записей за 37-й или 38-й год нашла такую: «В воскресенье утром свиданье с Жеа Аугсбургом. Потом ищу Володю (Сирина). Он живет на ул. Буало. Мебели еще нет. С Володей иду к больному Ходасевичу. Ольга Борисовна нас не пускает, с Ходасевичем только что был обморок...»

Я была на квартире у Ходасевича дня за два до его смерти. Дверь открыла Ольга Борисовна: «Нельзя, он ужасно страдает».

Умер Ходасевич в госпитале, меня уже в Париже не было.

ПИСЬМА В. ХОДАСЕВИЧА

14, av. Victor Hugo
Boulogne
(Seine)

Многоуважаемая Зинаида Алексеевна,

Ваше письмо мне подали в такую минуту, когда я сидел, зарывшись в целую груду книг. В одну из них я его и положил, чтобы при ответе воспользоваться адресом, написан-

ным в заголовке. Вы сами понимаете, что после этого я перетряс все книги и все-таки письма не нашел. Томился несколько дней, у всех встречных спрашивал Ваш адрес — и все отвечали: «есть, но дома». Один обещал прислать — не прислал. Наконец, сегодня я вспомнил, что когда Вы были у меня, я Ваш адрес записал в предназначенную для сего книгу. Дальше все уже пошло как по маслу, то есть на поиски этой книги затратил я всего каких-нибудь четверть часа,— и вот пишу Вам, чтобы поблагодарить за внимание и просить прощения за то, что отвечаю с промедлением. В общем все это происходит оттого, что я дьявольски занят и год от году становлюсь рассеяннее.

Кулишер мне еще ничего не писал, но это не беда, потому что дело не спешное. Надеюсь, однако, что меня в Брюссель выпишут, и я приду к Вам пить чай.

Будьте здоровы, жена моя Вам кланяется.

Ваш В. Ходасевич

2 апреля 1935.

Многоуважаемая Зинаида Алексеевна,

если очень милые стихи Ваши в «Полярной звезде» имеют какое-нибудь отношение ко мне, то благодарю Вас сердечно. Если же они обращены, например, к Виктору Ховину (был и есть такой человек) — мне остается только ему завидовать.

Засим — о Брюсселе. Я потому все время молчал, что гадал на кофейной гуще: поеду — не поеду. И вышло, что не поеду. Не в деньгах, к сожалению, дело. Беда в том, что неотвязные и неотложные дела меня держат и еще долго продержат в Париже. Смутная тень надежды у меня есть, но ни с какими лекциями я ее не могу связывать, ибо не представляю себе, когда смогу вырваться. Однако если поеду, то явлюсь к Вам — опять же если Вы будете в Брюсселе.

«Полярная звезда», по-моему,— четырнадцатой величины. А по-Вашему как? Ал.— очень милый человек, но редактировать журнал ему рано. Т.— тоже милый человек, но философствовать ему уже поздно.

Целую Вашу руку

В. Х.

17 мая 935.

Увы, я не могу быть у Вас сегодня, многоуважаемая Зинаида Алексеевна; внезапно и пренеприятно разболелись руки. Надо их бинтовать и сидеть дома.

Всего хорошего
Сердечно Вам преданный
В. Ходасевич

Среда

(Париж, январь 1939)

Приложение

(Перевод)

20 июля 1939 года.

Ваша посылка дошла, и я хочу сразу Вас поблагодарить и выразить мое сожаление, что мы напечатаем Ходасевича только после его смерти. Набоков должен был его привезти,— по крайней мере мы напечатаем его стихи в ближайшем номере с теми, которые Набоков мне передал не так давно.

Этот голос должен быть услышан. Я по этому случаю обращу внимание читателей на Вашу книгу.

Продолжайте думать о нас и присылать нам другой интересный материал. Почему не Марину Цветаеву?

Прошу Вас верить моим почтительным чувствам

Реймонд Швоб *

Журнал «Иггдразиль»
Бульвар Сен-Мишель
Париж 5

АДАМОВИЧ

В молодости «чужак» на русском Монпарнасе, Адамовича я не любила. Он меня не замечал, а я не пыталась быть им замеченной — впрочем, сборники стихов я ему посылала, надеясь на отзыв, все равно какой, казалось все же лестным прочесть свое имя — пусть и в эмигрантской печати. Статьи же Адамовича читала с интересом, сердясь, однако,

* Редактор «Иггдразиль» Р. Швоб очень интересовался иностранной поэзией, иностранным эпосом. Переводы стихов Ходасевича, набоковские и мои были напечатаны в этом журнале, как впоследствии и мой перевод русских заклинаний.

когда он небрежно и даже враждебно писал о Марине Цветаевой или о Владимире Сирине.

И сразу после войны я не пыталась с ним встретиться, но все же приходилось — то у Бунина, то, уже позднее, у Гингеров — там читала привезенные нами из Москвы стихи Пастернака из «Доктора Живаго», которые он довольно строго раскритиковал.

Раза три встречались мы и на собраниях, устраиваемых Союзом писателей и журналистов. Говорил Г. В. очень хорошо, без всяких шпаргалок и умно; в частности, на вечере, посвященном памяти Анны Ахматовой, я очень оценила, прямо сказать, его мужество, когда, говоря о поэте, который ему был дорог, посмел восстать против презрения Анны Ахматовой к эмиграции. Мы здесь никогда не упрекали ее за стихи Сталину — она нас упрекала за то, что мы избежали необходимости поклонения тирану. Да и для многих из нас упрек, что в последней войне мы находились «под защитой чуждых крыл», был необоснован. Кое-кто из нас по мере сил был в числе «чуждых крыл», охраняющих других, и из горящих городов мы никуда не эвакуировались. Сказать об этом было надо, но и трудно. Это сделал Георгий Адамович.

Да и ряды наши сильно поредели уже в пятидесятых годах.

Человек образованный, умный и тонкий критик, не знаю, как мог Адамович проглядеть Марину Цветаеву и Владимира Сирина во время «живого» Монпарнаса. Насколько сильно было неоправданное преследование им Набокова, лучше всего показывает история со стихами Василия Шишкова: Сирин из Берлина прислал мне два рукописных своих стихотворения в 1938 году, «Мы с тобою так верили в связь бытия» и «Отвяжись, я тебя умоляю». Оба появились затем в эмигрантской печати, и оба были восторженно отмечены Адамовичем... как шишковские.

Трудно было себе представить, чем было вызвано такое принижение, особенно Набокова, духовными и поэтическими менторами Монпарнаса. Георгий Иванов даже как-то, совсем не понятно как это могло случиться, «обмолвился» о Набокове: «Это, мол, сын горничной». Сирин к Монпарнасу и близко не подходил, но все же в неприятии его Адамовичем был элемент иррациональности.

Для критика, конечно, такая ошибка очень болезненна, и Адамович ее годами переживал и принес повинную и Цветаевой и Набокову.

Да и вообще, если сравнить статьи Адамовича до и после-

военные, то все же заметна разница между ними. В монпарнасские времена статьи были не очень заострены, не очерчены, похвалы с нюансами, критика тоже, т. е. всякие «но», какая-то нарочитая неясность в смысле своего окончательного суждения. Нечто общее было у Адамовича с Алдановым, оба были скептики и по отношению к писательству. Как бы и это «ни к чему!» (В «Одиночество и Свобода». Чеховское изд. Нью-Йорк, 1955)

С вежливой, но иронической улыбкой посматривал Георгий Викторович на собеседника, с жаром утверждающего какую-нибудь бездоказательную истину — ни одна истина не доказуема,— и затем вопрошал с притворным удивлением: «А откуда Вы все это знаете?»

Ближе сошлись мы уже в 1968 году, когда я стала редактором «Русской мысли». Я сразу написала Георгию Викторовичу, бывшему тогда на юге, и попросила его, сотрудничавшего в «Р. М.» до меня, помочь мне сделать из этой газеты что-то, приближающееся к уровню газет расцвета эмиграции, «Возрождения» и «Последних новостей». Георгий Викторович ответил с готовностью, но на такую возможность смотрел пессимистически — никого, мол, не осталось. (См. письма.)

Через несколько месяцев, к моей радости, признался, что ошибся и что «Р. М.» становится газетой совсем добротной.

Наша редакция помещалась в ту пору в неказистой, хотя и живописной, улице Фобур Сен-Дени, на шестом этаже без лифта. Сперва Георгий Викторович поднимался к нам и участвовал даже в новогодних банкетах, объединяющих журналистов редакции и служащих конторы и типографии, затем уже мы, Кирилл Померанцев и я, к нему спускались и шли, довольно регулярно, завтракать в ресторанчик на ул. Милосердия. Зная скромность наших финансов, Адамович отказывался от ресторана получше. Ел вообще мало, почему-то брал всегда жареную утку.

Вот тогда-то и оценила я его не раскрытые прежде мною качества. Да по правде сказать, старость и болезнь, вероятно, заставили его пересмотреть многое.

Он был прекрасный собеседник, с юмором и какой-то новой мудрой скромностью, и поистине русский европеец, с его отменной вежливостью и тактом.

Жилось ему трудно. К. Д. Померанцев, у него бывавший, рассказывал про маленькую комнатку (когда-то для прислуги), и про скромность предельную обстановки, и про одиночество того, кто в уже не баснословные, а в зарубежные годы жил окруженный целым двором почитателей. Когда

я просила Георгия Викторовича навести ту или иную справку для «Р. М.» из его библиотеки, он только улыбался: «Да у меня и книг-то почти нету». Но никогда не жаловался, многое о себе рассказывал, что раньше бы не рассказал, например о картежной своей страсти. Брат ген. Адамовича, директора русского кадетского корпуса в Югославии, Адамович происходил далеко не из бедной среды. После революции, приехав во Францию с очень любимыми им матерью и сестрой, поселились они на Лазурном берегу, где у них была еще собственная довоенная вилла. Но денег не было, и мать послала Г. В. в Париж эту виллу продать и обеспечить семье хоть на некоторое время существование. Виллу Адамович продал и... деньги проиграл в карты. До старости простить себе этого не мог.

Много тяжелого и даже темного было в его прошлом, о чем он, конечно, не говорил. Наружно Адамович казался, в конце шестидесятых годов, человеком, подведшим итоги и пришедшим к какой-то «серените» — sérénité, русское «безмятежность» не совсем точно передает это выражение. В ресторанчике Ле Лоррен уже не молодой Штейгер жадно слушал его рассказы о современниках и Петербурге и Петрограде, а Кирилл Померанцев, верный его друг, и я. Умное, некрасивое, несколько бабье лицо Адамовича освещалось взглядом умных глаз — вокруг ириса обрисовалась коронка более светлая, указывающая на сердечную болезнь. Говорил он негромко, тем прекрасным петербургским говором, который навсегда отошел в прошлое. Как жалеем мы, что не брали с собою магнитофона, делать записи,— но, кроме помехи ресторанного шума, вряд ли бы так естественно он нам все рассказывал, если бы знал, что записывали. Еще больше определился в нем скептицизм по отношению к искусству, к критике: «Вот, кто-то там старается, мучается, пишет, поправляет — а кто-то будет судить. По какому критерию?»

Без иллюзии насчет литературной игры — и раньше жило в нем сомненье о ней, что, может быть, и помешало его поэтическому дару — «сей Адамович ядовитый, чей яд опаснее боа» — как писал о нем Аминадо,— перестал быть ядовитым, наоборот, с благожелательностью и часто с состраданием писал добрые статьи об очень посредственных авторах. Но советы, когда их просили серьезно, давал серьезные и профессионально всегда правильные. Когда я выпускала сборничек моих стихов «Перед сном», то попросила Г. В. их до выхода раскритиковать, и он два раза приходил на наши свиданья к «Франсису», на пл. Альма, где в двадцатых

годах собирались после театров Кокто и прочие «парижские парижане», и строго и по существу указывал мне на мои оплошности. Он и написал мне к сборнику предисловие — последнее, написанное им в жизни.

И вот этот самый скептик, во всем сомневающийся, даже в важности поэзии (вспомнил Боссюэ о поэзии: «Самый хорошенький из пустячков»), заступился за Достоевского: «Да простит милосердный Бог Бунина и Алданова за все, что они о Достоевском нагородили, наговорили, да простит Набокова за „нашего отечественного Пинкертона с мистическим гарниром“», и читал Евангелие, да не просто читал, и задумывался над ним, предпочитал апостола Иоанна Богослова апостолу Павлу, но не мог «остановиться на чем-то окончательном». Все же писал в Комментариях: «Христианство: беречь, беречь, это единственное, что у нас осталось» (цитирую по памяти).

Г. В. прекрасно, с такой же тонкостью, как и русскую культуру, понимал французскую — знал ее истоки, древних и наимоднейших писателей и философов, любил музыку — тут мы с ним расходились, он был страстным вагнерианцем, а я нет. И вообще разговор с ним был пиром культуры.

Годы дали ему мудрую скромность. И то сказать: всякий редактор газеты или журнала знает, что, кроме очень редких исключений, чем бездарнее человек, тем больше у него претензий. А вот Адамович, один из трех китов зарубежной критики шестидесятых годов, посылая мне статью, писал: «Если понравится, то напечатайте», исправления опечаток не требовал. Как-то, по недосмотру, цитата из Льва Толстого прошла без кавычек, как бы написанная Адамовичем. Он заметил это не без ужаса, но согласился, что «никто не заметит», и не просил поместить исправление, чтобы не усложнять работу малочисленной «Р. М.»

Одиночество его было большое, и редкие общения, особенно с молодыми, были ему радостны в эти последние годы. Молодых писателей и поэтов в Париже уже не было, зато приезжали советские поэты не старого призыва, Евтушенко, Вознесенский, и Адамович очень оживлялся от встреч с ними.

В 1972 году его пригласили частным образом в США. Мы долго обсуждали в ресторане втроем это предложение. Сердце Георгия Викторовича было в плохом состоянии. Ему и хотелось и страшно было ехать. Знал, что готовили ему там немало встреч. Но, побаиваясь за него волнений и трудностей, с такой поездкой связанных, я все же взяла на себя уговаривать его поехать. Да и Кирилл Померанцев поддер-

жал — все-таки последний триумф после долгой обыденности парижского существования не мог не быть праздником для литератора.

Адамович вернулся из Америки очень усталым, но и очень довольным — и хорошими условиями жизни, ему предоставленными, и сердечностью встреч, и проявленным к нему интересом и уважением; впрочем — хорошо разбираясь в самых различных причинах почтения, ему оказываемого. Не без юмора рассказал, как один уже немолодой писатель принес ему в гостиницу свои воспоминания о русских парижских литераторах, довольно скверно написанные, а главное, всех ругающие и остро ему не понравившиеся, и попросил его, Адамовича, написать предисловие. Он отказался. После его смерти до Парижа дошли слухи, идущие от незадачливого автора, что Г. В. очень одобрил эти воспоминания и непременно хотел написать для них предисловие — только не успел. Был бы Адамович жив, он бы и этому улыбнулся.

Но вообще был тронут, скромно признаваясь, что прямо не ожидал себе такого успеха, радовался ему. Это путешествие, вероятно, было его последней радостью. Он жалел только, что по усталости не побывал в Сан-Франциско, не повидал моего брата, Владыку Иоанна.

21 февраля 1972 года мы узнали о его смерти в Ницце и, хотя и были подготовлены к такому известию, были им горестно поражены.

Как-то, во время ресторанного нашего сидения, Георгий Викторович рассказал, как он удивил своего доктора-француза, сказав, что не хотел бы для себя скоропостижной смерти — хотел бы иметь два-три дня, чтобы подготовиться. Умер он внезапно — но и секунды может быть достаточно душе для подготовки в мир, где время упразднено.

После его смерти мы с Кириллом Померанцевым узнали еще неизвестную сторону Георгия Викторовича: совсем вне литературного мира или мирка были у него друзья, простые, достойные семейные люди, маленький крестник и чужие дети, с которыми он любил играть. О них он никогда не говорил.

С Софьей Прегель, душеприказчиком Г. В.— Полонским (племянником Алданова), с молодой русско-французской четой, приехавшей с юга, собрались мы с К. Померанцевым в том же ресторанчике, где бывал с нами Адамович,— люди все разные, но чувствующие одинаково нашу потерю.

ИЗ ПИСЕМ Г. АДАМОВИЧА

(Без даты — 1932?)

Простите, что отвечаю с опозданием. И еще простите, что пишу без обращения; я не знаю, как Вас зовут. Вы пишете, что мы встречались в Париже, в Napoli. Вероятно, я Вас узнал бы при встрече, но очевидно тогда мне имя Ваше не было известно — и сейчас я Вас «не вижу».

Вы пишете, что «стыдно и наивно просить литературный совет». Мне хочется ответить: «стыдно и наивно их давать». Je ne me sens pas qualifié *, с каждым годом все менее и менее, т. к. с каждым годом все меньше хочу играть литературную комедию. Есть уровень, на котором совет полезен: когда еще вопрос идет *о грамотности* и когда можно сказать «читайте Пушкина или Блока». Но Вы этот уровень давно прошли. Ваши стихи литературно неуязвимы, кроме, может быть, нескольких частностей — как выбор места для особенно нужного Вам слова (я думаю, что это в технике самое важное: уметь поставить слово там, где ему нужно быть; все остальное второстепенно или может быть выучено в книгах). Между прочим, это — в прозе — замечательно у Толстого; замечали ли Вы, как у него совпадает внутренний и внешний ход фразы? Но мне кажется все-таки, что они неполно Вас «выражают». Сужу по Вашему письму: оно гораздо содержательнее, значительнее, ярче... Следовательно, стихи Вас сковывают, и Вы их не победили и не научились заставить их служить, а не управлять Вами. Именно об этом я и писал в той статье о стихах, на которую Вы ссылаетесь. Правду сказать, я не думаю, чтобы кто-нибудь мог дать Вам какое-либо *литературное* указание — скорее в росте личности и в понимании того, что в мире надо «дело делать» (как в «Дяде Ване»), а не заниматься приятным рукоделием.

Я нисколько не хочу охлаждать Ваше рвение к писанию. Наоборот. Мне кажется, у Вас к нему очень много данных. Но согласитесь — те стихи, которые Вы мне прислали, при всей их женственной (чуть-чуть слабой и бледной) прелести, ничего не «делают». Они тонут в других стихах. Не сомневаюсь, что они нужны Вам — но этого, кажется мне, мало. С многим, что Вы пишете в письме, я совершенно согласен.

Примите мой сердечный привет.

Георгий Адамович

* Я не чувствую себя компетентным *(фр.)*.

Перечел письмо — боюсь, что Вы меня не так поймете. Ваши стихи можно, конечно, где угодно печатать, они вполне «литература». Но к Вам можно предъявлять иные, более высокие требования.

Заметка в газете «Возрождение» в 1932 г.

...Зинаида Шаховская, наоборот, типичная, характерная эмигрантка, прекрасно усвоившая общепарижский поэтический стиль. Немного иронии, немного грусти, недомолвки, намеки, остановки, именно там, где ждешь развития темы: рецепт знаком. Но пользуется им Шаховская с чутьем, находчивостью и вкусом.

Есть в ее «Дороге», между прочим, строки, отчасти объясняющие, почему в стихах молодых эмигрантских поэтов так редко упоминается имя, которое, казалось бы, должно все у них заполнить:

О тебе кричать или молчать —
Верное отсутствует решенье,
И мое неправедное пенье
Будет наказанье ожидать.

О тебе кричать... (Тебя забыть).
Это все, что нам теперь осталось.
И еще — осталась в сердце жалость,
Позволяющая нам тебя любить.

Конечно, здесь «ты» — Россия.

Георгий Адамович

* * *

А в 1970 году Георгий Адамович написал свое последнее в жизни предисловие, и оно было к моему сборнику стихов «Перед сном», изданному мной после войны, 35 лет спустя после первых двух, о которых он упоминал в своих рецензиях и заключил так:

...Зинаида Шаховская пишет стихи довольно давно, и считать ее новым пришельцем в нашей поэзии нет оснований. Некоторые ее стихотворения не могли не заставить обратить на нее внимание и запомнить ее имя еще в те далекие времена, когда поэтов было в зарубежии множество, когда кипели споры, возникали и исчезали школы, направления, течения, «ноты» и казалось, оживлению этому конца не

предвидится. Шаховская в тогдашней поэтической среде не удержалась, перешла во французскую литературу, в русской напоминала о себе редко и скупо. Но, пожалуй, только теперь она, как говорится, «нашла себя», а значит, и мы нашли русского поэта, облик которого оставался до сих пор не вполне ясен. Что будет дальше, «покажет будущее», как писал Толстой в конце «Воскресения». Да, проблематическое, неведомое будущее. Но и настоящее чем-то нас обогатило, как будто в постепенно и неуклонно умолкающий наш здешний лирический оркестр неожиданно вступила одна из скрипок с новой, еще незнакомой мелодией, той, которая поручена ей одной, никому другому.

Георгий Адамович

4, avenue Emilia
chez Mme Heyligers
NICE

6 сентября 1968

Дорогая Зинаида Алексеевна

(простите, если ошибаюсь в Вашем отчестве. У меня теперь такая память, что скоро я забуду, как зовут меня самого).

Спасибо за письмо. О том, что Вы будете редактором «Р. М.», мне довольно давно уже сообщил Вейнбаум («Нов. р. слово»). От души желаю Вам успеха и был бы искренне рад, если бы Вам удалось сделать то, о чем Вы мечтаете: поднять газету до уровня «Посл. новостей» или былого «Возрождения». Но правду сказать, это представляется мне несбыточным. Никого не осталось, некому писать — кроме трех-четырех человек. «Иных уж нет, а те далече».

Надеяться, значит, надо только на Вашу энергию и чутье в приискании сотрудников.

Шлю сердечный привет, лучшие пожелания.

Искренне Ваш

Г. Адамович.

Ницца
20 февр. 1971

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Вот «Беседа с Кшесинской», о которой я Вам говорил. Вы написали очень интересную, «страстную» статью о

Пушкине и в сущности неожиданную. Но отчего Вы начали ее словами, что он — «наше всё»? Кажется, это сказал Ап. Григорьев, а по-моему (да и по-Вашему), в том-то и особенность Пушкина, что он — один, особенный, единственный. «Пушкин в нашей литературе царствует, но не управляет»: простите, цитирую самого себя. Сразу после его смерти Лермонтов и Гоголь, при всем их преклонении, взяли его в штыки. А Достоевский в своей речи так много напутал, что от Пушкина ничего в сущности и не осталось.

Ну, долго об этом говорить, а договориться и невозможно. Все-таки Лермонтов иногда, в редчайшие моменты, идет на 1/100000 долю напева и вдохновения дальше Пушкина, хотя пишет стихи хуже.

Шлю сердечный привет. Простите за болтовню.

Искренне Ваш
Г. Адамович

Это письмо относится к моей статье «Веселое имя Пушкина», помещенной в «Р. М.» от 18 февраля 1971 г. В ней я писала, что Пушкин, с его динамичностью, его гармоничностью, *светлой* грустью, является как бы антитезой русского сумрачного, тяжелого человека и что «сыны русского хаоса» любят его как недосягаемый идеал.

28/11-71
(Нью-Йорк)

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Читаю «Русскую мысль» (спасибо, что мне ее сюда пересылают!) — и вспоминаю ее редактора. Здесь многие признают, что парижская газета всегда интересна, что в ней всегда есть что читать и жаль только то, что доходит она сюда в очень ограниченном количестве экземпляров. Но это вина самих русских американцев. Провожу время довольно суетливо, надеюсь вскоре водвориться в Париж и в сущности буду этому очень рад. Надеюсь, все и у Вас лично, и в редакции вполне благополучно, и шлю лучшие пожелания.

Искренне Ваш
Г. Адамович

P. S. Мне очень понравилось Ваше описание редакцион-

ной *ambiance* *: «Померанцев (не помню, что делает), Софья Юльевна болеет, Р. обижается...»

«The Drake»
440 Park Avenue
New York 100 22

11 дек. 1971

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Спасибо за письмо, спасибо за дружескую заметку в газете о моем пребывании в США, а вместе с благодарностью при сем статья — заметка Газданова из сегодняшнего № «Н. Р. С.». Поступите с ней, *как Вам угодно.* Я не Р. и нисколько не обижусь, если Вы ее выбросите в корзинку. Но уже бывали случаи, когда я помещал то же самое в «Р. М.» и в «Н. Р. С.», а доходит это «Н. Р. С.» в Европу с таким опозданием, что никто перепечатки и не замечает. Так что — это на Ваше редакторское усмотрение! Если Вы статью поместите, по-моему, не следует и указывать, что она перепечатана.

Пришлю через несколько дней еще статью о Кшесинской. Я хорошо помню ее на сцене и довольно часто бывал у нее в Париже. Но для «Н. Р. С.» я напишу о ней иначе и другое.

А когда я вернусь, в точности еще не знаю. Надеюсь, вскоре. Но зависит это от моего «приглашателя», который находится по делам в Москве, телефонирует мне оттуда и просит подождать его возвращения, между 15 и 20 декабря. Ждать я буду, но в числах не уверен.

Шлю Вам, дорогая Зинаида Алексеевна, лучшие пожелания, а Святославу Святославовичу искренний привет.

Ваш Г. Адамович

«Огненный Ангел» я читал в ранней юности, и тогда мне казалось, что это замечательная книга. Не знаю, какое впечатление было бы теперь. Брюсов ведь вообще поблек, может быть и этот роман.

Б. К. ЗАЙЦЕВ

Первые редкие встречи до войны с Борисом Константиновичем и Верой Алексеевной бывали у меня или после литургии у церковной ограды, или на премьерах русских пьес и балетов, да еще на писательских балах.

* Атмосфера *(фр.)*.

На первый взгляд все тут было другое и даже обратное, чем у Буниных. Там вечно кипящий Иван Алексеевич, а Вера Николаевна образ безмятежности,— у Зайцевых тишина идет от писателя, а Вера Алексеевна вулкан, поток и знаток крепких русских выражений. Но близко я их в те времена не знала, и так как-то случилось, что только в начале пятидесятых годов зашла я их навестить.

Жили Зайцевы тогда в Булсни, жизнерадостная и подвижная Вера Алексеевна лежала парализованная, Борис Константинович с истинным христианским смирением нес подвиг любви и терпения. Нечто подвижническое было тогда в нем. Писать же не переставал, и в скромной комнате, где перед иконами сияла лампада, работал он, окруженный книгами и фотографиями. Нужды не было, и дочь, и зять об этом позаботились, но все, что пришлось перенести Борису Константиновичу за эти долгие месяцы, ухаживая за своей некогда веселой, говорливой, пылкой, теперь беспомощной женой, можно себе представить. Ропота не было, была одна покорность воле Божией и верность любви.

Вера Алексеевна умерла вскоре после того, как Зайцевы переехали в прелестный особнячок в Пасси, нанятый позднее Соллогубами. Дом этот стал скоро маяком литературной, да и общественной жизни русского Парижа, цвело в нем истинное московское радушие. Там без конфликтов встречались три поколения. Внуки Бориса Константиновича были, да и остались, деятельными в РСХД. Их друзья, друзья их родителей и современники Бориса Константиновича частенько наполняли этот примечательный дом, где Духа не угасали.

Прекрасен был закат честнейшего русского писателя, ставшего к этому времени патриархом русской литературы, старейшим ее представителем и в Зарубежье, и в СССР, где им все больше интересовались.

Борис Константинович продолжал писать. Писал и в «Русской мысли», длинные отрывки из своих воспоминаний, почти до дня своей кончины. С радостью принимал он у себя приезжих советских писателей — Паустовского и более молодых, ему менее понятных. Председательствовал и сам выступал на собраниях писателей и журналистов в зале русской консерватории, ум оставался ясным, чтение четким. И несмотря на свой преклонный возраст, был чрезвычайно чувствителен к тому, что о нем и о его творчестве писали,— слабость, присущая большинству литераторов.

Борис Константинович так себя мыслил «русским», что не без некоторого удовлетворения замечал иногда, что, поч-

ти полвека живя во Франции, по-французски так и не говорил. Знал все же достаточно, чтобы переводить такого стилистически трудного писателя, как Флобер, а вот говорить не старался. Конечно, новые формы литературы, новые темы ее остались Зайцеву чужды. И тут лично моя позиция была затруднительна. Покойный редактор «Р. М.», С. А. Водов, интересуясь эмиграционными делами, политикой и церковными вопросами, к литературе художественной интереса не имея, поручил Борису Константиновичу вести этот отдел в газете. Понятно, продолжал он его вести и когда я стала ее редактором. Так и приходилось мне, вопреки моему суждению, печатать рассказы, а особенно стихи его «протеже» и протаскивать «конфликтно» кое-какой лирический или литературный материал. Маститый цензор был очень внимателен и иногда мне звонил: «Что-то мне кажется, что эти стихи прошли без моей „визы“».

Почерк его оставался до конца четким, и, конечно, вопреки нашим правилам, мы посылали ему его гранки для корректуры.

Москвич и туляк, Зайцев из всех чужих стран любил как будто только Италию, любил нежно. Она была связана с его молодостью, да и вообще русскому человеку Италия, даже и нищая,— страна ослепительная, по солнцу и улыбкам, как бы антитеза сумрачности и тяжести нашей родной земли. Для меня казалась, да и кажется, загадкой любовь Бориса Константиновича к Данте и интерес его к Флоберу. Трудно себе вообразить более несходные человеческие личности. Думаю, что Зайцев и представить не мог себе Ада, а представив — не нашел бы, кого в него поместить. Что же касается Флобера (Б. К. перевел его «Искушение Св. Антония»), то холодно-техническое совершенство его стиля, равнодушие его к вопросам морали тоже кажутся далекими от художественных и духовных задач Зайцева. Правда и то, что и Зайцев, и Флобер писали об антигероях. Борис Константинович в нешумных своих персонажах улавливал какой-то свет. Ничего серафического во Флобере нет, он даже был не чужд и садизму. Не говоря уже о том, что в «Саламбо» с большим вкусом описаны всякие пытки — дети, сожженные в статуе Молоха, и т. д.,— но и мало известное его описание боен в Бретани — реалистично до отвратительности. Борис Константинович, если бы ему пришлось присутствовать при таких сценах, вероятно, упал бы в обморок и стал вегетарианцем — Флобер, проведший там часы, описывает льющуюся кровь с упоением.

Стилистически Флобер употреблял очень тщательно вы-

бранные редкие слова — что тоже было не в линии Зайцева.

Гораздо понятнее его любовь к Жуковскому и Чехову, «который Москвой крещен», к Тургеневу — о них он и написал прекрасные художественные биографии.

Не скрою, что безмятежность и добродетели Зайцева меня, «мятежную», как-то смущали, но с ним, конечно, было гораздо «уютнее», чем с Буниным или Ремизовым. Осуждения его были мягкие, голос тихий и благожелательный.

80-летие его мы отпраздновали во французском ПЕН-клубе — одна его книга «Золотой узор» была издана по-французски в изд. Ашет.

После приема Борис Константинович написал мне по-французски очень доброе письмо, выражая свою благодарность, адресовав его «господину Жаку Круазе»; не знаю — умышленно или он действительно не знал, что «Жак Круазе» — Зинаида Шаховская.

А 85-летие было отпраздновано уже совсем по-русски, банкетом в Доме русского воина, в залах, переполненных до отказа друзьями и почитателями. Были тут и иностранные современники, и старые друзья Бориса Константиновича. Проф. Пьер Паскаль и проф. Ле Гатто — не иностранцы, ибо «Россией крещены» по долголетней работе о ней, один во Франции, другой в Италии,— и французские литературоведы, и Вера Греч, и Павлов, и Софья Прегель — всех не перечислишь. Речей тоже было много, не без русской велеречивости и былинного эпоса. И вот тут-то — как редактор «Русской мысли» я сидела направо от юбиляра — пока один из лирических панегириков был нами выслушиваем, «о безмятежной брачной жизни и серафической незлобливости юбиляра», Борис Константинович, со вкусом попивавший всегда им ценимое красное винцо, мне прошептал: «Ну, положим, всякое бывало, нередко с Верой и ссорились», а затем: «Еще как приходилось сердиться», что меня восхитило. Зайцев отказывался быть «нечеловеческим человеком».

Новейших писателей и поэтов, зарубежных и живущих в СССР, он понять не мог, да и не старался, творчество их казалось ему нарочитым, надуманным. И мысли их, и стиль были ему чужды. Сам Зайцев считал себя импрессионистом, все же придавая этому определению иное значение, мне кажется, чем французские импрессионисты.

В тихости его была и непреклонность, оттуда его размолвка с Бердяевым — который, впрочем, судя по тому, что Б. К. написал, никогда не был ему близким,— и с Буниным, с которым его связывало, вопреки разности темпера-

мента, их общее русское прошлое и верная дружба их жен — Веры Зайцевой и Веры Буниной.

Победа СССР в 1945 году была для Зайцева не русской победой, т. к. не могла послужить возрождению России и освобождению ее народа, и всякое заигрывание или кокетничанье с советскими властями было для него неприемлемо. Все же о своих современниках пишет он в своих воспоминаниях мягко, хотя своих позиций не сдает.

Незадолго до смерти Б. К. Соллогубы переехали с ним из особнячка на новую квартиру. Он с сожалением расстался с прежним домом и садиком, где по праздникам пили чай с гостями. Но и новая комната сразу стала его «писательской», и по-прежнему приходили самые разные люди, с таким радушием им принимаемые. «Последний человек, знавший живого Чехова»,— сказало о нем французское радиотелевидение.

Тихие блики Голубой Звезды сияют над творчеством и над жизнью Бориса Константиновича. Из всех, о ком я пишу в этой книге, только ему Бог послал ясную, мирную старость, окруженную любовью близких. Умер он блаженно, без страданий, уже в беспамятстве, что-то напевая, Господом вознагражденный за то, что смолоду вверил Ему свою жизнь.

ТЭФФИ

Не могу сказать, чтобы я была особенно близка с Надеждой Александровной Тэффи, более тридцати лет разницы в возрасте нас разделяло, но я бывала у нее, случалось — помогала ей в устройстве ее лекций в Бельгии, а главное — всегда считала ее прекрасной писательницей и очень интересным человеком и радовалась каждой нашей встрече.

Тэффи, в сущности, была единственной «дамой» литературного Парижа — не «литературной дамой», а очаровательной, хорошо воспитанной и «столичной» дамой. Может быть, несколько суховатая и чрезвычайно умная, Тэффи, мне кажется, не интересовалась политикой или мировыми вопросами. Интересовали ее человеческие типы, дети и животные, но трагическую участь всего живущего она не только понимала, но и чувствовала ее на своем собственном, прежде всего, опыте.

Сатирики и юмористы (за исключением Мятлева) почти все ипохондрики, от Гоголя до Дон Аминадо и Зощенко.

Как все они, Тэффи смеялась «горьким смехом», без злобы, но с предельной зоркостью отмечая, и для наглядности их увеличивая, нелепости быта и людские слабости.

Когда я ее знала, ее здоровье уже требовало болеутоляющих средств, а иногда и возбуждающих, и мне приходилось ее видеть то блестящей и остроумной, то совершенно потухшей, превозмогающей себя и жизнь. И вдруг, оттого что кто-то находился рядом с ней, таившаяся в ней искра вспыхивала снова, и фейерверком рассыпались меткие замечания, остроумные рассказы, живые воспоминания.

Очень любила Н. А. балы и выходы, следила за своей внешностью, одевалась, как могла, элегантно, я никогда не видела ее не причесанной и не подтянутой.

Помню наш с ней анекдотический выход в какой-то русско-цыганский кабачок. Был в Париже (и где он не был!) милейший антрепренер Рогнедов (звучное имя взял он себе в России в молодости, влюбившись в актрису, которая играла Рогнеду). Что-то было в нем от персонажей Семена Юшкевича и, наряду с антрепренерской внешностью, какая-то приятная детскость. Между прочим, возил он по всему свету и труппу русских лилипутов Григория Ратова. Как-то, когда я сидела у Тэффи, явился Рогнедов и решил нас повеселить шампанским и цыганщиной. Деньги у него иногда были, иногда их не было, в общем — пригласил. Н. А. приоделась, и мы отправились. Народу в «Мон Таборе» было не много, и, пока нас подводили к столику, был слышен шепот задержавшегося позади Рогнедова: «Я вам привел саму Тэффи, да еще и Шаховскую, ну, явно княгиню!» На этот раз безденежному Рогнедову мы были предлогом для дарового угощения. Не знаю, написала ли об этом Тэффи, но, когда подвижной Рогнедов сорвался со стула и помчался кому-то что-то сказать, Н. А., чуть-чуть улыбаясь, промолвила: «Ну вот и хорошо, что и нам удалось развлечь нашего приятеля, да и лестно, значит, и мы чего-то стоим».

Почему-то у меня сохранилась только одна книга Тэффи — «Ведьма», и вот не так давно пришел из Москвы первый изданный в СССР сборник ее рассказов, тщательно подобранных О. Михайловым и с его вводной статьей (блещущей исключительно своими передержками).

Из-за отсутствия материала, не помню, были ли напечатаны рассказы, о которых я слышала от самой Тэффи на авеню де Версай в тридцатых годах. Какая она была рассказчица, как умела она мимикой оживить рассказ, взять нужный акцент, воплощая то актрису, то девочку, то бабу,

то шофера такси, говоря и за умного, и за глупого, и за бедного, и за богатого.

Вот, например, о шапке-невидимке:

Едет старуха деревенская в поезде, и подходит к ней кондуктор: «Давай, бабушка, твой билет», а она сидит, зажмурив глаза и нахлобучив засаленную шапку на брови. «Давай билет, слышишь?» Глаз приоткрывается: «Аль ты меня видишь?» — «Ясно, вижу!» — «Вот ведь сволочь парень-то был! Как входила я на станцию, так подвернулся мне такой, говорит: ты, бабка, куда едешь? Я и говорю — в Сызрань.— Да билет-то ведь дорого стоит.— И то, батюшка, дорого.— Так я помогу тебе, вишь, за полцены ушанку уступлю, а она у меня шапка-невидимка. Сядешь и доедешь невидимкой до самой Сызрани. Обожди, хороший человек, может, я ее не так повернула, погодь маненько, я ее задом наперед, так перед тобой и скроюсь».

Или еще о городской нянюшке, никогда не имевшей дела с животными и вышедшей прогулять хозяйскую собачку. Возвращается и говорит умиленно: «Но уж такая собачка, барыня, такая собачка! Как подошла к фонарю, так, верите ли, ножку подняла, а ведь и то ученая, ножку-то подняла».

Или как Тэффи и зашедшая к ней, кажется, Рощина-Инсарова собирались чайку попить и что из этого вышло из-за их рассеянности... Но как своими словами передать не только слова Тэффи, но ее серые острые глаза, в которых отражаются персонажи, ее выразительный голос, слышанный мною сорок лет тому назад? Не было тогда этих магических кассет, теперь всюду распространенных, и боюсь, что не записана речь Тэффи никем и никогда — и это большая потеря.

Хотя Тэффи, видимо, очень дорожила своими стихами — может быть, бывшими «отдушинами» в ее «юмористических» писаниях и выдававшими ее, в юморе многим незаметный, пессимизм,— поэтического дара у нее не было, и в стихах обнаруживались иногда ошибки вкуса, чуждые ее рассказам. Проза же ее на высоком уровне, и никак нельзя назвать ее «дамской», подразумевая под дамской то, чем грешат иногда и мужчины: излишним пафосом и «поэтичностью». Чего стоит одно описание пляски на посиделках в хате юго-западного края!

«Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпичные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню. Вдруг девки замолчали сразу, точно пода-

вились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка, и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен...» Лучше всех пляшет совсем не «долговязый парень, да две девки плоскогрудые, с выпяченными животами», а старая бабка — «вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровиночка переливается».

Да, большой мастер слова была Тэффи и горький знаток человека — зоркость редко дар радости, и спасибо ей за то, что, описывая соотечественников, она им же самим позволяла улыбнуться над собой, а не топила их суровым обличеньем. Случалось, учила она нас и мудрости, об этом не заботясь. Где-то был напечатан ее рассказ о том, как в константинопольском подвале играли в винт или бридж бывший генерал, бывший губернатор, сама рассказчица и кто-то еще и в перерыве вдруг начали вспоминать горьковских босяков. Ужасались бедности персонажей «На дне» — и вдруг кто-то, оглянувшись, заметил с изумлением: «Да ведь и мы как будто на дне». Если вдуматься в эту вещь Тэффи, то ведь совсем не беспросветна она, раз человек «на дне» — в смысле бедности и бесправия — может этого не замечать.

Если и смешон несколько русский генерал, обращающийся с площади Согласия с вопросом миру: «Ке фер, фер-то ке?» *— то только очень злой человек не почувствует, что значит для него потеря всего, чем он жил.

Все же оказался юмор Тэффи не таким уже долговечным. Перечитывая в семидесятых годах ее книги, улыбаешься редко, хотя все еще стоит особый городок, обыватели которого живут «как собаки на Сене» — но, видно, фольклор первых десятилетий эмиграции уже изжит. Тонкая грустная насмешливость Тэффи над русско-парижским бытом показалась советским критикам обличеньем «буржуазной» эмиграции, и поэтому выпустили они в 1971 году книгу, старательно подобрав рассказы, показывающие безвыходность ее положения. В предисловии своем О. Михайлов подчеркивает тяжелую участь Тэффи — она все же была намного легче, скажем, участи Зощенко. Ни репрессировать ее, ни реабилитировать никому не пришлось.

* Что делать, делать-то что? *(фр.)*.

ПИСЬМА ТЭФФИ

Милый друг.

Очень тронута Вашим вниманием. Ваш прелестный букет пришел раньше всех, рано утром.

Очень ему радовалась за его красоту и за то, что он как бы залог наших милых будущих встреч.

Крепко целую и благодарю

Ваша
Тэффи

Дорогая и очаровательная
Зинаида Алексеевна.

На днях вернулась в Париж из дальних странствий. Вчера, разбирая корреспонденцию, нашла Ваш милый отзыв о моей «Ведьме».

Бесконечно тронута Вашим вниманием, сердечно благодарю.

Что у Вас делается в Брюсселе? Не заглянете ли к нам в Париж? Очень бы хотелось повидать Вас снова.

Мне советуют повторить мой вечер (на котором Вы присутствовали) в Брюсселе. Как Вы думаете — можно это сделать и стоит ли того? М. О. Цетлин очень к этому склонен. Я его называю «мой апологет».

У нас сезон еще не начался. Все еще живут и делятся воспоминаниями лета. Мне это не интересно, т. ч. я наш monde * еще вижу редко.

Крепко благодарю и еще крепче целую.

Ваша всегда
Тэффи

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Вы страшно милая, что заботитесь обо мне.

Да, в январе мне было бы удобно приехать в Брюссель.

Но одной заполнить весь вечер было бы трудно. Поэтому попробую предложить М. О. Цетлину приехать со мной и повторить свою «Апологию», читанную на моем вечере в Париже. Ему, конечно, платить не надо, должен сделать это для меня.

* свет *(фр.)*.

Этот клуб приглашал меня года четыре тому назад, но я тогда не могла приехать и отказалась за несколько дней до вечера. Тогда они обещали выручку около 1 000 фр.

На счет PEN-club'a — думаю, что не стоит того. Отдельных книг на франц. языке у меня не выходило. Есть кое-какие, малоинтересные рассказы в разных журналах. «Чествоваться» вообще терпеть не могу.

Еще благодарю Вас, дорогой друг, и за это предложение, но лучше ограничимся одним вечером. А с Цетлиным я переговорю, иначе — боюсь, что не осилю.

В ноябре устраивают 2 моих вечера в Лондоне. Но там помогут актеры, кот. сыграют две моих миниатюры.

Ваша
Тэффи

---

5 ноября

Дорогая Зинаида Алексеевна.

Как обстоят наши дела с вечером? Дело в том, что берлинский вечер переносится на январь, т. ч. надо бы организовать брюссельский в самом конце января.

Кроме того, я хотела сказать следующее: надо бы, чтобы клуб пригласил Мих. Ос. Цетлина (59, rue Nicolo) прочесть обо мне то, что он читал на моем вечере. Конечно, это будет бесплатно. Я с ним уже говорила, и он в принципе согласен, но мне кажется, что это приглашение является необходимою формальностью. Ему неудобно, несмотря на всю его bonne volonté *, выступить неприглашенным.

Теперь вот еще какая мысль. И. Бунаков говорил мне, что обычно тот же клуб устраивает повторение того же вечера на другой день в Антверпене, где также есть русская публика. Может быть, клуб это устроит?

Пожалуйста, дорогая Зинаида Алексеевна, ответьте мне на эти вопросы.

Я еще ничего не получала от секретаря клуба, о кот. Вы мне писали. Необходимо установить даты.

Целую Вас, дорогая, и жду вестей.

Ваша
Тэффи

---

* Добрую волю *(фр.)*.

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Брюссель трагически молчит, а Берлин трагически вопит: «Когда вы сможете приехать?»

Необходимо теперь же установить дату. Необходимо, как я уже Вас просила, предложить Мих. Ос. Цетлину приехать. Я не хочу злоупотреблять Вашей любезностью и очень прошу передать все это нудное дело в опытные руки секретаря Евр. клуба, о кот. Вы мне писали.

Числа 22-го я уже уезжаю в Лондон и хотела бы до моего отъезда выяснить все. Цетлин в Лондоне, и я бы там с ним поговорила.

Простите, что надоедаю, но Берлин надоедает в свою очередь, и я не знаю, что ему ответить. Словом — давайте мне скорее эту секретаршу и купите этой ценой себе свободу.

Крепко целую

Ваша
Тэффи

А когда же Вы к нам в Париж?

Дорогая Зинаида Алексеевна!

Сердечно благодарю за память. Меня очень тронуло Ваше внимание.

Теперь буду Вас ждать в Париже.

Я была в Брюсселе совсем кислая. Такая же, если не кислее, была и в Лондоне. Мне чужие климаты не подходят. Обещаю в Париже развлекать Вас и веселить, а пока крепко целую и прошу передать сердечный привет всем Вашим.

Искренно Ваша
Тэффи

Наконец-то, дорогая Зинаида Алексеевна, захотелось Вам меня видеть!

Я в Брюсселе была такая сонная и кислая (не могла ночью спать), что даже удивляюсь, как Вы так захотели меня видеть!

Жду Вас обоих, как Вы обещали, в пятницу к 5 часам.

А пока целую

Ваша Тэффи

ЛЕОНИД ЗУРОВ

Леню Зурова все любили. Да и трудно было его не любить. На Монпарнасе Леонид Зуров предстал как добрый русский молодец, высокий, румяный, сероглазый, русый, как бы прямо вступивший из древнего Пскова на парижский асфальт. Говорил он спокойно и благожелательно, в литературных склоках и интригах не участвовал, спокойно как будто шел своей дорогой, не похожей на монпарнасскую. В сущности, был по своему литературному облику явлением единственным — отнюдь не модернистом, а продолжателем, как говорили, бунинской линии.

Это было не совсем так. Страстность и нетерпимость Бунина, творческое его богатство у Зурова отсутствовали, но была у него такая же утробная любовь к старой России, особенно к истории Печерского края, такое же бережное отношение к русскому языку. К чужим мирам Зуров интереса не чувствовал — тогда как Бунин воспринимал и готические соборы, и пейзажи Прованса, и любовь цейлонского рикши, и смерть господина из Сан-Франциско, и древность Иудеи с острой прозорливостью.

Первая книга Зурова восхитила Бунина, увидевшего в молодом писателе «художника слова», кого-то совсем несхожего с литературной молодежью тех лет. По поводу книги «Отчина», которая появилась в 1928 году, после длительной работы Зурова над архивами Псково-Печерской обители, Бунин написал:

«Подлинный, настоящий художественный талант — именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает, много, по-моему, обещающий при всей своей молодости... Он мне пишет, что «Отчину» он писал «по обещанью»... Уже одно это прекрасно. Но и прекрасна сама книжка — на нее надо обратить особое внимание».

Так и попал Зуров в бунинскую орбиту, много ему давшую, но и принесшую ему много тяжелого. Как Злобин к Мережковским, Зуров до смерти был прикован к Буниным и уйти ему, и в переносном, и в прямом смысле слова, было некуда, хотя он как будто бы и пытался.

Я встречала его в Париже, кажется, в начале тридцатых годов, когда он работал ночным сторожем при каком-то гараже в Буживале. Было раннее лето, и Леня приглашал друзей слушать ночью буживальских соловьев. Теперь они перевелись, а тогда, правда, пели и звенели соловьи — может быть, потомки тех, которых слушал И. С. Тургенев на да-

че Полины Гарсиа Виардо. Дача и сейчас еще цела, с мезонином и березками, напоминающими русское именьице.

О прошлом своем Зуров говорил мало. Судя по его книгам, вероятно, он участвовал совсем молодым в гражданской войне, говорили, что был ранен. Интересовался археологией, древними русскими памятниками (крест над могилой Буниных в Сент-Женевьев сделан Бенуа по зарисовке Зурова с такого древнего памятника). Уже позднее, в Шотландии, произвел ценное исследование о предках Лермонтова — был добрым тружеником всего, что ни предпринимал. Писал же трудно, ставя себе высокие требования, вероятно, тяготясь близостью Бунина и с годами все труднее и труднее перенося сожительство с ним.

Все же не многие «молодые», нашумевшие в те времена в Париже, оставили после себя такое, правда, не обширное, но законченное литературное наследство, как Зуров. Пять книг: «Кадет», «Поле», «Древний путь», «Марьянка», «Отчина».

Личной жизни у Зурова, в общем, не было. Много у него было женщин друзей, но никто не слыхал о каком-нибудь его «романе», связи, любовном увлечении — это не прошло бы незамеченным, такие происшествия не ускользали от бдительных собратьев.

Несмотря на цветущий вид, Зуров здоровьем не отличался. Сперва обнаружилась легочная слабость, затем, позднее, после войны,— нервная болезнь, с периодическими улучшениями или ухудшениями. Трудное сожительство с Буниными, трудности творческие лежали на Зурове грузом. Казалось бы, после смерти Ивана Алексеевича атмосфера будет более легкой, но, как часто случается с нервными заболеваниями, вся острота обращается к самым близким людям, в данном случае к Вере Николаевне, которой и пришлось вынести всю ее тяжесть и трагичность. Беспокоила ее и судьба Зурова после ее смерти. Всегда покорная воле Ивана Алексеевича, она поэтому и ослушалась, верно впервые, и отдала часть архива Бунина в СССР взамен маленькой пожизненной пенсии, которую за это обещали Зурову.

Не будь ее, не будь помощи Литературного фонда и верных друзей Лени — Натальи Борисовны Соллогуб, Милицы Эдуардовны Грин, Софьи Прегель, да и нескольких других,— Зуров бы прямо умер с голоду. Был у него возможный выход — вернуться в Россию, куда его приглашали на «советское иждивение», и никто его от такого шага не отговаривал, но сам Зуров на это пойти не мог. Посещения его советскими эмиссарами, все старающимися что-то от него

выудить из оставшегося у него бунинского архива, мучили его беспредельно и вызывали у него необоснованные подозрения, переходящие в манию преследования.

Только тем, кого Зуров близко знал, он доверял. Ко всему развилась у него и сердечная болезнь. Он не мог уже подниматься на шестой этаж старого помещения редакции «Р. М.» и ждал меня внизу, когда хотел меня видеть.

Я никогда не слышала от него ни одного плохого слова о Бунине или Вере Николаевне, ни упрека, ни намека на что-либо из тайн их личной жизни. Наоборот, до самой своей смерти Леня Зуров, казалось, жил только для того, чтобы память о Буниных ничем не была омрачена.

С какой готовностью он принял мое приглашение прийти в русскую секцию французского радио, поговорить со мною о Бунине, как прекрасно передал он сцену, произошедшую в Грассе во время посещения Бунина Андре Жидом. Жид защищал Достоевского — Бунин, в красном шелковом халате, с тюбетейкой на голове, с ним спорил. Наконец, Жид сказал: «А Ваш Толстой просто скучно пишет». Тут Иван Алексеевич вскочил, схватил хлебный нож, лежащий на столе, и «как половец» ринулся на Жида, изображая убийство,— сцена была незабываемой. С такой же готовностью и волнением Зуров собрал для номера «Р. М.», посвященного столетию со дня рождения Бунина, фотографии из своего архива.

После смерти Веры Николаевны Зуров смог остаться в части квартиры, ими занимаемой. У него было две комнаты, в которых царил неимоверный хаос. Зуров пытался разобрать оставшийся у него архив, пытался писать, переделывая каждую фразу, начиная все заново, переделывая опять, не в силах закончить хоть одну связную страницу.

Душеприказчицей своей он назначил Милицу Грин — и лучше найти, право, бы не мог. Благодаря Милице Грин мы ознакомились с дневниками И. А. Бунина, и легко себе представить, как много пришлось ей потрудиться.

Над могилой Зурова, в русском некрополе Сент-Женевьев, растет березка. Может быть, в Псково-Печерской обители живет еще какой-нибудь инок, его знавший, и молится об упокоеньи автора «Отчины».

СОФЬЯ ПРЕГЕЛЬ

Софья Юльевна Прегель начала свою литературную деятельность в Берлине, и близко я с ней познакомилась только после войны. Она вернулась из США в Париж, перенеся туда и свой литературно-художественный журнал «Новоселье», вскоре все же закрывшийся,— журнал русской культуры за рубежом, в который включались и писатели второй, послевоенной эмиграции.

Деятельность и энергия Софьи Прегель были удивительны — впрочем, еще более удивительна была ее доброта. Энергичны были и ее стихи. Помню, в одно из редких моих посещений вечеров русских писателей и журналистов, как бодро раздавался ее голос в зале Русской консерватории, так и верилось, что хотелось этой крупной, темпераментной женщине «все иметь: от великой любви до желтеющих яблок моченых». Как бодро предстояла она перед аудиторией, как четко читала стихи. Мир вещественный был ей близок, как фламандским художникам.

И улица походкой старика
С горы спускалась медленно и криво.
Под солнцем выцветали так лениво
Небесные, тяжелые шелка.

И пахло бочкой кислое вино,
И погреба прохладой темно-красной,
И не было поспешности напрасной,
Но каждый знал, что каждому дано
Лишь то, что осязаемо и ясно
И до конца в себе завершено.

«Разговор с Памятью» 1934

Тут нет ничего от парижской ноты, хотя и написано в Париже, «золотой и мерцающий мед» и «пшеницей пенились возы» — всюду образы земных даров. И даже говоря о печали, не спадает голос ее в минор. «О печаль моя заревая, ты живая и неживая, и цветение ты и тлен»,— писала она в 1966, когда молодость была уже позади.

Иногда я заходила за Софьей Юльевной в еврейскую благотворительную столовую, где-то в 16-м аррондисмане, в которой она приняла деятельное участие, едва вернулась в Париж. Да в чем только не принимала Софья Прегель участия? Кому только не помогала она в то время и до

самой смерти? Она была тем редким человеком, принципы которого побеждаются состраданием.

По темпераменту своему Софья Прегель была максималисткой, поэтому она яростно осуждала всех, кто хоть в какой-то мере не занял твердой позиции по отношению к гитлеровской Германии, но вопреки вот этому своему принципу непрощенья, при беде «провинившегося», как бы вопреки себе, приходила ему на помощь, не могла не прийти.

После войны, вероятно, я мало ее знала до, она особенно сильно ощущала свое еврейство, и религиозное, и расовое. Но и без русской культуры мыслить себя не могла.

Не забыть... до рассвета, быть может,
Все, что память напрасно тревожит,
Обернется Россией твоей.

«Берега». 1955

Случалось, обнаруживалась в ней детская непоследовательность суждений. Так, например, христиане, следовавшие обрядам своей веры, казались ей просто суеверными людьми — как может просвещенный человек ходить в церковь? Следовать же закону Моисея было отнюдь не суеверием.

Но и тут, несмотря на ее религиозную нетерпимость, могу привести конкретный пример сверхъестественной ее доброты. Не кто другой, как Софья Юльевна привезла к умирающей в американском госпитале Парижа Юлии Сазоновой, крещеной еврейке, православного священника. Знаю, как трудно ей было это совершить, потому что мне, в жизни более терпимой, чем С. Ю., привести раввина к христианину, перешедшему в иудейство, было бы не так легко.

Когда тяжко заболел и затем умер один парижский поэт, ненавидимый Софьей Прегель за его, очень отвлеченные, симпатии к гитлеровской Германии, Софья Прегель не только помогла ему при болезни денежно, но и, собрав на похороны, присутствовала на его отпевании.

Что же говорить о тех, которые в глазах Софьи Юльевны ничем себя не скомпрометировали? И Бунин, и Ремизов, и Зуров, и множество других русских литераторов были Софьей Прегель опекаемы, она о них заботилась, шевелила и других — и все эти безо всякой «рекламы», просто, скромно и тайно.

После 1968 года, когда я стала редактором «Русской мысли», мы с С. Ю. встречались очень часто, тем более что она жила совсем рядом со старой редакцией. Померанцев и я,

едва нам была нужна какая-нибудь справка, по любому литературному вопросу — проверить ли цитату, узнать год рождения писателя или поэта, точное название его книги — телефонировали Софье Прегель и сразу получали нужный нам ответ.

Я много раз просила Софью Юльевну писать у нас свои воспоминания или критические заметки, но она никогда не соглашалась.

С. Ю. вела деятельную переписку с целым рядом советских литературоведов и, видимо, намеревалась когда-нибудь поехать в СССР, что было ей легко с ее американским гражданством. Этим я объясняла ее нежелание открыто участвовать в явно антикоммунистической газете. У нее должен был храниться интереснейший литературный архив, ведь она, годами принимая активное участие в зарубежной русской литературе Берлина, Парижа, Нью-Йорка, знала всех его деятелей, имела с ними переписку. Поэт Александр Гингер завещал ей и свой архив, полный интереса. Не знаю, что из этих сокровищ было передано в СССР, но после смерти С. Ю. мы ничего о них не услышали.

В вопросе о передаче архивных материалов в СССР, как, впрочем, во многих других, я с С. Ю. резко расходилась. Мы с мужем согласились принять только одного советского эмиссара, но не поддались на его «патриотические» доводы: «Вы русские, неужели вы для России не хотите отдать ваши архивы, а предпочтете дать их какому-нибудь иностранному университету?» Мы отвечали, что с радостью отдали бы наши архивы России, но только такой, которая разрешила бы историкам, литературоведам, да и просто всем интересующимся, ими пользоваться. В засекреченном архиве пользы мало.

В СССР Софья Юльевна не поехала. Не поехала она и в Израиль, землю для нее обетованную и ею любимую. И в том, и в другом случае, может быть, боялась, что воображаемое не выдержит встречи с существующим.

ДОН АМИНАДО

С Дон Аминадо познакомилась я в юности в Брюсселе, когда он приезжал туда на свои вечера. Он был удивительно талантлив, умен и остер. Десятилетия прошли — и, не в пример другим юмористам эмиграции, Аминадо никак не уста-

рел. Думается, потому, что, даже когда он писал об эмиграции, Дон Аминадо как-то естественно выходил из узкой эпохи и за эмигрантским фольклором различал нечто более обширное.

Разве не современно: «Чем дольше живу на свете, тем все более убеждаюсь, что и люди и государства живут не по средствам», или по поводу бельгийцев: «Присягают королю, голосуют за социалистов, верят в текущий счет». Или молодежи:

Пусты! а все же верю истово
С каждым годом все сильней,
Что из хриплого, басистого
Поколенья новых дней,

Проблуждав тропой опасною,
Выйдут мальчики на ять,
Выйдут с целью очень ясною —
Нам по шапке с вами дать.

И еще:

Знаю, кесарево кесарю...
Но позвольте доложить,
Что теперь любому слесарю
Легче кесаря прожить.

И, наконец, заключение книги «В те баснословные года»:

В смысле дали мировой
Власть идей непобедима.
— От Дахау до Нарыма
Пересадки никакой.

К тому же он хорошо знал и французский мир, хорошо в него включился, был дружен с французскими юмористами, Пьером Даком и другими.

Как и Тэффи, Аминад Петрович совсем не легкомысленно смотрел на жизнь, он знал ее трагичность, ее сложность, был человек беспокойный, переживал события очень тяжело.

«Старайтесь улыбаться». Смейтесь,
Благо есть над чем.

Над нашей неуютной жизнью Дон Аминадо учил улыбаться и нас.

После первых встреч в двадцатых годах мы долго не виделись, разве раз или два на балах в «Лютеции», устраиваемых в пользу писателей, на которых бывали и молодые и старые и всегда много народа, и как бы забыли друг о друге. Но вот в первую годовщину смерти Бунина Вера Нико-

лаевна позвала нескольких друзей к себе и попросила каждого рассказать о своем муже. Сказала и я несколько слов. Наклонившись к Вере Николаевне, Аминад Петрович, не узнав меня, спросил ее, кто я такая. Так мы снова познакомились. В это время мы с мужем только что вернулись из Марокко после «освобождения» этой страны от французских «колониалистов». Процесс этого освобождения (кстати сказать, едва меня не прикончившего, так как первая бомба освобождающихся была подброшена почему-то в тот самый вагон, в котором я возвращалась, после лекции и выступления там по радио, из Рабата) стоил нам лично, и уже в третий раз в нашей жизни, нашего состояния. Аминад Петрович, тогда уже успешно занимающийся делами, с юмором ничего общего не имеющими, был чрезвычайно озабочен нашим положением — даже более, чем я сама, довольно легкомысленно относящаяся к превратностям судьбы. Мы часто встречались в кафе, где он давал мне советы и болел душой. Оптимизм мой оправдался. Все понемногу — не без труда — наладилось, и в 1956 году мой муж был назначен первым секретарем бельгийского посольства в Москву. Радости Аминада Петровича не было конца.

Когда мы вернулись, он настоятельно просил нас к нему приехать обо всем рассказать и собрал много гостей — графа Платона Зубова с женой и других, живо интересующихся тем, что мы увидели и себе уяснили.

Как жадно слушал он рассказы наши «о всем, о всем!». Да и стар совсем не казался, все так же жив был его язык и его ум, так же молоды были его реакции на все, что происходило, и так же умел он «стараться улыбаться».

Еще в 1951 году подарил он мне свою книгу (нумерованную) «В те баснословные года», написав на ней:

«Я знал ее еще тогда
В те баснословные года»...
И образ Зины Шаховской
Я в суете сберег мирской.

Не в пример Тэффи, которая очень ценила свои стихи (значительно уступающие ее прозе), лирические стихотворения Дон Аминадо просто хороши, хотя сам поэт как будто бы и не придавал им очень много значения. Не знаю, много ли он над ними работал, но ни работы не было видно, ни надуманности, как будто все само собою наполнилось прелестью и легкостью:

Апрельский холод. Серость. Облака
И ком земли, из-под копыт летящий.

И этот темный глаз коренника,
Испуганный, и влажный, и косящий.

О помню, помню!.. Рявкнул паровоз.
Запахло мятой, копотью и дымом.
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым,

Той свежестью набухшего зерна
И пыльною, уездною сиренью,
Которой пахнет русская весна,
Приученная к позднему цветенью.

Стихов Дон Аминадо как будто публично никогда не читал, кроме сатирических, о них не говорил, но вот такая чуткая к поэтическому дару Марина Цветаева признала не только в его лирике, но и в его шутках, и в нем самом — подлинного поэта.

Уже после смерти Аминада Петровича я встретила у В. Н. Буниной добрую и милую Надежду (Аминадо) Шполянскую и через несколько дней получила так тронувшее меня письмо:

«Он Вас очень любил и ценил — всегда об этом говорил, и я хочу, чтобы Вы это знали» — со вложенной в него фотокопией письма Марины Цветаевой к Дон Аминадо.

С ее разрешения я привожу здесь это письмо, нигде еще никогда целиком не напечатанное.

Уступаю М. Ц. со смирением, как и она, зная шкалу ценностей, последнее слово о Дон Аминадо.

Vanves, 31 мая 1938 г.

Милый Дон Аминадо.

Мне совершенно необходимо Вам сказать, что Вы совершенно замечательный поэт. Я уже годы от этого высказывания удерживаюсь — à quoi bon? * — но, в конце концов,— несправедливо и неразумно говорить это всем, кроме Вас — который, единственный, к этому отнесется *вполне* серьезно и, что важнее,— не станет спорить. (Остальные же (дураки) Вам верят на слово — веселее).

Да, совершенно замечательный поэт (инструмент) и куда больше поэт, чем все те молодые и немолодые поэты, кото-

* Для чего? *(фр.)*.

рые печатаются в толстых журналах. В одной Вашей шутке больше *лирической жилы*, чем во всем их серьезе.

Я на Вас непрерывно радуюсь и Вам непрерывно рукоплещу — как акробату, который в тысячу первый раз удачно протанцевал на проволоке. Сравнение не обидное. Акробат, ведь это из тех редких ремесел, где все не на жизнь, а на смерть, и я сама такой акробат.

Но помимо акробатизма, т. е. непрерывной и неизменной *удачи*, у Вас просто — поэтическая сущность, сущность поэта, которой Вы пренебрегли, но и пренебрежа которой Вы — бо́льший поэт, чем те, которые на нее (в себе) молятся. Ваши некоторые шутливые стихи — совсем на краю *настоящих*, ну — одну строку переменить: *раз не пошутите!* — но Вы этого не хотите, и, ей-Богу, в этом нехотении, небрежении, в этом расшвыривании дара на дрянь (дядей и дам) — больше grandezz'ы *, чем во всех их хотениях, тщениях и «служениях».

Вы — своим даром — роскошничаете.

Конечно, вопрос: могли бы Вы, если бы Вы захотели, этим настоящим поэтом — стать? На деле — стать?

(Забудем читателя, который глух, и который и сейчас не видит, что Вы *настоящий* поэт, и который — заранее — заведомо — уже от вида Вашего имени — béatement et bêtement ** — смеется — и смеяться *будет* — или читать не будет.)

Быт и шутка, Вас якобы губящие,— не спасают ли они Вас, обещая *больше*, чем Вы (в чистой лирике) могли бы сдержать?

То есть: на фоне *не* газеты, без темы дам и драм, которую Вы повсеместно и неизменно перерастаете и которая Вам посему бесконечно-выгодна, потому что Вы ея бесконечно — выше — на фоне простого белого листа, вне трамплина (и *физического* соседства) пошлости, политики и преступлений — были бы Вы тем поэтом, которого я предчувствую в каждой Вашей бытовой газетной строке?

Думаю — да, и все-таки этого — никогда не будет.

Говорю не о даре — его у Вас через край — говорю не о поэтической основе — она видна *всюду* — кажется, говорю о Вас, человеке.

Я, кажется, знаю: чтобы стать поэтом, стать тем поэтом, который Вы *есть*, у Вас не хватило любви — к высшим ценностям; ненависти — к низшим. Случай — Чехова, самого

* Величия *(ит.)*.
** Блаженно и глуповато *(фр.)*.

старшего — умного — и безнадежного — из чеховских героев. Самого — чеховского.

Что между Вами — и поэтом? Вы, человек. Привычка к шутке, и привычка к чужой привычке (наклонная плоскость к газетному читателю) — и (наверное!) лень — и величайшее (и добродушное) презрение ко всем и себе,— а может быть, уж и чувство: поздно (т. е. та же *лень*: она, матушка!).

Между Вами и поэтом — быт, Вы — в быту, не больше.

Не самообольщаюсь: писать всерьез Вы не будете, но мне хочется, чтобы Вы знали, что был все эти годы (уже скоро — десятилетия!) человек, который на Вас радовался, а не смеялся, и вопреки всем Вашим стараниям — знал Вам цену.

Рыбак — рыбака видит издалека.

Марина Цветаева

— А дяди! А дамы! Любящие Вас потому что невинно убеждены, что это Вы «Марию Ивановну» и «Ивана Петровича» описываете.

А редактора! Не понимающие, что Вы каждой своей строкой *взрываете* эмиграцию! Что Вы ее *самый* жестокий (ибо бескорыстный — и добродушный) судия.

Вся Ваша поэзия — самосуд: эмиграции над самой собой. Уверяю Вас, что (статьи Милюкова пройдут, а...) это — останется. Но мне-то, *ненавидящей* политику, ею — брезгующей — жалко, что Вы пошли ей на потребу.

— Привет!

ЛИМИТРОФЫ

Разрозненные, разорванные, много кочевавшие, лежат передо мною русские эмигрантские журналы и сборники, а в чудом сохранившихся папках — письма тех, кто их создавал и кто в них писал в разных местах нашего рассеяния.

Более полувека гоняет все один и тот же противник изгнанников по всему свету, и историческими событиями стирается память о жертвенных трудах отцов, детей и внуков, старавшихся в самых тяжелых условиях сохранить духовное и культурное сокровище, единственное ими вывезенное в двадцатых годах из отчизны: свободное слово и память о прожитом. В Белграде, в Софии, в Харбине и в Берлине,

в Париже и Риге, в Варшаве и в Вене — перечислить все географические названия трудно — печатались на трудовые эмигрантские гроши, чаще всего очень кратковременные, журналы и журнальчики.

В Бельгии жила престарелая мать генерала Врангеля, баронесса Мария Дмитриевна, которая годами собирала материал, названный ею «Живая летопись живых». Цель ее была — «закрепить по свежим следам: дела, деятелей, родные таланты в наши страдные дни на чужбине». Этот материал теперь находится в Хуверовском институте в Калифорнии. Из Парижа была немцами вывезена в Лейпциг самая обширная русская библиотека, Тургеневская, в которой находились все эти журналы. А из Лейпцига была она вывезена Советами в СССР, в сталинское время, поэтому, может быть, не все попало хотя бы под спуд, возможно, что что-либо особенно жгучее для режима могло быть и уничтожено.

В Праге русское народное достояние было собрано в специальный государственный архив при Мин. ин. дел, который Бенеш услужливо подарил в 1945 году Советам. А русские деятели, проживающие в лимитрофах *, те из них, которые не были вывезены в лагеря СССР, бежали на Запад, вряд ли захватив свои архивы и свои библиотеки.

И вот теперь, не без меланхолии, смотрю я на разрозненные номера наших «провинциальных» журналов. Оторванные странички «Брюссельского вестника» под редакцией Беликова, орган литературно-художественного кружка. Впрочем, такового и не было. В Бельгии существовал, в действительности, только очень деятельный «Клуб русских евреев» в Брюсселе и Антверпене. Он-то и приглашал парижских «корифеев» на лекции и доклады. Беликов был очень приятный молодой человек, друг парижанина Анатолия Алферова, и в недолговечном «Вестнике» имена авторов были парижскими: Алферов, Червинская, Шаршун, Борис Дикой (Вильде), Терапиано, Марк Слоним и я, ведшая «Литературный отдел» (громкое название) еще до этого в местном листке «Неделя», отражающем жизнь русской колонии.

В том же 1935 году, в котором закончился «Вестник», уже под двойным редакторством — Алферова и того же Бели-

* Пограничные области; в 20—30-х годах XX века — название отделившихся от Российской империи после 1917 года Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Финляндии (прим. ред.)

кова, в Брюсселе взошла «Полярная звезда», иронически встреченная Ходасевичем (см. Письма Х.). Но и в «Полярной звезде» мы находили те же парижские имена. Почему-то, кроме меня, живущие в Брюсселе литераторы в нее не попали.

О поэте Юрии Миролюбове осталась у меня память как о приятном человеке и тонюсенькая книжечка стихов, «Сюиты», Брюссель, 1931. Другого брюссельского поэта звали Макеев, он работал шофером такси и называл себя «учеником Соллогуба».

Проживал в Брюсселе и тот самый соборный виршеплет — «Клуб Четырех»: поэт, эстет, аббат и корнет, о котором я уже упоминала.

Конечно, Брюссель не был лимитрофом, скорее сателлитом Парижа, но никак не соседом России.

С русским Берлином у меня связей не было, за исключением Сирина (Набокова), которого я там и навестила проездом и который гостил у нас в Брюсселе.

С русским Белградом тоже сношений не имела, но часть «берлинцев» и «белградцев» в 30-х годах уже стала «парижанами».

Что касается Польши и прибалтийских стран, да и Харбина, то положение там было совсем отличное от нас. Не было там того отрыва от родной почвы, который чувствовался на Балканах и еще больше — в странах Западной Европы. Имелось там не только активно защищающее свою русскость меньшинство, официально представленное в парламенте, но и русский пейзаж, русский фольклор, русский коренной язык и не пересаженное на чужую почву православие.

Ярким примером русского писателя, жителя лимитрофной страны, был Леонид Зуров. «Возникнуть» в Париже Зуров бы не мог и продолжал во Франции свою типично «псковскую линию».

Несмотря на это несколько привилегированное положение, литераторы лимитрофных стран остро чувствовали свою оторванность от «столичного» культурного центра и очень искали сближенья с западноевропейскими (русскими) собратьями. С сотрудниками литературных журналов, издающихся в Финляндии и Эстонии, у меня установились прочные связи и остались на память два номера — один от 35-го года, другой от 36-го — «Журнала Содружества», издаваемого в Выборге, под ред. Ф. В. Уперова, при участии Меты Росс, Веры Булич, С. Риттенберга, Льва Иогансона и др., и 8-й номер прекрасно изданного в Эстонии журнала

«Новь», под редакцией Павла Иртеля-Бренндорфа, тоже за 1935 год.

Кроме местных поэтов и писателей, в обоих журналах найдем имена Льва Гомолицкого (Варшава), Екатерины Таубер (Белград), Виктора Мамченко, Сергея Шаршуна и других парижан (и З. Ш.), а в «Нови» даже Бунина и Владимира Сирина.

С Латвией была у меня кратковременная связь. Я напечатала в рижской газете «Сегодня» три очерка о Бельгийском Конго, вернее, о его фауне. Не помню, чем я прогневила редактора Мильруда, но, вероятно, чем-то досадила, судя по письму милейшего Петра Пильского, почему-то у меня сохранившемуся.

* * *

Глубокоуважаемая

Зинаида Алексеевна!

Позвольте мне поблагодарить Вас за Вашу книжку стихов. Она мне очень понравилась. Написать о них доставило бы мне большое удовольствие. Но тут я встретил некоторое противодействие со стороны редакции — случай весьма и весьма редкий и у нас, и в моей практике. У Вас произошло некоторое недоразумение с газетой. Правда, это случилось давно. Таким образом, Вы не будете меня винить в невнимании к Вашим стихам, и цель этого письма снять с себя в этом отношении всякую ответственность перед Вами. Если Вы пожалеете об этом, то,— знайте,— я жалею еще больше.

Искренне Ваш

П. Пильский

Рига, 18 февраля 1936 г.

В Варшаве выходил «Меч». Там властителем умов был Д. Философов, а верным его учеником — поэт Лев Гомолицкий. Пропали у меня номера «Меча» и письма Гомолицкого, осталась все же его поэма «Варшава» 1934 года. Ничто так не показывает трагедию русской зарубежной лиры, как тиражи таких тоненьких сборников. Мой экземпляр «Варшавы» носит № 70, а тираж был всего в 100 экз. «Меч» в Париже, может быть из-за расхожденья Мережковских с Философовым, был принят в штыки (вышло нечто вроде каламбура). В письме одного из парижан ко мне, от 1935 года, читаю такое: «„Меч“ теперь не существует для парижан. Мережковские и все парижские сотрудники отказались ра-

ботать с варшавянами из-за грубого тона и явной ненависти ко всякой культуре...»

В 1932 году самая большая бельгийская газета послала меня в мой первый большой репортаж в страны-лимитрофы СССР. «Le Soir» интересовался не русскими меньшинствами, а настроением поляков, латышей, литовцев и эстонцев перед надвигающейся угрозой войны. Поездка моя должна была занять всего месяц — и встречи с русскими в этих странах поэтому были кратки и неполны.

В Варшаве русских я не видала, даже Гомолицкого, несмотря на нашу переписку. Отчасти такое мое упущенье было вызвано легендарным, и себя и легенду оправдывающим, гостеприимством поляков. Смутно помню, что в живописной таверне «Старого мяста», где легко было себе представить и пана Заглобу, и пана Володыевского из Сенкевича, я легкомысленно пила мед. Голова осталась ясной, но ноги както обессилели, когда меня привезли в Краковское Предместье к друзьям, у которых я остановилась.

В Риге опять-таки видала я больше латышей — молодого музыканта, потом художника, который провозгласил себя «друидом» и повез меня к какому-то священному дереву. Войны «друид» не боялся и к Гитлеру был скорее расположен. Зато в Эстонии бельгийский консул Никез, взявший меня под свое покровительство, сказал, что в сущности делать анкету среди эстонцев мне не надо, он за два дня посвятит меня в политическую и психологическую ситуацию, угощал меня самыми русскими блюдами на свете — с водкой, конечно,— и даже пригласил в дансинг с кружащимся полом — и в Париже такого не было.

Итак, за два дня собрав кое-какие сведения — катастрофы ни в каких лимитрофах, по-видимому, не ожидали,— я смогла наконец встретить кое-кого из русских собратьев, но не многих.

В Эстонии русская общественность была, как и в Латвии, очень активна. Жили там, несмотря на географическую отдаленность, и два поэта, Юрий Иваск и Игорь Чиннов, которые, попав на Дальний Запад США, стали известны как защитники и адепты «французской ноты». Но переписку я вела с Павлом Михайловичем Иртель-Бренндорфом и встретилась с ним в ту пору. Увидала поэта Бориса Семенова. Вот в «Нови» № 8 нахожу его рассказ «Обороть»:

Ой, моя родина,
звень-серебрень...
золоторогий упал олень.

В черные своры сбились псы, рог завитой теребят
овсы.
Бороду выбрал туман из озер.
Фыркнул конь.
Догорел костер.

Никто из молодых поэтов, живущих на Западе, не смог бы написать таким языком.

Три дня провела в Печорах — в России — не скрою, почувствовала себя там больше на родине, чем в Москве в 1956 году.

На обратном пути заехала в Прагу и там, конечно, посетила «Скит Поэтов», которым руководил проф. Бем. Собрание состоялось в ателье Головина. Тут, показалось мне, была совсем другая атмосфера, чем в Париже. Познакомилась со скитовцами — Вяч. Лебедевым, Эмилией Чегринцевой, Татьяной Ратгауз, Кириллом Набоковым, вскоре переехавшим в Брюссель, с Гессеном... Народу в просторном ателье было много, встретили меня радушно — но не без некоторого злорадства. Я, кажется, была первым парижским поэтом, попавшим в «Скит». Оттуда и вышла, совсем не роковая, но все же ошибка скитовцев. Увидя во мне олицетворение «парижской ноты» и в их представлении декадентства, с веселым жаром нападали они, по приглашению Бема, на меня. Сами пражане были скорее «гумилевцами», чем «блоковцами». Попреки и укоры их были не без едкости, но били мимо цели. Слушая их как нечто меня не касающееся и несколько скучая, я машинально ела и ела поставленные передо мною бисквиты для предстоящего чая. И когда, улыбаясь, Бем предложил мне слово, всё, что я смогла сказать, указывая на пустое блюдо перед собой: «Да вот, придется мне извиниться, я, как видите, в рассеянности съела все печенья». Стихов же пражан я так и не услыхала — было уже поздно — и своих не читала, по той же причине.

Отдаю должное пражанам — время показало, что стихи они писать умели и по «профессионализму» не уступали парижанам. Если собрать антологию русских эмигрантских поэтов за двадцать предвоенных лет, то в каждой из малых наших общин — найдутся подлинные.

МИМОЛЕТНЫЕ ВСТРЕЧИ

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Рим, сентябрь 1946. Я в Риме транзитом, жду самолета для полета в Грецию, где не закончилась еще гражданская война. Чувствую себя в отпуску после угнетающего Нюрнбергского процесса и гораздо менее угнетающего репортажа в Венеции Джулия, где ссорятся итальянцы и югославы. Рим голодный и холодный, заранее подготовляющий меня к итальянским неореалистическим фильмам: «Рим открытый город», «Велосипедный вор» * и т. д.

И все же тут легче, чем в городах Германии. Для союзников Италия не совсем побежденная, скорее освобожденная страна. Для итальянцев союзники нечто вроде туристов, а не оккупантов. И в трагическое время итальянская улица наполнена персонажами из Комедиа дель арте. Живая, не мертвая нищета.

В Риме живет патриарх русских поэтов, Вячеслав Иванов. Вечером, бродя по черным улицам все еще затемненного, но уже не из-за войны, а из-за бедности, города, я тщетно ищу прохожих, могущих указать мне улицу,— и готова уже отказаться от моей попытки, как из переулка показываются два маленьких мальчика. У каждого из них в руках кастрюля, наполненная тлеющими углями, отопление в Риме не действует, горючего нет. Я старательно выговариваю адрес, и старший, взяв меня за руку, ведет, как слепую, до двери, мне нужной, сам и звонит. Мальчики уходят, ослепленные наградой, которую они с достоинством сперва отклоняют. Я у Ивановых.

В год моего рождения Вячеслав Иванов был Магом русской словесности, эпигоном декадентства, символистом, эзотеристом — всем, что мне было (и осталось) чуждо. Я шла на поклон к человеку замечательному, который, по словам его современника, «дошел до мистического универсализма, где русский фольклор соединен с миром Гете, оккультная музыка Скрябина — с платоническим эллинизмом» (цитирую по памяти). Шла не без трепета — с малыми моими познаньями предстать перед человеком с такого масштаба познаниями было как-то неуютно. Знала я также, что от мира своей «Башни» Вячеслав Иванов в Италии от-

* В советском прокате — «Похитители велосипедов».

рекся. Перейдя в католичество со всей своей семьей, он преподавал в университетском колледже в Павии и в понтификальном Восточном Институте в Риме. В государственных университетах Италии в те времена требовалась принадлежность к фашистской партии, а стать ее членом Вячеслав Иванов отказывался. Не могу точно вспомнить, что он говорил тогда о судьбах своей любимой Италии, может, напоминал, что на Итальянской Земле всегда были люди, вдохновленные громким ее прошлым и пытающиеся — втуне — возродить ее величие.

Говорят, Вячеслав Иванов был высок. Я увидела перед собою маленького худого старика с высоким лбом — еще увеличенным лысиной — с прекрасно-мудрым лицом. Легкие, длинные, белые как лунь, вьющиеся на концах волосы слегка спадали на шею. Не петербургский эстет Серебряного века, а восьмидесятилетний старец, готовящийся покинуть мир живых.

Все треволнения военных лет Вячеслав Иванов прошел окруженный самой преданной, самой верной любовью своей семьи — сына (моего друга) журналиста Жана Невеселя, дочери Лидии, музыкантши, и Ольги Шор — своего альтер эго. Культурное превосходство всех членов этого дома было для меня настолько очевидно, что, как в юности перед писателями старшего поколения, я и рот побоялась открыть. Зато услышала Вячеслава Иванова. Он читал отрывок из своего последнего творенья, Святомир Царевич.

Написанное в ритме средневековой русской эпопеи, тема была вдохновлена легендой — для Иванова, по-видимому, пророчеством — о тысячелетнем блаженном царстве Божием на земле.

ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА ТОЛСТАЯ

Тот же год, тот же город — Рим. В доме на Порта Пинчиана прислуга вводит меня в маленькую комнату. Стены ее покрыты фотографиями русских писателей. Здесь живет Татьяна Львовна Сухотина-Толстая. Ей, как и Вячеславу Иванову, 80 лет. Маленького роста, с живым, энергичным лицом под белыми волосами, она входит в комнату уверенным и быстрым шагом, тем самым, которым — я знаю от Бунина — входил Толстой навстречу молодому писателю, «быстрый, легкий, страшный». Страшного в Т. Л. ничего нет. Я вглядываюсь. «Бугры надбровных дуг Толстого, его ма-

ленькие пронзительные глаза»? Да, Татьяна Львовна похожа на своего отца. В маленькой хрупкой женщине чувствуется темперамент, физическая сила, жизненная энергия. Особенно когда она говорит. Ее голубые глаза — у писателя они были серые — меня зорко осматривают.

«Вы знаете, почему я такая крепкая в мои годы? Это потому, что я вегетарианка. Люди не должны есть трупы».

В точных выражениях она воскрешает для меня Толстого, молодого автора «Севастопольских рассказов», которые его собратья-писатели сразу же приняли дружески, особенно Тургенев, который хотел было Толстому покровительствовать, но очень скоро был растерян перед молодым человеком с ярко выраженными убеждениями: «Шекспир — это пустота», «Жорж Санд ничего не стоит» — вот что говорил мой отец.

Я осторожно касаюсь семейной драмы Толстых.

«Нет виновных,— с силой говорит Татьяна Львовна,— есть только несчастные». И повторяет: «Да, все были несчастны, никто не был виновным». Затем выявляется Толстой в кругу своей семьи:

«Как он умел веселиться! Он сочинял песенки, чтобы нас насмешить».

Вокруг нас на полках стоят книги Толстого и о Толстом на всех языках мира, по-японски, по-литовски... Из ящиков Татьяна Львовна для меня вытаскивает фотографии своего отца: ребенком, юношей, затем в окружении своей семьи, со своими учениками... Наконец, Толстого в старости, все с тем же пронзительным взглядом и некоей «звериностью», которую он всю жизнь старался укротить.

Затем настает черед семейных портретов:

«Толстые принадлежат к очень древнему дворянству, только титул графа не давний». Голос ее становится ироническим: «Вот, смотрите, первый граф Толстой. Гордиться нечем! Титул был дан Петром Великим за удушенье царевича Алексея».

Лица поколений Толстых проходят, и вот наконец маленькая Соня, правнучка писателя, жена Сергея Есенина.

Тут Татьяна Львовна замолкает, как будто ведет перекличку мертвых.

«Из всех детей Толстого в живых осталось двое, моя сестра Александра в Америке и я, французская гражданка. Мой внук — итальянец, мой племянник — француз, Соня — советская гражданка... Весь мой Толстовский архив я завещаю Национальной библиотеке в Париже».

Она встает, подходит к корзинке, где лежит рукоделье.

«Смотрите, это я делаю для праздника в пользу православной церкви в Риме». Она держит в руках куклы. Они одеты точно так же, как одевались по праздникам крестьянки Тульской губернии, я это помню — и перед окном, открывающимся на Порта Пинчиана, мы говорим о людях и пейзажах, среди которых Татьяна Львовна жила, где я начинала жить.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая умерла в Риме, 22 сентября 1950 года. Эта статья, написанная по-французски, была напечатана 28. 9. 1950 г. в парижской литературной газете «Ле Нувель Литтерер».

ЮРИЙ АННЕНКОВ

Я встречалась с ним, вернее, сталкивалась, еще на Монпарнасе. Тогда он носил монокль, был «независим», т. е. ни к каким группам не принадлежал, от советского подданства не отказывался, бывал и в сов. посольстве, как persona grata, эмигрантом себя не считая. Затем в 1949 году опять-таки сталкивалась я с ним около гостиницы «Гранд Отель Таранн», на бульваре Сен-Жермен, где жил наш с мужем друг, Борис Вульферт, сын художника Похитонова и дядя Игоря Маркевича. Прелестный и трудный человек, скрытно тяжело переживавший свое внебрачное рожденье, человек большой культуры и художественного чутья, по облику настоящий барин, по складу — типичный русский европеец-дилетант. Вульферт, отдававший дань талантам Анненкова, жившего в той же гостинице с молодой русской актрисой Беляевой (Натали Натье), особенной дружбы с ним не водил. Я знала рисунки Анненкова, его портреты, читала его оригинальную и даже блестящую прозу, но чем-то он мне не нравился, да и он мною не интересовался, так: здравствуйте — прощайте. В ту пору он был весь в кинематографе, в декорах и костюмах.

Позднее, уже в редакции «Русской мысли», стали наши встречи еженедельными, Анненков был художественным критиком газеты. В эти годы он уже не рисовал, разве что иллюстрации к рассказам, по просьбе авторов, да еще рисунки для обложек книг этих авторов, но они уже не отличались четкостью и модернизмом первых его работ. Портретов не набрасывал, а те, которые сделал по фотографиям, мы даже и воспроизвести не захотели в «Р. М.», так было это непохо-

же на Анненкова. Этот блестящий во многих отраслях человек в старости наименее сохранил талант именно художественный. Разбрасывая себя, он не дошел в Париже до кульминационного пункта своей известности как художник, а были у него на это несомненные данные.

Дружбы между нами не возникло и тогда, когда мы виделись часто, хотя никогда и не размолвились и как будто не скучали друг с другом.

Юрий Павлович мне казался человеком, в сущности не понимающим даже разницы между тем, что этично и не этично, и отказывающимся делать выбор. Не циником — а просто даже не понимающим подобных проблем.

Как до, так и после революции, в первые страшные ее дни, в судьбы России он не вглядывался, прекрасно жил на чужбине с советским паспортом и общался с советским посольством, когда Париж был уже наводнен первыми эмигрантами. Он живо описал беспорядочные хаотичные дни занятия Парижа, за Гитлера, конечно, не был, но и против не выступал, только наблюдал, как бы извне. Любил рассказывать, что происходит от декабриста Анненкова и его французской жены Полины,— не знаю, так ли это,— с удовольствием напоминал, что родился на Камчатке, куда сослали его отца. От него же я узнала, что отец, бывший царский каторжник, затем разбогател, стал судовладельцем, имел дачу в Финляндии. Будто бы возмутившись, что у него (отца Ю. А.), бывшего ссыльного, Октябрьская революция отобрала все его капиталы в банке, он пошел жаловаться самому Ленину. Тут я от шутки не удержалась — заметила, что хорошо, что не только у нас отбирали, а и у бывших революционеров, ставших капиталистами,— Ю. А. засмеялся.

Раз я прямо спросила у него: «Юрий Павлович, Ваши воспоминания чрезвычайно живы и интересны, но я слыхала, что и Ленина и Троцкого Вы писали по фотографиям, а сами их не видели — вопреки тому, что написано Вами». Он улыбнулся: «Ну, знаете, я творчески претворяю действительность» — так что можно было понять, что и выдумка пригодна при случае.

Анненков был как будто дружен с Замятиным, и в некоторых аспектах они были чем-то похожи, но под личиной сдержанного безразличия, отчасти даже цинизма, Замятин был человеком строгих принципов и сердечной отзывчивости. Я слыхала от Юрия Павловича правильные оценки талантам чужим, но никогда не слышала от него слова заботы или сочувствия даже к тем людям, которых он ценил. При под-

готовке моего сборника стихов «Перед сном» я прочла ему несколько пьес, и он попросил посвятить ему такую:

Под серо-лиловым рассветом
Дрожала в росе сирень,
Все это случилось летом,
Но на лето упала тень.

И люди сожгли поместье
И все, чем страна жила,
Во имя немудрой мести
Сломали оба крыла,

На которых страна летела
В будущее, в простор,
Как громадное темное тело,
Неподвижное до тех пор...

Удивил его выбор, ибо в какой-то мере стихи — укор тем, кто революцию готовил.

В благодарность за посвящение Анненков захотел нарисовать мне экслибрис, долго держал у себя мой альбом — и вернул его без рисунка, но с доброй надписью. Как я сказала, самое первое его ремесло первым и выскользнуло из числа отпущенных ему многих даров.

МОДЕСТ Л. ГОФМАН

«Поклонник Пушкина, хоть человек не глупый»,— любил при случае говорить Георгий Адамович, подразумевая, конечно, что нет в природе русского, который бы Пушкина не ценил, независимо от его умственного развития и литературного вкуса. Пушкин — это единственное абсолютное в мире, о чем среди русских разногласия нет. Даже Набоков не замыслил сбросить его с пьедестала. Но в своей жизни я встретила только двух человек, которые посвятили Пушкину всю свою жизнь. Первым был встреченный мною в Париже, в 1922 году или в 1923-м, престарелый Александр Онегин, создавший в Париже еще до революции свой частный Пушкинский музей и по Высочайшему разрешению переменивший свою собственную фамилию, не помню какую, на Онегина. Ходил он в крылатке, все же без боливара, но с тростью в руке. Мимолетное это виденье — он выходил из русского ресторанчика на бульваре Курсель, а мы с братом туда входили — показалось мне, шестнадцатилетней, жутким.

В эти же годы в Париж был послан Петроградской Академией, чтобы принять завещанный ей покойным Онегиным архив Пушкинского музея, профессор Модест Людвигович Гофман.

Гофман исполнил данное ему поручение, архив и экспонаты послал в Петроград — но сам туда не вернулся, остался эмигрантом в Париже.

Модест Людвигович был исследователем пламенным и преданным до конца. Он прямо жил Пушкиным и долгие годы сотрудничал с Сергеем Лифарем, который не щадил ни денег, ни энергии для создания зарубежной Пушкинианы, и Пушкинский юбилейный год, 1937-й, был отмечен вне России не только более или менее удачными «Днями русской культуры», но и прекрасно изданными книгами (все тем же Лифарем), как, например, факсимиле писем Пушкина к Н. Н. Гончаровой. Гофман в том же году написал статью для вышедшей на французском языке пушкинской антологии. Я приходила к нему на дом, вела с ним переписку; он, как и многие русские, случалось, покупал на Блошином рынке картины самых прославленных мастеров: Леонардо да Винчи, Веласкеса — и всегда твердо верил в их подлинность, сердясь на обескураживающее мнение экспертов. Но это обладание шедеврами, даже без меркантильной целеустремленности, было его «хобби», жизнь же его была — Пушкин. Он все о нем знал, мог говорить о нем часами и даже, от великой любви, осмелился (после того, что издал, по его мнению — неоспоримый, без особых к тому доказательств, донжуанский список Пушкина) окончить за него «Египетские ночи». Увы, преданность и любовь — не всегда хорошие советники или вдохновители. В «Возрождении» Владислав Ходасевич, к славе Пушкина относившийся ревниво, разразился двумя гневными «подвалами», назвав их «Сказки Гофмана».

За войну я потеряла из виду Модеста Людвиговича, и только в 1959 году, когда мне сообщили о его болезни и одиночестве, я навестила его в его квартирке в 15-м аррондисмане. Он мучительно страдал суставными ревматизмами, был беспомощен — за ним присматривала русская дама из второй эмиграции,— признавался, что мечтает о самоубийстве. В 1959 году он скончался, под портретом Пушкина.

Впервые встретилась я с ним у Ремизова и, как уже упомянула, смущенья перед ним не почувствовала. Это был какой-то «приятный» человек, держащий себя просто, безо всякой писательской ужимки. Затем встречалась с ним и в редакции «Родной земли», читала его «огородные статьи» в «Последних новостях», он там как-то лирически описывал свое сидение на земле, по которому у русского человека всегда ностальгия. И роман «Сивцев Вражек»,— на этой улице я родилась,— и «Свидетель истории», все это в стиле лирического импрессионизма, а итальянские его очерки, вышедшие в книге под названьем «Там, где был счастлив»,— сродни воспоминаниям об этой стране Б. К. Зайцева.

Книги и статьи Осоргина русской эмиграцией читались с удовольствием — они не беспокоили ее трагической современностью, но утешали напоминанием о более светлом прошлом. И говорил Осоргин не громко, не авторитетно, с какой-то приятной теплотой. Кажется, у Ремизова услышала я его рассказ о какой-то студенческой революционной коммуне его молодости, не помню где, в деревенской глуши. Готовились сии студенты обоего пола к террористической деятельности и очень много говорили и спорили по политическим и социальным вопросам. Коммуне помогала своим житейским опытом и хозяйственными навыками приходящая прислуга-крестьянка, что уже довольно примечательно.

Однажды перед будущими террористами встала необходимость зарезать петуха для обеда. Любителей на это как-то не нашлось, пришлось метать жребий. Вытянувший его взял без энтузиазма кухонный нож и пошел ловить свою жертву. Зажмурив глаза, он нанес петуху удар — но окровавленная птица вырвалась и начала бегать по саду. С отвращением и ужасом насильники бросились ловить петуха, бледные, девушки уже в слезах. Палач уронил свой нож! И неизвестно, как бы все это окончилось, если бы не пришла в это время прислуга. С презрением посмотрев на растерявшихся террористов, баба в одну минуту поймала петуха и, свернув ему шею, прикончила его страданья.

11. Square de Port-Royal
PARIS — 13e

Париж 19. 10. 35

Многоуважаемая Зинаида Алексеевна.

Я прочитал Ваш рассказ, посланный Вами «Совр. зап.»,— Ваши «прозаическия возможности» вне сомнения, но я думаю, что несколько портят дело Ваши возможности «поэтическия», от которых Вы не отрешились. Излишек так наз. изысков, не полная простота. Но главное в ином. К сожалению, нет передо мной рассказа, а читал я его неделю назад и, по необходимости, «в спешном порядке», так что не могу припомнить те совсем неправильныя (не русския) выражения, которыя я заметил и которыя очень портят впечатление. И еще некоторая техническая небрежность (даже в знаках препинания) и отсутствие последней шлифовки. Все это мне показалось легко исправимым. Вы мне извините, Зинаида Алексеевна, мои замечания, но ведь такия мелочи иногда решают дело. Очень сожалею, что вынужден говорить «вообще», не приводя примеров. И еще я обратил внимание на некоторую напряженность вымысла (ею из больших страдал Достоевский, из малых страдает Сирин).

Я читал Ваши французския заметки, написанныя с удивительной четкостью и примерным изяществом. Значит, проза Вам свойственна во всей мере, только Вы, я думаю, еще не нашли свой жанр в рассказе. Все это придет, если не торопиться и не бояться разочарований.

Вот Вам мое мнение, высказанное со всей откровенностью, на которую меня обязывает Ваше ко мне обращение. Вообще же я думаю, что переход от стихотворства к серьезной работе (простите, я считаю стихи устарелой и ненужной формой искусства, а главное — губительной для таланта, да и вообще нелепой),— такой переход очень труден! «Поэта» часто выручают бирюльки — прозаика они губят. Вопрос, конечно, сложный, говорить об этом можно долго. Пушкин преодолел, Блок несколько запутался, а большинство «поэтов» долго должны переучиваться, чтобы написать хорошо письмо или даже простую газетную заметку.

Примите мой привет, Зинаида Алексеевна, и как-нибудь примиритесь с ересями упрямого старого прозаика.

Мих. Осоргин

6 июня 36

Дорогой поэт (не поэтесса)!

Благодарю за письмо и надеюсь, что вы разрешите мне, при случае, им воспользоваться (со ссылкой на вас), если придется вернуться к теме.

Конечно, я получил книжку ваших стихов; разве я не поблагодарил вас за нее? Это на меня не похоже! Тогда простите и примите запоздалую благодарность! Жду вашей прозы. Ваши литер. заметки отличны.

С 1 мая по 1 окт. я всегда живу в деревне, адрес прилагаю. А в остальныя месяцы адрес обычный парижский.

Примите мой привет!

Мих. Осоргин

У ШАГАЛА

Ванс и Сен-Поль де Ванс, когда-то скромная местность Прованса, жители которой и не думали о живописи, стала теперь художественным заповедником.

Ниццкий шофер, везущий меня на дачу Шагалов в Сен-Поль де Ванс, знает имена всех художников, здесь поселившихся; журналистов газет, радио, телевидения, которых он возил на репортажи. У подножья холма, где находится «фонд Маегта» и где происходит выставка Мальро,— множество машин, иностранных и французских. Мы едем дальше, между редкими уже дачами.

«Холм», так называется усадьба Шагала, в глубине парка. Никого не видно, только из-за двери густой лай собаки, видимо — внушительной, и навстречу мне выходит моя старая знакомая, жена художника, Валентина — Вава Шагал, пережившая, как и мы, налеты на Лондон.

Вава женщина умная, красивая и образованная, совсем не похожая на обычных жен знаменитых людей: друг и помощница мужа, она взяла за правило оставаться в тени.

Вава первая рассказывает мне, как трогательно встречали Шагала во время недавнего посещения СССР, где, наконец, была устроена выставка его картин, приобретенных меценатами до революции и хранящихся теперь в государственных музеях.

К чаю выходит Марк Шагал. Он мало изменился с нашей последней встречи, когда мы с мужем были у них еще на старой даче в Ванве в 1958 году. Голубые глаза все так же лег-

ко улыбаются. Приходит Паша, овчарка, оказавшаяся весьма гостеприимной.

Я говорю о первой картине Шагала, которую я увидала в самом начале тридцатых годов в кабинете Жюля Сюпервьеля; такую легкую, в воздухе висящую, корову лилового цвета. «Да, Сюпервьель очень любил мою живопись». Вспоминаем и о Блезе Сандраре, о других его друзьях, которых я знала и не знала.

— А что почувствовали Вы, вернувшись в Россию?

— Волнение, конечно.

— Как прошла Ваша выставка, что говорили посетители?

Шагал смеется:

— Было послано 350 личных приглашений, а на выставку пришло около трех тысяч. Люди приезжали из разных городов. Услышать, что они говорили, было невозможно. Нас чуть не смело, несмотря на наряд милиции. Я думаю, что речи мин. культуры Фурцевой и моего ответа — тоже никто не слышал. Но что меня особенно тронуло — это то, что многие посетители пришли с букетами цветов, не купленных, а сорванных в своих садах: сирень и другие, самые чудесные русские цветы. Потом я побывал в Переделкине и там опять восхитился природой, ведь нигде на свете нет таких запахов, как в России. Я очень люблю Левитана, ведь он, как никто, отобразил русскую природу.

На улицах, когда нас узнавали, тоже подходили незнакомые и тоже протягивали букеты цветов. И подарками нас забросали. Нам дали целый апартамент в гостинице «Россия», и секретаршу, и автомобиль с шофером.

— Автомобиль был «Чайка», но поэтический Шагал всегда называл его «Фиалкой»,— вставила его жена.

— В гостиницу тоже приходило много народу, но не все смогли попасть ко мне. Из Витебска приехал совсем молодой поэт, 20 лет, он добился все же свидания со мной и дал мне свою тетрадку с рукописными стихами. Люди сведущие говорят, что хорошие.

Были, конечно, и официальные приемы. Банкет в Кремле на 30 человек с представителями всех видов искусства. Не помню, кто был от писателей, от балета — Майя Плисецкая, от музыкантов — Хачатурян.

— Ведь мы были всего дней семь в СССР. Из них два в Ленинграде,— пояснила Валентина Шагал.— Такой калейдоскоп лиц, что всех не запомнишь.

— А в Ленинграде живут еще две мои сестры (из шести), пережившие осаду Ленинграда.

— В Витебске не были?

— Нет, утомительно все-таки! В Москве побывали в Кремлевских соборах. Многие церкви теперь реставрируются. Строят новые здания для Третьяковской галереи...

— После выставки будут Ваши картины выставлены перманентно в каком-нибудь музее?

— Не знаю. В Москве осталась моя театральная роспись, только она не была подписана. Вот ее принесли в Третьяковскую, развернули, я подписал, ее опять свернули.

Выходили мы мало, но побывали в театре, на балете («Спартак»), на концерте. Нигде в мире не видели мы такой любви к чтению, к искусствам, как в России. Несмотря на то, что у всех там телевизоры, все ходят с книжками, читают в скверах, в садах, в метро. Как они слушают музыку, это просто надо увидеть и почувствовать... Всей душой, как будто бы они на священнодействии. И в театре то же самое. Такая тяга, такое уважение к культуре, прямо удивительно и трогательно.

— Как только я приехала в Ниццу, я сразу же пошла в Ваш музей. Никто лучше самого художника, писателя или поэта не может объяснить свое творчество, а Вы написали, отказываясь комментировать свой библейский ансамбль: «Не мне его комментировать. Произведения искусства говорят сами за себя». Это правда, но все же Вы знаете, для чего, почему Вы выбрали эту тему — вернее, почему эта тема вам так близка?

— Я неверующий,— говорит Марк Шагал,— но Библия мне кажется самым большим источником поэзии всех времен.

Я прибавляю: и источником нашей цивилизации; живопись, краски — вдохновлены любовью. Если всякая жизнь идет непреодолимо к своему концу, не должны ли мы, пока живем, раскрашивать ее красками любви и надежды? В этой любви скрыта социальная логика жизни и корень всякой религии.

То же самое написал Шагал и для открытия выставки: «В искусстве и в жизни все возможно, если основано на любви».

Я говорю, что когда я вошла в концертный зал, в синее его сияние, то почувствовала какое-то успокоение.

Это обрадовало Шагала:

— Правда? Это очень важно! За исключением больших картин — гуаши и офорты будут потом убраны, там будут происходить другие выставки. Это не только музей Шагала, но я хотел бы, чтобы он стал духовным очагом для всех, кто

захочет. Вот сейчас приготавливается выставка при участии французских музеев на тему «Вокруг царя Давида». Будут, вероятно, и концерты.

— Чудесная тема,— говорю я,— но все-таки если Вы в Вашем искусстве и в Вашем отношении к миру движимы любовью, то ведь это — религиозное чувство, и Ваше желание создать духовный центр в музее Шагала тоже акт веры.

Но Шагал повторяет:

— Я неверующий, но если мое искусство вдохновляет верующих — это прекрасно.

Он встает для предвечерней прогулки: «А то спать не буду»,— и уходит один в парк.

Напечатано в «Р. М.» № 2969, в октябре 1973 г. по случаю возвращения Шагала из СССР.

ИЗ МОЕГО АЛЬБОМА

Слегка похожий на альбомы «онегинских» девушек XIX века, одетый в кожу с золотыми тиснениями, украшенный романтическими букетиками по углам, он был мне подарен, когда я стала невестой. На первой странице я старательно, совсем не своим обычным почерком, вывела «г. Париж, 21 мая 1926 г.» Альбом был поручен А. М. Ремизову. Он вернул мне его обратно, как подарок на свадьбе, поэтому и открывается он замысловатой ремизовской свадебной грамотой.

«Дана сия обезьянья свадебная грамота княжне Зинаиде Алексеевне Шаховской и Святославу Святославовичу Малевскому-Малевичу в знак возведения в кавалеры обезьяньего Знака 1 ст. Зинаиду Алексеевну Малевскую-Малевич 1 ст. Петушиным Гребешком Святослава Святославовича Малевского-Малевич с Персидской фисташкой и голубиным перышком обезьяньей великой и вольной палаты».

Налево государственная печать и дата 21. 11. 1926. Внизу подписи:

«Царь Обезьяний Асыка собственнохвостно. Полпред Евразии кав. обез. зн. П. П. Сувчинский, полпред Турции М. М. Тер-Погосян. Осв. обезвелволпала С. Шаршун».

(Все три последние подписи одним и тем же почерком, вероятно, самим Алексеем Михайловичем, но разборчиво.) Внизу:

«Скрепил и деньги яблоками получил б. канцелярист Обезволпала Алексей Ремизов».

В правом углу наверху гербовая марка (обезьянья).

Уезжая в 1927 году в Конго, альбом я поручила снова Алексею Михайловичу, потом он долго странствовал, отдельно от меня, но всегда счастливо возвращался ко мне обратно, украшенный иногда незнакомыми мне подписями и стихами на неизвестных языках. Кто был, например, Алжирдас Мочински? Когда альбом находился в моих руках, то вписывали в него и собратья, молодые тогда поэты, на столиках монпарнасских кафе.

Писали и французские, и бельгийские поэты, Поль Фиренс, Пьер Нотомб, Мело дю Ди, Роберт Вивье, Жюль Сюпервьель, китайский поэт Ли, японский музыкант Миошоки, болгарский поэт (и дипломат) Георгиев, испанские художники Лаухерта и Педро де Валенсиа, бельгийские художницы Ивон Перрен и Жанна Ле Пла, и известный рисовальщик Жеа Аугсбург. Он изобразил одно поразившее меня зрелище: проезжая в 1938 году мимо площади Пирамид, я увидела с изумлением, что Орлеанская Дева держала в своих руках... великобританский флаг [1]. Вечером этого же дня, обедая на Монпарнасе с Жеа Аугсбургом, Полем Эмиль Виктор, полярным исследователем, и Шарлем Плинье, первым иностранным лауреатом (бельгийцем) Академии Гонкур, я рассказала об этом, и Жеа нарисовал Жанну д'Арк с флагом и надписью: «Жанна была святая — она держала английский флаг».

Написала мне также в альбом графиня Панж де Брой либеральные строки своей прабабки, мадам де Сталь.

Но тут ограничиваюсь русскими записями, сожалея, что технически трудно воспроизвести и рисунки, их украшающие или поясняющие. Так, например, Владимир Набоков нарисовал забор, над которым какая-то завитушка, и пояснил — пояснение надо читать, перевернув альбом снизу вверх — «Извощик едет за забором». А набросок элегантного кота во фраке, с надписью «Я не хочу писать стихов», подписан: Андрей Солнцев Засекин. На самом деле автор его — Илья Голенищев-Кутузов, вернувшийся в СССР и там умерший. Не менее шутлив, но более трагичен, из-за смерти автора в гитлеровском лагере, и рисунок мышки: «Мышку нарисовал Юрий Мандельштам» 1932 г. А через страницу, от июля того же года, неровным, неряшливым сбитым почерком: «Я надеюсь, что Ал Броун побьет Кида Франсиса, а так-

[1] Англ. король Георг VI и королева Елизавета посетили Париж.

же, что хоть что-нибудь выяснится насчет «Прометея» — области жизни интересные и настоящие».

После «что» первой строчки наискосок и поперек странички вставлено:

«потому что он принадлежит к отходящему спортивному поколению, как и я».

И еще, в скобках, после «Прометея»:

«что действительно страшно важно».

Загадка погибшей подлодки «Прометей» открыта не была, а подписавшийся «Преданный Вам Борис Поплавский» год спустя трагически погиб.

Что Вы замуж вышли за
Малевского — это дело
хорошее.

И. Сувчинский

Париж, 16/II 27

Краткая история русской интеллигенции

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ.

Некрасов

А мы просо сеяли, сеяли...
А мы просо вытопчем, вытопчем.

Народная песня

Собрал К. Мочульский

Париж 10. 11. 26

Что замуж вышли — не такая уж беда; через это надо пройти. Второй этап жизни начали. Третий — опыт возврата к первому юношескому. А четвертый — ряд ухищрений, чтобы ускользнуть от итогов. Так вот человек и бьется, никак не успокоится.

Главное в жизни — чаще улыбаться, даже когда не очень хочется. И чтобы было тепло. Очень желаю Вам тепла в жизни.

26. 12. 26
Париж

Мих. Осоргин

Отрывки из стих. «СЕРЫЕ ПТИЦЫ»

Мы серые птицы, мы птицы
печали
Мы песни страданья одни
можем петь,
Мы здесь на чужбине...
с гнезда нас согнали.
Нам некуда дальше лететь...

Мы серые птицы... Мы птицы
печали,
Но сильными будем
душой до конца.
К родной стороне, из
ненужной нам дали
Стремятся все наши сердца!

Кн. Федор Касаткин-Ростовский

---

6 сентября 1931.

Пусть дружба и любовь наша, Зика
милая, сделают еще более верным
наш боевой клич:
«Не так страшен черт, как его Малевич».

Любящий Тебя горячо брат
Петя
(Петр Ник. Малевский-Малевич)

О музыки крепчающий прибой!
Я не противлюсь, нет. Плыву, тебе покорна,
Захлебываюсь этой синевой
И пролетаю над пучиной черной.

Тяжелый взлет, и падаем мы вновь.
Сквозь темный гул слышнее голос вешний,
На гребне волн смельчак несет любовь
И опускает на песок нездешний.

А флейта машет беленьким платком
Сквозь влажный сумрак — вечер расставаний —
И забывается тяжелым сном
Свинцовой паузой последних ожиданий.

Мы засыпаем вместе с флейтой. Тише.
Мы засыпаем с флейтой как с сестрой.
На нас идет победоносный строй
Луной, апрелем поседелых вишень,

Нас засыпает цветом, как землей.
Мы задыхаемся в душистой груде.
Вселенная звенит, звенит мольбой
О невозможном и прекрасном чуде.

Мы не сумеем, смертью смерть поправ,
Восстать из тьмы под возглас петушиный,
И нас оплакивают сонмы трав
И опускают в царство тихой тины.

Но даже здесь, на дне, не сбросить груза
Воспоминания — последний трепет рук.
Платочком белым плещется медуза
В зеленоватом сумраке разлук.

А. Берлин
Париж. 1929

Дорогой Зинаиде Алексеевне
в первый день знакомства

Не надо говорить усталому о том,
Что Бог вознаградит за слезы без ответа,
Не лучше ли уснуть, не лучше ли потом
Не видеть никому не нужного рассвета?

Я многое узнал, когда пришла зима
И снег покрыл людей, деревья и дома.

Борис Закович
Paris, le 7 juillet 1932

От сердца в кровь вошел огонь,
И он идет живой и жесткий
По жилам в бледную ладонь
На голубые перекрестки.

И вот до кончиков ногтей,
Под кольцами и у запястья,
Я чую звонче и густей
Струю пылающего счастья.

И как мгновенья хороши
Последние перед началом,
Когда блестят карандаши
Обточенным веселым жалом.

Поют беззвучно провода,
И я пою — глухонемая,
И лишь бумага, как слюда,
Трепещет, звуки принимая.

1946

Милой Зике, которую с радостью всегда всюду встречаю, начиная с 1923.

(Алла Головина)

ЛЮБОВЬ:

Ятаган? Огонь?
Поскромнее,— куда как громко!

Боль, знакомая, как глазам — ладонь,
Как губам —
Имя собственного ребенка.

Прага, декабрь 1924 г.

Марина Цветаева

Медон, 3 июля 1927 г.

Пепел в огне остынет,
Сон растает, жизнь исчезнет,
Птицей перелетной сгинет
В синей и холодной бездне.

Память о минувшей страсти,
Память о минувшей боли,
Память о минувшем счастьи
Ветер развевает в поле.

И в ночи глупец беспечный,
Попирая прах ногами,
Будет петь о счастьи вечном
Под пустыми небесами.

Влад. Смоленский

26/XII/31.
Париж

Это только кажется, будто мы
разговаривали о литературе —
на самом деле говорили о том,
что человеку нужно делать.

Марк Слоним

Брюссель, декабрь 1933

«Изучение прошлого есть лучший путь
к пониманию настоящего и пред-
видению будущего»,— трюизм слишком
часто забываемый.

А. Экк

(Проф. А. Экк — историк, специалист русского средневековья.)

Дорогой, очаровательной
и горячо любимой

Зинаиде Алексеевне
Шаховской

На память о нашем сотрудничестве
и — вообще — на память.

Юрий Анненков
1969.

Я начинаю верить в Вашу харак-
теристику русского Парижа и
русского Брюсселя — глядя на
Вас, уже несколько часов не без
некоторого изумления: я не знаю
что значит Зинаида, но Ваше
имя — Жизнь.
Я искренно рад, Зинаида
Алексеевна, что с Вами
так неожиданно познакомился.

Юрий Софиев

1/IX—31
Париж

З. А. Шаховской

Слетает с небес вдохновенье
На тех кто печален и строг
И легкое льет дуновенье
Его ледяной холодок.

Как будто здесь кто-то незримо
Коснулся дыханьем виска
И словно напев Серафима
Созвучий несется река.

Поют эти звуки — и снятся
Миры небывалые нам
И души, их вспомнив, стремятся
К забытым родным берегам.

Ю. Терапиано

26. XII. 1968

О горечи любви, о горечи страстей,
О невозможном, о неповторимом,
О гордости мучительной моей,
О даре музыки неоценимом

В часы бессонницы, о, видит Бог,
С каким стыдом, раскаяньем, бессильем
Я думаю, предельно одинок,
Предельно тяготящийся усильем,

Злопамятный, ленивый, жадный, злой.
И нет любви, нет дружбы, нет ответа,
И в сотый раз сужу мой путь земной
И ненавижу и люблю все это,

И снова проклинаю и опять
Все: клевету, и праздность, и страданье,
Всю жизнь мою готов я вновь принять
Без воли, рассужденья, без сознанья.

Да, в этой слабости и темноте,
Да, в этой боли, в ненависти, в муке,
В надежде, в ожиданьи, в слепоте,
В биенье сердца — властном, страшном звуке

Такое напряженье чистоты,
Такая воля к высоте желанья,
Что весь мой грех, весь ужас: я и Ты
Не можем отравить очарованья.

15/V/32

Ю. Терапиано

Выскальзывает жизнь из наших рук
И с каждым днем все больше беспокоит.
Звено к звену плетется цепь разлук —
Печальнейших разлук с самим собою.

И все стыднее говорить о том,
Что холодно, что будет холоднее.
О том, что очень трудно жить вдвоем,
Но одному, мой друг, еще труднее.

Уже о том, что некуда бежать
От похоти тупой и торопливой —
О том, что отвращенье и гадливость
Мне с каждым днем труднее побеждать.

А спутники? — Не видно и не слышно!
И вот о том, что в тридцать с лишком лет,
Лет беспощадных, ничего не вышло.
И счастья не было и нет.

Юрий Софиев

Paris, 9/XI/32

Виновата ли ты в чем,
Что любовь любила?
За твоим была плечом
Вся земная сила.

В. Мамченко

12/XII/68

В САДУ

День ветреный и яркий,
И белый дом был пуст.

Сидят в осеннем парке
З. А. и некий Пруст.

В бассейн вокруг фонтана
Слетел узорный лист.
Средь заросли платана
З. А. и эгоист.

Персидских два павлина
Гуляли на лугу.
Я никогда, о Зина,
Умышленно не лгу.

(а неумышленно — случается)

Ник. Татищев

Зинаиде Шаховской

Мне все известно заранее,
Ничем теперь не смутишь
И только в воспоминаниях
Покой и майская тишь.

Цветы на синих подпорках
Закат, пролеты аллей,
И глаза луны дальнозоркой...

И сжимается сердце горькое
Сладчайшей из всех болей.

София Прегель

6/12/68

Заговор на любовь

Стану я благословясь, пойду перекрестясь, из избы в двери, из двора в ворота, выйду в чистое поле, в подвосточную сторону. В подвосточной стороне стоит изба, посреди избы лежит доска, под доской тоска, плачет тоска, рыдает тоска, белого света дожидается, белый свет красное солнышко дожидается, дуется и веселится. Так раб Святослав меня, рабу Зинаиду, дожидался бы радовался бы, не мог бы без меня ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, ни днем при солнце, ни ночью при меся-

це. Как рыба без воды, как младенец без матери, без материна молока, без материна чрева не может жить, так раб Божий Святослав без рабы Божией Зинаиды не мог бы ни жить, ни быть, ни пить, ни есть ни на утренней заре, ни на вечерней, ни днем при солнце, ни ночью при месяце, ни при частых звездах, ни при буйных ветрах, въедайся, тоска, впивайся, тоска, в грудь, в сердце, в живот рабу Святославу, разродись, разойдись по всем костям, по всем жилам его ноётою, сухотою, по рабе Зинаиде. Слово мое крепко, силу могучу не превозмочь. Аминь, Аминь, Аминь.

Рабам Божиим
Зинаиде и Святославу
Малевским-Малевич

Юл. Кутырина

15 апреля 1934 г.

Бренны мы, и, бренные, блаженны!
Легче плоть и выше, выше Дух...
Братья, братья, будьте совершенны!
Тонче зрение и тонче слух...

И кружатся листья золотые,
И кружась, шуршат и шелестят,
И деревья, светлые, святые,
Неподвижно небу предстоят.

Ничего не жалко и не нужно,
Ничего не страшно — даже мне,
Пусто, гулко — и свободно дружно,
Ясно, сухо — чудно в тишине.

Ю. Иваск

1947

Провода, паровозы, пути,
Полустанок железнодорожный...
От людей еще можно уйти,
От себя убежать невозможно.

Поезд мается, время бежит,
Ветер шумит и годы калечат
И сложнее становится жить —
Не с людьми, а с собою конечно.

К. Померанцев

6—III—67
Париж

Зинаиде Алексеевне —
в благодарность за львиный зуб
экзотического происхождения (authentique)
и с пожеланиями совершенно
идеального благополучия, роскоши
и вообще всех самых прекрасных
вещей.

Гайто Газданов

5. VII. 30. Париж, Closerie des Lilas.

Die Muse küsst nur Gesichter mit scharf
ausgeprägten Profil * —
У музы, стало быть, хороший вкус.—
Как-нибудь, в Париже, в Café Murat —
У Porte d'Auteuiil — мы с Вами, Зинаида
Алексеевна, об этом потолкуем. Идет?

А. Даманская

Брюссель, июль, 1934 г.

Будем же помнить о старом
парижском доме и его
покровителе добром и сумасшед-
шем с хорошим чувством.

И. Шкотт

16/V/32 г.

ЗИНАИДЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ШАХОВСКОЙ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ РУССКОЙ МЫСЛИ

Не умею писать
Ни хвалебных речей, ни приветствий,
Но уверены будьте,
Что в годину потерь и невзгод,
Если все Вас покинут,
— А ведь всякое в жизни бывает! —
И кораблик по прихоти волн
К берегам безымянным помчится,—
Все лишенья, труды
С Вами верный сотрудник разделит —

* Муза целует только лицо с четко отчеканенным профилем *(нем.)*.

Вы — на мостике на капитанском,
Он — у топки, коль будет нужда.

Ваш, всегда и повсюду.

Гелиотропов, Олег.

(О. М.)
Ольга Можайская (Емельянова) 1973.

...И этот день,— его забыть нет силы,—
Когда впервые рано по утру,
Меня тропинкой снежной подводили
К надменному и грозному Петру.

Это стихи о Петербурге и
Медном Всаднике, но их
можно было бы сделать бо-
лее подходящими к случаю:

...И этот день,— его забыть нет силы,—
Когда в Брюсселе, в предвечерний час
Меня к Петру и «деве» Вы водили
И Петр сердился на бесстыжих нас...

Bruxelles
19—III—1935

А. Штейгер

---

6 сент. 1934 г.
Брюссель

Мне хочется, чтобы то большое и светлое,
что определяет Ваш жизненный путь,
стало для Вас самих еще более близким,
а для других — еще более видным в Вас.

Спасибо Вам, милая Зинаида Алексеевна.

Анатолий Алферов

Когда вот так меня просят написать в альбоме и я говорю, что не умею,— мне не верят. А мне это труднее, чем написать рассказ. Почему? А вот почему.

Помню, я раз сидел в Коктебеле на пляже, с одной молодой поэтессой. Возле нее — два ее мальчишки. Один спрашивает: «Мама, это ты меня родила?» — «Я».— «А Вадю тоже ты?» — «Тоже я».— «Ага... (пауза). А ты можешь нам собачку родить? Ну, пожалуйста! Это же совсем просто, она маленькая!»

И никак мальчишка не хотел поверить, что собачку маме родить труднее, чем Вадю...

Евг. Замятин

7. 12. 1933

Последние страницы альбома напоминают, что в 1939—40 годах он маялся в походной сумке сержанта французской армии Андре Маршана, вместе с товарищами бродившего по Франции. На этапах они мне рисовали, тогда еще молодые, а ныне известные художники — Брианшон, Жиес, Таль-Коат, Легельт.

Альбом же после войны вернулся ко мне, свидетелем всяких странствий и всяких судеб.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Зинаида Шаховская

В ПОИСКАХ НАБОКОВА
ОТРАЖЕНИЯ

ИБ № 2241. Сдано в набор 11.12.90. Подписано в печать 11.04.91. Формат 84×108/32. Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8+0,05. Усл. кр.-отт. 16,85. Уч.-изд. л. 17,97+0,10. Тираж 100 000 экз. Изд. № 4914. Заказ 0—4220. Цена 5 р.

Издательство «Книга» 125047, Москва, ул. Горького, 50.

Головное предприятие республиканского производственного объединения «Полиграфкнига». 252057, Киев-57, ул. Довженко, 3

Шаховская З. А.

Ш32 В поисках Набокова. Отражения.— М.: Книга, 1991.— 319 с.— 100 000 экз.

ISBN 5-212-00448-9

Почти ровесница века, Зинаида Шаховская, всеми корнями связанная с историей и культурой России, 12-летней девочкой покинула Родину с первой волной эмиграции. Училась в Константинополе, Брюсселе, Париже. Начинала как русский поэт. Известность ей принесли романы, написанные по-французски. Ею написаны семь книг воспоминаний. Две из них мы предлагаем читателю.

Одна — «В поисках Набокова» — полно рисует его жизнь и творчество. В другой — широкая картина русского зарубежья, рассказ о встречах с Буниным и Ремизовым, Цветаевой и Замятиным, Ходасевичем и Шагалом, Тэффи и многими другими. Свидетельства летописца десятилетий жизни русской культуры за рубежом привлекут внимание самых широких кругов читателей.

Ш $\frac{4703010100-052}{002(01)-91}$ КБ-12-38-90 **ББК 84Р-4**

В 1991 году
издательство «Книга»
представляет читателям:

А. СИНЯВСКИЙ. «Опавшие листья» В. В. Розанова

Книга А. Д. Синявского, в настоящее время живущего и работающего во Франции, посвящена выдающемуся русскому писателю, публицисту, религиозному мыслителю В. В. Розанову (1856—1919). Автор рассматривает одно из наиболее известных произведений В. В. Розанова — «Опавшие листья» — и в своей работе дает оценку личности и творчества писателя, его философских и религиозных воззрений.

Зинаида Шаховская

5 р.